

ISSN 0132-0637

1999  
6  
Октябрь

# Октябрь

Октябрь

# 6 1999



# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

1999

ИЮНЬ

В Н О М Е Р Е:

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Леонид ФИЛАТОВ. <b>Возмутитель спокойствия.</b> Авантюрная комедия в двух частях по мотивам одноименного романа Леонида Соловьева .....	3
Михаил ЛЕВИТИН. <b>Чешский студент.</b> Повесть .....	43
Анатолий НАЙМАН. <b>Статуя командира.</b> Рассказ .....	70
Олег КРЫШТАЛЬ. <b>Даже молча мы кричим...</b> Фрагменты из книги .....	89

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

«Если бы можно было иметь ключ от сердца...» Перепис- ка Алексея ЛОСЕВА с Ольгой ПОЗДНЕЕВОЙ. Вступление Елены Тахо-Годи. Подготовка текста и публикация А. А. Тахо-Годи .....	111
--	-----

## ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. <b>Под звездами балканскими (балканский кошмар)</b> ..	143
---	-----

## **К 90-летию выхода в свет сборника «Вехи»**

Александр СКИДАН. **Прослойка.\*** Павел КУЗНЕЦОВ.  
**Сироты-отцеубийцы, или Рожденные от идеи:**  
постскриптум к трагедии интеллигенции.\* Александр  
СЕКАЦКИЙ. **Тайна Кащея Бессмертного** ..... **152**

**Год как век**  
Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ ..... **171**

### **ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

**«Это светлое имя — Пушкин»**  
Вступительное слово Н. И. Михайловой, зам. директора  
Государственного музея А. С. Пушкина ..... **175**

**По страницам Онегинской энциклопедии** ..... **176**

Кирилл КОБРИН.  
**Полтава. Клад. Сон** ..... **186**

**Мелочи жизни**  
Павел БАСИНСКИЙ.  
**Вымысел и Промысел** ..... **189**

**В несколько строк**  
Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ ..... **191**

**Главный редактор**  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

#### **Редакция:**

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Инна БРЯНСКАЯ	<i>публицистика</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

#### **Общественный совет:**

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов,  
Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин,  
Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман,  
Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»  
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России  
и ряда стран СНГ 4346 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.  
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,  
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –  
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.  
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine](http://www.infoart.ru/magazine)

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.  
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».  
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 28.04.99. Подписано к печати 25.05.99. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 9710 экз. Заказ № 1076. Цена 17 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Леонид ФИЛАТОВ

---

# Возмутитель спокойствия

АВАНТЮРНАЯ КОМЕДИЯ В ДВУХ ЧАСТЯХ  
ПО МОТИВАМ ОДНОИМЕННОГО РОМАНА  
ЛЕОНИДА СОЛОВЬЕВА

*Прекрасным людям моей ашхабадской юности, друзьям и учителям, живым и мертвым, посвящается*

Пусть буду я сто лет гореть в огне,  
Не страшен ад, приснившийся во сне,  
Мне страшен хор невежд неблагородных,  
Беседа с ними хуже смерти мне!

*Омар Хайям*

Восток — дело тонкое...  
*Красноармеец Сухов*

## **От автора**

Садись на ишака!..  
Поедем на Восток!..  
От южных городов  
Я прихожу в восторг —  
От ярких тех небес,  
От пряных тех базаров,  
От горных тех ручьев,  
Где я беру исток...  
А если вдруг взбрыкнет  
Фантазии ишак  
И понесет нас так,  
Что только свист в ушах,  
То мы его смирим  
Уздечкою сюжета  
И вновь переведем  
На вдумчивости шаг...

В приключениях Достославного Ходжи Насреддина  
во время его пребывания в Благородной Бухаре

участвуют:

Ходжа Насреддин, Эмир бухарский, Гюльджан, Начальник эмирской стражи, Ростовщик Джафар, Гуссейн Гуслия — мудрец из Багдада, Гончар Нияз — отец Гюльджан, Чайханщик Али, Кузнец Юсуп, 1-й стражник, 2-й стражник, Дворцовый лекарь, придворные во дворце, слуги, стражники, жители Бухары.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ПРОЛОГ

Ночь в Бухаре. Спальня богатого бухарского дома. У распахнутого окна, на фоне занимающегося рассвета, прощается некая романтическая парочка. Назовем их Красавица и Путник.

Путник

*(глядя в окно, с восторгом)*

Приветствую тебя, о Бухара!  
Нам свидеться опять пришла пора!

Красавица

*(прильнув к груди Путника)*

Останься на день!

Путник *(ласково)*

Я б навек остался,  
Да дел скопилась целая гора!

Красавица

Но мы могли бы в случае таком  
Грядущей ночью встретиться тайком?!

Путник

А как же муж?

Красавица

Да где ему проснуться!  
Таким уж уродился тюфяком!

Путник *(озираясь)*

Хоть волен, как весенний я ручей,  
Но должен опасаться стукачей,

Поэтому в одном и том же месте  
Не провожу я кряду двух ночей!

Неожиданно предрассветную тишину оглашает трубный ослиный рев. Красавица и Путник вздрагивают.

Красавица

Кто под окном орет истошно так?

Путник *(успокаивает)*

Так обо мне заботится ишак!  
*(В окно.)*

За то, что разбудил меня,— спасибо,  
Но не буди в округе всех собак!

*(Красавице.)*

Где б мы ни ночевали — просто срам! —  
Меня он криком будит по утрам,  
Будь то Стамбул, Каир иль даже Мекка,  
Будь то дворец, ночлежка или храм!

Красавица

*(спохватившись, игриво)*

Однако хороша бы я была,  
Когда б узнать забыла — с кем спала!  
Пора и познакомиться, любимый,  
Открой свое мне имя!

Путник *(после паузы)*

Абдулла!..

За окном снова слышится рев осла. Путник торопливо натягивает на себя свой дырявый халат и прыгает в окно. За дверью шум-крики, топот сапог, громкий треск факелов. Дверь трещит, и в спальню вваливается жирный вельможа в богатом халате, за ним десяток солдат городской стражи.

Вельможа

Неужто этот подлый Насреддин  
В моем семействе тоже наследил?

*(Красавице.)*

Ответствуй, о беспутная, супругу:  
Куда он делся?

Красавица

*(она сама невинность)*

Кто, мой господин?

Вельможа *(грозно)*

Кончай юлить! Твой муж не идиот!  
Со мною этот номер не пройдет!  
Рассказывай! — не то твоя головка  
Сегодня с плахи первой упадет!

Красавица

*(сентиментально)*

Мне снились... шорох звезд и шум листвы.  
И поцелуй, что слаще был халвы...

*(Вскрикивает, пораженная догадкой.)*

Так это был другой!.. А мне казалось,  
Что это — о бесценный! — были вы!

Вельможа *(в ярости)*

Самцу, в мою залезшему кровать,  
Излишек плоти надо оторвать,  
Навеки чтоб отбить ему охоту  
Бухарских жен ночами воровать!..

*(Стражникам.)*

Эй, олухи!.. Возьмите дом в кольцо!  
Проверьте подоконник и крыльцо!  
Кто может эту подлую скотину  
Узнать, что называется, в лицо?

*(Открывает записную книжку и готовится записывать.)*

Итак, приметы!.. Но — не вразнобой!

Стражники

— Хромой!

— Косой!

— Уродливый!

— Рябой!

Вельможа

*(откладывая карандаш)*

Не верю!.. Зная вкус моей супруги,  
Не верю, что столь мерзок он собой!  
На мой вопрос — каков он, Насреддин,—  
Покамест не ответил ни один!..

Красавица *(робко)*

Веснушчатый... Курносый... Синеглазый.

Вельможа *(дотошно)*

А цвет волос?

Красавица *(уверенно)*

Естественно, блондин!

Вельможа

*(удовлетворенно захлопывает записную книжку)*

Ну, вот теперь мы знаем твой портрет!  
Теперь для нас твой облик не секрет!  
Теперь ты можешь скрыться лишь в Рязани,  
Но в Бухаре тебе спасенья нет!

### ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

Утро. Берег пруда на окраине Бухары. На берегу собралась толпа горожан. Из пруда доносятся истошные крики утопающего. Кое-кто на берегу пытается помочь несчастному. Насреддин подходит к одному из зевак.

Насреддин

Скажи, чего он так кричит и стонет,  
Мужчина, что купается в пруду?



Зевака (*мрачно*)

Он вовсе не купается. Он тонет.

Насреддин

Как тонет?.. У сограждан на виду?  
Но коль и впрямь он тонет, этот дядя...

Зевака (*убежденно*)

Еще минута — и ко дну пойдет!

Насреддин (*продолжает*)

...То почему, на этот ужас глядя,  
Никто из вас и ухом не ведет?

Зевака

Попробуй-ка спаси такого злюку!  
Ты видишь, как волнуется народ?  
Все тянутся к нему, дай, просят, руку.  
Он тонет, но руки им не дает!

Насреддин

(*задумчиво глядит на утопающего*)

Он человек богатый и премерзкий...

Зевака

Да ну?..

Насреддин

Готов побиться об заклад!

Зевака

Но как ты угадал?.. Ведь ты не местный.

Насреддин

Мне многое сказал его халат!

Зевака (*недоуменно*)

Все ходят в Бухаре в таких халатах!

Насреддин (*наставительно*)

Не все! Раскинь умишком, коль не глуп.  
Халатец дорогой, но весь в заплатках.  
А значит, наш клиент богат, но скуп!

Усвой одну нехитрую науку:  
Когда богатый, скажем, тонет бай,  
Нельзя ему совать пустую руку  
С тупой и идиотской просьбой: дай!

Зевака

А как же быть?

Насреддин

Зажми в руке монету  
И протяни бедняге с криком: НА! —  
И, клонув на простую хитрость эту,  
Он — даже мертвый! — выплывет со дна!

*(Насреддин подходит к краю пруда и некоторое время наблюдает за утопающим.)*

Боюсь, что поздно!.. Он уже не дышит!

Зевака *(подтверждает)*

И с виду — не проворнее бревна!

Насреддин

А ну-ка я проверю!.. Вдруг услышит  
Столь милое ему словечко...

*(Протягивает утопающему руку.)*

На!..

Утопающий вцепляется в протянутую руку мертвой хваткой. Насреддин вскрикивает от боли, но все-таки вытаскивает утопающего на берег. Но спасенный, судя по всему, не спешит освободить своего спасителя.

Какой ты неотвязчивый, однако!  
Мне следует себя теперь спасти!  
*(Зеваке.)*

Вцепился в кисть, как будто в кость — собака!

Спасенный приходит в себя, и Насреддин аж отшатывается, увидев, насколько тот горбат и уродлив.

Оставь меня!.. Ты слышишь?! Отпусти!..

Спасенный

Я жив!

*(Злобно.)*

Толпа, я чувствую, не рада!  
Прочь, лодыри!.. Очистить берега!  
*(Насреддину.)*

А ты, прохожий, стой!.. Тебе — награда!..  
*(Роется в кошельке.)*

Аж целых... целых... целых полтаньга!..  
*(Швыряет Насреддину монету.)*

Насреддин *(кланяясь)*

Ты преисполнен щедрости небесной!  
Знать, жизнь тебе и вправду дорога,  
Когда ты оценил ее, любезный...  
Не сбиться бы со счета... в полтаньга!

Имея сумму крупную такую,  
От пуза я наемся и напьюсь!  
Уж я на эти деньги пошикую,  
Уж я на эти деньги развернусь!

В это время кто-то мягко берет Насреддина под руку и отводит в сторону. Это один из горожан, бухарский кузнец Юсуп.

Юсуп

Я вижу, в Бухаре ты гость не частый,  
Не посвящен ты в правила игры,  
Иначе б знал, какой самум несчастий  
Навлек ты на бухарские дворы!

Его у смерти вытащив из пасти,  
Ты страшный Бухаре нанес удар,  
Поскольку тот, кого, к несчастью, спас ты,  
Не кто иной, как ростовщик Джафар!

Во-он, видишь, дом Садыка-сыровара?  
Ему, бедняге, лучше помоги!  
Ведь дом его по милости Джафара  
Сегодня арестован за долги!

Насреддин *(с отчаянием)*

И вправду будь он проклят, этот демон!..  
Поверь, мой образ жизни не таков,  
Чтоб я считал своим любимым делом  
Спасенье из воды ростовщиков!

*(С упреком.)*

Но больше вас виновен я едва ли:  
Я здесь чужой, Аллах меня прости!  
А вы зачем пример мне подавали,  
Пытаясь эту гадину спасти?

Юсуп

Да, местные старались, но для виду,  
Поскольку не спасать беднягу — грех,  
Но больший грех — спасти такую гниду,  
Поэтому ты грешен больше всех!..

Насреддин *(решительно)*

Считай, я этот грех уже оплакал!..  
Я слов бросать на ветер не люблю,  
И этого хорька — клянусь Аллахом! —  
Я в том же водоеме утоплю!

## ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Чайхана на свежем воздухе. Посетители расположились группками прямо на земле посреди дымящихся мангалов. У коновязи, скучая, пощипывает травку ишак Насреддина. Сам Насреддин, никем не замеченный, устроился отдельно от всех в глубине двора. Появляется солдат городской стражи.

Стражник (*Чайханицику*)

Скажи, не проезжал ли тут один  
На сером ишаке простолюдин?

Чайханщик

Да тут полным-полно простолюдинов!

Стражник (*понизив голос*)

Но этот-то особый!.. Насреддин!..

Посетители чайханы настораживаются, разговоры между ними затихают, и все взгляды обращаются к стражу порядка.

Чайханщик

(*с наигранной заинтересованностью*)

Каков он с виду, этот Насреддин?

Стражник (*важно*)

Курносый. Синеглазый. И блондин.

Кто-то из посетителей прыскает в кулак.

Чайханщик (*в ужасе*)

И в этом вызывающем обличье  
Он шляется по улицам, кретин?!

Стражник (*чувствуя подвох*)

О чем ты?

Чайханщик (*поясняет*)

Это все-таки Восток!..  
Восток всегда к блондинам был жесток.  
Вот появишься он где-нибудь в Калуге,  
Он вызвал бы там бешеный восторг.

Первый посетитель

Но я, признаться, слышу в первый раз,  
Что он светловолос и синеглаз!

Стражник

(*впивается взглядом в Первого посетителя*)

Ах, значит, ты встречался с Насреддином!  
Не скажешь ли, дружок, где он сейчас?

Посетитель тревожно сопит, не зная, что ответить. Ему на выручку бросается  
Второй посетитель.

Второй посетитель

Дом Насреддина — это целый мир:  
Багдад и Басра, Мекка и Каир!

Третий посетитель

Да Насреддин — куда бы ни приехал —  
В любой стране — любимец и кумир!

Стражник

Но если верить местной детворе,  
То Насреддин сегодня в Бухаре!..

Четвертый посетитель

Возможно. Но поймать его не проще,  
Чем тень вон той пичуги во дворе!

Стражник (*хвастливо*)

Но я его поймаю!

Первый посетитель

Поглядим!

Охотишься за ним не ты один!  
Но кто хоть раз встречался с Насреддином,  
Тот знает: Насреддин непобедим!

Стражник обводит присутствующих недобрый взглядом, словно запоминая каждого в лицо, потом злобно сплевывает и уходит. Посетители провожают его смехом, свистом и улюлюкиванием. Их останавливает скрипучий голос Незнакомца, до этих пор не вмешивавшегося в происходящее.

Насреддин (*скрипучим голосом*)

Хвала Аллаху, есть надежный круг  
Друзей и три десятка верных рук,  
Которые помогут Насреддину!

Чайханщик

Но кто ты?

Насреддин

Я его старинный друг!..

(*Подсаживается поближе к посетителям.*)

Но должен вам заметить наперед,  
Что Насреддин давно уже не тот,  
Которого в своем воображенье  
Рисует наш доверчивый народ!..

Он стал серьезен и благочестив,  
С простонародьем — груб, с начальством — льстив,  
Он поменял друзей, привычки, облик  
И вообще сменил судьбы мотив...

Он стал ленив, прожорлив и пузат...  
Он на сварливой женщине женат...  
Он целый день проводит на базаре,  
Где продает редиску и шпинат...

Былой герой, короче говоря,  
Навек утратил славу бунтаря,  
А вместе с ней — почет и уваженье,  
Безмозглости своей благодаря!

#### Первый посетитель

Брось, Незнакомец!.. Судя по всему,  
Ты попросту завидуешь ему!

#### Второй посетитель *(с удивлением)*

Но это — как завидовать Хафизу...  
Иль, скажем, Авиценне самому.

#### Третий посетитель

Похоже, этот самый Насреддин  
Тебе изрядно в жизни навредил!

#### Четвертый посетитель

Но чем? Украл твой коврик для намаза?  
Ветвистыми рогами наградил?

#### Чайханщик *(кричит)*

А я узнал мерзавца!.. Это он,  
Эмира согляда́тай и шпион!..  
Довольно споров!.. Бей его, ребята!  
Бери его в кольцо со всех сторон!

Посетители, подзадоривая друг друга боевыми возгласами, колотят Насреддина. Беднягу выручает ишак — своим трубным ревом он отрезвляет дерущихся. Кряхтя и постанывая, Насреддин плетется к своему спасителю и благодарно обнимает его за шею.

#### Насреддин *(ишаку, тихо)*

Все справедливо. Никаких обид.  
Знать, Насреддин в народе не забыт!  
Я посягнул на собственную славу  
И собственную славой был побит!..

## ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

Двор ростовщика Джафара. Сам Джафар стоит на пороге своего дома и с брезгливым любопытством разглядывает стоящих перед ним должников — гончара Нияза и его дочь Гюльджан (лицо ее закрыто чадрой). Здесь же во дворе, ближе к зрителям, за старым тутовником притаились трое наблюдающих — кузнец Юсуп, Насреддин и его верный ишак.

Джафар (*глумливо*)

Не смей рыдать! Не делай скорбной позы!  
Твое мне опротивело нытье!..  
Не думаешь ли ты, что эти слезы  
Растопят сердце грубое мое?

Нияз (*сквозь слезы*)

Я все тебе верну, Аллах свидетель,  
Но дай отсрочки мне хотя бы год!  
Весь год я на тебя, о благодетель,  
Без передышки буду тратить пот!

Джафар (*перебивает, не слушая*)

Какой себя ты тешишь перспективой,  
Какой в своих рыданиях видишь толк?  
«Отсрочь мне долг!» — ты просишь, нечестивый!  
А я тебя прошу: «Верни мне долг!»

Юсуп (*возмущенно*)

Старик в слезах, а этот зубы скалит!  
Ух, так бы и намял ему бока!..  
Безжалостный злодей! Проклятый скаред!  
Внебрачный сын козы и ишака!

Насреддин (*мягко*)

Ругай его неистово и яро  
И не жалея для брани языка,  
Все образы годятся для Джафара,  
Но я прошу: не трогай ишака!

Джафар (*внушительно*)

Покамест не обрел в моем лице ты  
Опасного и страшного врага,  
Скорей верни мне долг свой и проценты,  
Верни мои четыреста таньга!

Джафар подходит к Гюльджан и резким движением откидывает чадру. Лицо Гюльджан было на свету только мгновение, но этого было достаточно, чтобы Насреддин восхищенно зацокал языком, а Джафар потерял дар речи.

Юсуп (*язвительно*)

Гляди, горбун от страсти так и тает!  
Надеется понравиться, урод!

Насреддин

Ну он себя уродом не считает,  
Он думает, что он — наоборот!

Словно подтверждая эти слова, Джафар приосанивается и даже пытается  
принять молодцеватый вид.

Джафар (*Ниязу*)

Все! Темы денег больше не касаюсь!

(*Гюльджан.*)

Хоть я на свет родился не вчера,  
Не помню, чтобы таких красавиц  
Когда-нибудь рождала Бухара!

(*Ниязу.*)

Чтоб нам не торговаться слишком долго,  
Я сразу заявляю, что не прочь  
Взять у тебя, старик, в уплату долга  
Твою очаровательную дочь!

Юсуп (*не выдерживает*)

Ну до чего же подлая натура!  
Ну до чего же черная душа!

Насреддин

Однако у него губа не дура!  
Девчонка-то и вправду хороша!

Юсуп (*с уважением*)

Ее зовут в народе «недотрога».  
Любой не прочь жениться на Гюльджан.  
У нас за ней ухаживает много  
Известных и богатых горожан!

Насреддин (*заинтересованно*)

И что же?

Юсуп (*со вздохом*)

Нет покамест равной пары!  
Достойный не сыскался ей жених!

(*Кивает в сторону Джафара.*)

Вот к ней и липнут всякие джафары,  
И нету ей спасения от них!..

Джафар (*Ниязу*)

Надеюсь, ты упорствовать не станешь!  
Коль дочь тебе и вправду дорога,  
Ты вылезешь из кожи, но достанешь,  
Достанешь мне четыреста таньга!..



Ступай за вышеназванною суммой,  
Даю тебе отсрочки ровно час!

Насреддин *(себе)*

Ты явно пребывал в отлучке, ум мой,  
Когда я образину эту спас!..

Джафар идет к калитке и, не заметив Юсупа и Насреддина,  
выходит со двора на городскую улицу.

Насреддин

*(не отрывая взгляда от Гюльджан)*

Сегодня же ей улыбнется случай!

Юсуп *(удивленно)*

Ты что, волшебник?

Насреддин *(дурашливо)*

Ой, не говори!

Жених ей подвернется хоть не лучший...

*(Лихо сдвигает тюбетейку на ухо.)*

Но и не худший, черт меня дер!..

Юсуп *(подозрительно)*

Кто ты таков?

Насреддин

Я человек, который

Распутывал уже десятки раз

Клубки таких запутанных историй,

Где сам бы Насреддин и то увяз!..

Юсуп *(настороженно)*

Я вижу, врать умеешь ты неплохо,

Но все ж таких примеров в мире нет,

Чтоб самый расталантивый пройдоха

Собрал за час четыреста монет!

Насреддин *(беспечно)*

Ах, времени всегда нам не хватало!

На это можно всяко посмотреть!

Пока мы говорим: нам часа мало! —

Наш час еще уменьшился на треть!

Хитрец Джафар, ты крепко нас неволишь,

Нам ограничив времени запас!..

Я б мог сказать: в запасе час всего лишь,

Но я скажу: в запасе целый час!

Юсуп (*недоверчиво*)

Ты сможешь им помочь?

Насреддин (*пожимая плечами*)

Чего уж проще!

Узнай, куда направился Джафар!

Юсуп (*выглянув за калитку*)

Он, судя по всему, идет на площадь  
Базарную. Короче, на базар.

Насреддин

Ну в Бухаре базар найдем легко мы  
И даже горбуна опередим!..

Юсуп (*спохватившись*)

Постой!.. Но мы ведь даже не знакомы.

(*Представляется.*)

Кузнец Юсуп!

Насреддин (*предупредительно*)

Не падай! Насреддин.

#### ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Бухарский базар. В базарной толпе Юсуп и Насреддин.  
Неожиданно Юсуп, подмигнув Насреддину, вскарабкивается  
на один из прилавков.

Юсуп (*громко*)

Все люди Бухары — не я один! —  
Мечтали с незапамятных годин,  
Что в Бухаре появится однажды  
Любимый нами всеми Насреддин!

Аллах велик! Он даровал мне честь  
Вам сообщить приятнейшую весть:  
Любимец всех времен и всех народов —  
Наш Насреддин сегодня снова здесь!..

Насреддин тоже вскарабкивается на прилавок и становится рядом с Юсупом.  
Базарная толпа приветствует его криками ликования.

Юсуп (*помрачнев*)

Но стражники — вонючий этот сброд! —  
У городских стоящие ворот,

До нитки обобрали Насреддина,  
Сказав, что это плата, мол, за вход!

Толпа негодует, в адрес стражников летят проклятия. Юсуп доволен.

Так будем же мудры мы и щедры  
И принесем сюда свои дары,  
Чтоб извиниться перед Насреддином  
И смыть пятно позора с Бухары!..

Человек из толпы (*Юсупу*)

Какие подойдут ему дары?  
Окорока? Копчености? Сыры?

Юсуп

И это пригодится, только лучше —  
Халаты, тубетейки и ковры!..

Зоркий глаз Насреддина выхватывает из толпы  
знакомое лицо — это Чайханщик.

Чайханщик (*Юсупу*)

Но ты покамест нас не убедил,  
Что этот чужеземец — Насреддин!  
Пусть выдаст пару шуток нам на пробу,  
Он в шутках, говорят, непобедим!..

Насреддин

(*не сводя глаз с Чайханщика*)

В одной из забегаловок вчера  
За шутку мне сломали два ребра...  
И понял я: моих изящных шуток  
Пока не понимает Бухара!..

Чайханщик сконфуженно опускает голову.

Хоть я у вас, видать, в большой цене,  
Оваций не устраивайте мне!  
Я очень не люблю аплодисментов,  
Особенно ногами по спине!..

В толпе раздаются смешки, из толпы вылезает Непоседливый мужичонка.

Непоседливый

Да не признав, что это Насреддин,  
Мы сами же себе и навредим.  
Останемся совсем без Насреддина,  
А нам — хотя б один! — необходим!

Непоседливому вяло возражает Сомневающийся.

Сомневающийся

Не знаю, Насреддин — не Насреддин,  
Но выглядит он, как простолюдин...

Чувствующий себя виноватым Чайханщик ставит  
окончательную точку в споре.

Чайханщик (*горячо*)

Он лучше будет выглядеть Эмира,  
Коль мы ему все это отдадим!

Чайханщик обводит руками базарные прилавки, и толпа принимается носить  
к ногам Насреддина все, чем богат бухарский базар. Мгновенно у ног  
Насреддина вырастает гора вещей: тут и конские седла, и богатые халаты,  
и драгоценные украшения.

Насреддин (*растроганно*)

Спасибо вам, о люди Бухары,  
За ваши драгоценные дары!  
Спасибо вам за то, что к Насреддину  
Вы столь великодушны и добры!..

(*Понизив голос.*)

Мое же имя, люди Бухары,  
Произносить не стоит до поры:  
Устал я отбиваться от шпионов,  
Доносчиков и прочей мошкары!..

Неожиданно в базарной толпе появляется Джафар. Толпа расступается  
то ли с почтением, то ли со страхом: очевидно, что жители Бухары  
хорошо знают этого человека.

Джафар

(*увидев Насреддина, с изумлением*)

Смотри-ка!.. Мы расстались лишь вчера,  
А нынче снова встретились с утра!..

Насреддин

Нам повезло б и вовсе не встречаться,  
Будь попросторней город Бухара...

Джафар

(*с жадностью щупая вещи, лежащие перед Насреддином*)

Откуда у тебя такой товар?

Насреддин

Вчера ты дал монетку мне, Джафар...  
Пустил я в оборот твою монетку,  
И вот гляди — какой с нее навар.

Джафар (*самодовольно*)

Благодарить ты должен день и час,  
Когда меня от лютой смерти спас:

Не подари тебе я той монетки —  
И где бы ты, несчастный, был сейчас?!

*(Завистливо.)*

Что ж, неплохой улов для новичка!  
Надеюсь, что цена невысока?..  
Какую сумму ты за это просишь?

Насреддин *(безразлично)*

Так, пустяки. Четыреста таньга!..

Джафар *(опешив)*

Ты сумасшедший или идиот?  
Иль тешишь глупой шуткою народ?..  
Кончай свои дурацкие забавы  
И сбрось шальную цену до двухсот!

Насреддин *(сдержанно)*

Я был бы аж двукратный идиот,  
Когда бы сбросил цену до двухсот.  
Дать в глаз тебе за это предложение  
Мне только воспитанье не дает!

Плати мне столько, сколько я хочу,  
Не то я цену впятеро взвинчу,  
Тогда тебе и гвоздь из этой кучи  
Купить едва ли будет по плечу.

Я жду. Что ты решил, Джафар-ага?

Джафар

*(после паузы протягивает Насреддину кошелек)*

Держи свои четыреста таньга!

*(Ухмыляется через силу.)*

Мне дорог не товар — хоть он и дорог.  
Мне истинная дружба дорога!

### ЭПИЗОД ПЯТЫЙ

И опять двор Джафара. Старый Нияз с дочерью стоят на прежнем месте. Видно, что истекший час они не тратили на поиск денег, понимая всю тщетность таких попыток. В тени старого тутовника безмятежно пасется ишак Насреддина. Калитка чуть приоткрывается, и во двор проскальзывает Насреддин. Еще через какое-то время калитка распахивается настежь — чувствуется рука хозяина! — и появляется Джафар, нагруженный товарами. Увидев Насреддина, он даже отшатывается назад — настолько его поражает новая встреча со старым знакомцем.

Джафар

Как?! Снова ты?..

Насреддин

Ищу здесь ишака я..  
Я видел, он сюда направил шаг...  
Ах, вот ты где!.. У-у, бестия такая!

Джафар

Зачем в мой двор забрался он?

Насреддин *(разводит руками)*

Ишак!..

Джафар

Но по какому этакому праву  
Моей травой ты кормишь ишака?..  
А если я тебя подвергну штрафу,  
Ну, скажем, на четыреста таньга?..

А, впрочем, нет!.. Мне лень с тобой браниться!  
Отложим нашу тяжбу до поры!  
Я, видишь ли, спешу сейчас жениться  
На первой из красавиц Бухары...

Насреддин *(громко)*

Да будет лик ее еще прекрасней,  
И не коснется глаз ее печаль!..

*(Джафару.)*

Хочу тебя попотчевать я басней,  
И, может, ты отыщешь в ней мораль!

Джафар *(презрительно)*

Сегодня все талдычат о морали,  
Куда ни ткнись: МОРАЛЬ, МОРАЛЬ, МОРАЛЬ!  
Но мы мораль настолько ИЗМАРАЛИ,  
Что новую придумать не пора ль?

Насреддин

Висела на высокой ветке Вишня,  
И на нее позарился Шакал,  
Но ничего из этого не вышло,  
Сколь он под этой Вишней ни скакал.

А между тем спокойно и неслышно  
Слетел Орел с ближайших облаков...  
Орел сорвал означенную Вишню  
И с этой самой Вишней был таков!..

Джафар *(скребет лысину)*

Ох, не люблю замысловатых басен!..  
Какая тут упрятана мораль?..  
Тут нету смысла!

Насреддин

Смысл любому ясен.

Джафар (*упрямо*)

А я его не понял!

Насреддин

Очень жаль!

Джафар раздосадованно машет рукой и спешит по направлению к Ниязу и Гюльджан, покорно ожидающим своей участи. Насреддин увязывается за ними.

Джафар (*Ниязу*)

Твой срок истек!.. Что скажешь мне, бездельник?  
Но только не канючь, не плачь, не ной!  
Я вижу, денег нет... А нету денег —  
Гюльджан моей становится женой!

Последние слова Джафара вызывают бурю рыданий у Нияза и Гюльджан. В дело вмешивается Насреддин.

Насреддин (*Джафару*)

Она твоя, коль суммы нет искомой!

(*Ниязу.*)

Не торопись рыдать, Нияз-ага!

(*Снова Джафару.*)

Но вот кошель, весьма тебе знакомый,  
И в нем как раз четыреста таньга!..

Насреддин отдает кошелек Джафару, после чего берет Нияза и Гюльджан за плечи и ведет их к калитке.

Джафар (*в бессильной ярости*)

Так вот кто был орлом-то в басне оной!  
Так вот на что ты, подлый, намекал!

Насреддин (*через плечо*)

Орел ли я — вопрос дискуссионный,  
Но — стопроцентно точно — не шакал!..

## ЭПИЗОД ШЕСТОЙ

Теплый вечер в Бухаре. Двор гончара Нияза. Насреддин и Гюльджан сидят на краю арыка. За низким дувалом прячется наблюдающий за ними ростовщик Джафар. Увлеченные беседой, влюбленные его не замечают.

Насреддин (*умоляюще*)

Мне хоть разок тебя поцеловать бы!  
Открой хотя бы краешек чадры!

Гюльджан (*смущенно*)

Нельзя мне обнажать лицо до свадьбы...  
Уж таковы законы Бухары!..

Насреддин

Прости, Гюльджан, коль я тебя обидел,  
Но к нам неприменим такой закон.  
Твое лицо я нынче утром видел  
И вот уж семь часов в тебя влюблен...

Гюльджан

Боюсь грешить словами, но, похоже,  
И у меня теперь не будет сна...

Насреддин (*обрадованно*)

Ушам своим не верю!

Гюльджан

Да, я тоже  
В тебя уж два часа как влюблена!

Джафар

(*злобным шепотом*)

Так ты влюбилась в этого нахала,  
Джафару оборванца предпочла!..  
Но знай: не став добычею шакала,  
Добычей ты не станешь и орла!..

Насреддин

(*он исполнен решимости*)

Ты на меня озлишься — и за дело!  
Но я нарушу правила игры!

Решительно откидывает чадру и целует Гюльджан в губы.  
В следующую секунду в тишине двора раздается звонкий звук пощечины.

Гюльджан (*испуганно*)

Прости меня... Я вовсе не хотела...  
Но в Бухаре такие комары!

(*Разглядывает лицо Насреддина.*)

Из носа кровь!.. Да и щека опухла!

Насреддин

(*пытаясь улыбнуться*)

Я жив... Хотя не так уж невредим!



Гюльджан *(в слезах)*

Я дура, дура!.. Чертова я кукла!..  
Прости меня, любимый Насреддин!

*(Привлекает Насреддина к себе и крепко его целует.)*

Джафар *(с изумлением)*

Так вот ты кто, злодей! А оболочка  
Такая неприметная на вид...

*(Себе, со значением.)*

Ну что ж!.. Боюсь, что хлопотная ночка  
Тебе, Джафар, сегодня предстоит!

### ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ

Дворцовые покои Эмира. Поздний вечер. Эмир готовится ко сну.  
Появляется Стражник.

Стражник

К вам гость, о мой Эмир!

Эмир

Вот это мило!

Хотел бы я взглянуть, какой герой  
Посмел меня, пресветлого Эмира,  
Нахально разбудить ночной порой!

Стражник исчезает и появляется вновь,  
волоча за собой ростовщика Джафара.

Джафар *(падая на колени)*

За поздний мой визит не обессудьте,  
О мой Эмир, души моей кумир!..

Эмир *(зевая)*

Скорей перебирайся ближе к сути!  
Одним своим вступленьем утомил!

Джафар

Я постараюсь, о солнцеподобный!..  
Но все же, несмотря на поздний час,  
Вы приготовьтесь выслушать подробный  
Про некую красавицу рассказ...

Эмир *(поскучнев)*

Тогда молчи!.. И понапрасну время —  
Мое к тому же! — не переводи!..  
Красавиц всех мастей в моем гареме —  
Мильён! Как говорится, пруд пруди.

## Джафар (с жаром)

Она звездой станет между всеми  
И навсегда похитит ваш покой...  
Уверен, о пресветлый, что в гареме —  
Я не был там, но знаю! — нет такой!

Взгляните на нее по крайней мере!  
Она всего лишь дочка гончара,  
Но, верьте мне, такой прекрасной пери  
Не знал Париж, не то что Бухара!

## Эмир

Ну что ж, пожалуй, вкратце перечисли  
Все основные прелести хотя б!

## Джафар

Для этого, боюсь, о светоч мысли,  
Язык несовершенен мой и слаб...  
(Откашливается.)

Ее глазищи — парочка черешен —  
Чаруют и пьянят, как сам Восток...  
А взгляд ее так пристален и грешен,  
Что даже саксаул пускает сок.

От щек ее исходит запах лета —  
Созревшего урюка аромат...  
А губы у нее такого цвета,  
Как только что разрезанный гранат...

А груди у нее — тугие груши  
С пупырьшками алыми двумя,  
И, все законы физики нарушив,  
Стоят, что называется, стоймя.

А попка у нее, как два арбуза,  
Идущих следом повергает в шок.  
Она для ткани явная обуза,  
На ней едва не лопаются шелк.

А бедра у нее...

## Эмир (перебивая Джафара)

Слова поэта!  
Отличное фруктовое меню!  
И каждый день на стол мне ставить это  
Я поварам в обязанность вменю...

Эмир хлопает в ладоши. Появляются слуги, несущие вазы с фруктами. Эмир жадно набрасывается на еду, Джафар не упускает случая поучаствовать в бесплатной трапезе.

Эмир (*спохватившись*)

Но и с предметом твоего рассказа  
Я все же познакомиться не прочь.

Джафар (*услужливо*)

Гюльджан живет у гончара Нияза,  
Она его единственная дочь...

Эмир (*сладко жмурясь*)

Портрет хорош, но коль с натурой вдруг там  
Какая-то деталь не совпадет,  
Твоя башка — учти, эксперт по фруктам! —  
Сегодня ж утром с плахи упадет!

Джафар (*осмелев*)

А заодно узнать вы не хотите ль,  
Где обитает этот сукин сын,  
Спокойствия всегдашний возмутитель  
И сеятель раздоров — Насреддин?

Эмир (*поперхнувшись*)

С чего ты взял, ходячая проказа,  
Что Насреддин сегодня в Бухаре?

Джафар

Он у того же старого Нияза  
Ночует на лежанке во дворе...

Эмир хлопает в ладоши. Появляется стража.

Эмир

Внимайте, о безмозглые, приказу!

Начальник стражи

Мы слушаем!

Эмир (*язвительно*)

Но слышите с трудом!..  
Ступайте в дом к горшечнику Ниязу!  
Надеюсь, вам известен этот дом?

*(Стражники дружно кивают.)*

Доставить в мой гарем необходимо  
Нияза дочь, прекрасную Гюльджан,  
А гнусного злодея Насреддина  
Швырнуть в набитый крысами зиндан!  
Не поняли ль вы мой приказ превратно?

*(Стражники отрицательно мотают головами.)*

Ведь я вас знаю — вы такой народ:  
Киваете, что все, мол, вам понятно,  
А делаете все наоборот!

*(Джафару.)*

А ты... Коль ты солгал о Насреддине,  
То будет — знай! — судьба твоя горька!

Джафар

Я чист, о кладезь мудрости!

Эмир

Гляди мне!..

*(Не удержавшись.)*

Презренный сын гиены и хорька!..

### ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ

Ночь. Двор гончара Нияза. В доме погашены огни — видимо, все давно уже спят. Неожиданно со стороны улицы раздается громкий стук в ворота. Обитатели дома просыпаются, во дворе появляются Нияз, Гюльджан и Насреддин.

Голос Начальника стражи  
*(громко)*

Не дом ли это старого Нияза,  
Чью дочь зовут Прекрасная Гюльджан?

Нияз

*(стараясь унять дрожь в голосе)*

А что случилось?.. В городе проказа?  
Потоп?.. Землетрясение?.. Пожар?..

Коль ничего такого не случилось,  
Зачем будить людей ночной порой?

Голос Начальника стражи

И он еще острит!.. Скажи на милость!..  
Не зли меня! Немедленно открой!

Гюльджан

Не слишком ли они бесцеремонны?  
К чему такой поток нахальных слов?

Насреддин *(тихо)*

Боюсь, Гюльджан, что эти охламоны  
Явились в гости вовсе не на плов!

Ночному их вторжению, родная,  
Лишь я один причиной и виной!..  
Пришли за мной!

Гюльджан (*с тревогой*)

Ты думаешь?

Насреддин

Я знаю.  
Я точно знаю, что пришли за мной.

Но уровень сыскного интеллекта  
Бухарской стражи очень невысок...  
Выходит, в Бухаре нашелся некто,  
Кто сообщил им нужный адресок!

Гюльджан

Но кто же тот стукач?

Насреддин

Пока загадка!  
Кто полон злобы — тот нанес удар!..

(*Неожиданно.*)

Когда мы шли сюда, кто вслед нам гадко  
И мстительно плевался?.. Кто?..

Гюльджан

Джафар!

(*Обнимает Насреддина.*)

Беги!.. Храни тебя Отец Небесный!..

Насреддин (*растроганно*)

Моя Гюльджан!

Гюльджан (*строго*)

Впустую слов не трать!..

Насреддин торопливо целует Гюльджан и перемахивает через  
низкий дувал в соседний двор. Слышно, как в окрестных дворах  
переполошились собаки.

Гюльджан вздыхает.

И хлопотно же быть того невестой,  
Кому все время надо удирать!..

Старый Нияз, подчеркнуто долго возившийся с засовом, наконец открывает  
ворота. Во двор вваливается отряд стражников во главе с Начальником  
стражи.

Начальник стражи

(*делает знак стражникам, и те кидаются в дом*)

Ну, говори, кого ты прячешь в доме?  
Ты не впускал нас — это неспроста!

## Нияз

Там нету никого, Начальник, кроме  
Мордастого домашнего кота!

Начальник стражи  
(*хватая Нияза за шиворот, грозно*)

Не смей меня обманывать, скотина,  
Пока тебе не вырвали язык!..  
Ты укрываешь в доме Насреддина,  
А это преступление, старик!

Нияз (*в ужасе*)

Сказать такое громко! При конвое!..  
Ты просто не щадишь моих седин!  
(*Успокаиваясь.*)

Нас проживает в доме только двое —  
Гюльджан и я. Но я не Насреддин.

Из дома выбегают стражники, красноречиво разводя руками: мол, никого! Но  
Начальник стражи уже ничего не видит, внимание его полностью поглощено  
Гюльджан.

Начальник стражи (*пытаясь обнять Гюльджан*)

Гюльджан!.. Какая грудь!.. Какие плечи!..  
К тебе я прямо страстью воспылал!

Гюльджан (*отстраняясь*)

Полегче, уважаемый, полегче!..  
Не трогай там, где ничего не клал!

Начальник стражи  
(*продолжает исследовать анатомию Гюльджан*)

Смягчись, не будь со мною так сурова!  
Какие бедра, талия, живот!

Гюльджан (*зло*)

Не трогай, говорят тебе, чужого!  
Придет хозяин — руки оторвет!..

Начальник стражи  
(*насторожившись*)  
И кто же он, счастливый тот мужчина?  
Скажи, его зовут не Насреддин?

Гюльджан (*испуганно*)

Не знаю никакого Насреддина!

Начальник стражи  
Так кто же твой жених?

Гюльджан (*уклончиво*)

Да есть один...

Начальник стражи

С тобой поладить — проще удавиться!

Гюльджан (*одобрительно*)

Хвала Аллаху, понял наконец!

Начальник стражи (*стражникам*)

Ведите эту чертову девицу

К пресветлому Эмиру во дворец!

Стражники берут Гюльджан в кольцо и выводят со двора. Нияз рыдает. Начальник стражи следует за солдатами, но по дороге раздраженно оборачивается к плачущему старику.

Чего ты носом хлюпаешь уныло?  
Отныне будет дочь твоя Гюльджан  
Наложницей бухарского Эмира!..  
Соображаешь, старый баклажан?!

И для тебя не будет в том обиды!..  
Ведь если у Эмира дочь в чести,  
То у тебя, о сын клопа и гниды,  
Есть шанс в достатке старость провести!

Начальник стражи уходит. Некоторое время слышны только всхлипывания Нияза, затем слышится какой-то шорох, и с дувала спрыгивает Насреддин.

Насреддин

(*садится рядом с Ниязом*)

Я слышал все...

Нияз (*с горьким упреком*)

...И мог сидеть в овраге,  
Ничем покой их наглый не смутив?!

Насреддин (*грустно*)

Ты думаешь, я одолел бы в драке  
Весь этот многолюдный коллектив?

### ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ

Двор уже знакомой нам чайханы. Здесь на редкость спокойно, посетителей почти нет. Разве что Насреддин, как всегда, незаметно пристроился с пиалой чая в уголке, да у коновязи мирно пасется ишак. Изредка из-за служебной занавески появляется Чайханщик — не по необходимости, а так, для поддержания беседы: он все еще чувствует свою вину перед Насредином.

А за низким дувалом чайханы, на улице творится что-то невообразимое: крики, стоны, проклятия... В воздухе мелькают палки, сабли, камни.

Насреддин (*задумчиво*)

Чем нравилась всегда мне Бухара —  
Что здесь покой, безветрие, жара...

А нынче вдруг такая суматоха —  
Бухарцы как взбесились в семь утра!

Чайханщик *(с тревогой)*

Да, нынче здесь Гоморра и Содом!  
Солдаты обыскали каждый дом!  
Все утро стража ловит Насреддина...

*(Хихикнув.)*

А он, как видно, ловится с трудом!

Насреддин

Ловить меня сегодня не резон:  
Сейчас на насреддинов не сезон!  
А коль меня случайно и поймают,  
Я тут же докажу, что я не он!..

Неожиданно во двор вваливается новый Гость. Одет он богато, даже роскошно, но видно, что уличная перепалка не прошла для него даром.

Гость *(отдуваясь)*

Я просто выть от ярости готов!..  
Я ожидал улыбок и цветов,  
А получил мильёна три проклятий  
Из искаженных ненавистью ртов!

Гость проходит через весь двор и плюхается на коврик рядом с Насреддином.

Насреддин *(сочувственно)*

Но кто ты, друг?.. Представься наконец!

Гость

Я звездочет, философ и мудрец!..  
По приглашенью вашего Эмира  
К нему я направлялся во дворец.

Я ехал из Багдада много дней,  
Менял в пути верблюдов и коней...  
И ожидал, что здесь я буду встречен  
Каскадами приветственных огней.

Но по пути к эмирскому дворцу  
Солдат скопилось — точно на плацу,  
И каждый норовил недружелюбно  
Хлестнуть меня камчою по лицу!

И все орали хором как один:  
«Держи мерзавца!.. Это Насреддин!»  
Да, судя по моим рубцам и шишкам,  
Он крепко чем-то им не угодил!



В какие бы дикарские края  
Судьбою ни бывал заброшен я —  
Нигде таких я горьких унижений  
Не знал, не будь Гуссейн я Гуслия.

Насреддин

Хоть ты мудрец, послушай дурака:  
К Эмиру в гости не спеши пока...  
Не во дворце, а у подножья плахи  
Твоя, дружок, окажется башка!

Ты долго был в пути, а между тем  
Эмир издал указ, известный всем:  
Казнить тебя за то, что ты грозился  
Эмиру обесчестить весь гарем!..

Гуссейн Гуслия (*в ужасе*)

Я немощен и болен... КАК И ЧЕМ  
Я мог бы обесчестить весь гарем?..  
Я б мог их — в лучшем случае! — потрогать,  
И то, боюсь, досталось бы не всем!

Насреддин (*решительно*)

Твоею озабоченный судьбой,  
Я должен во дворец идти с тобой!  
Я громко заявлю, что ты не бабник,  
А даже и напротив... голубой!

Гуссейн Гуслия (*в шоке*)

Ты спятил?.. Да жена моя тогда  
Повесится от горя и стыда!  
Она и так не раз меня корила,  
Что я с ней вял бываю иногда!..

Насреддин (*задумчиво*)

Тогда... идем опять же во дворец,  
И я там говорю, что ты... скопец  
И в деле обещивания женщин  
Ты, мягко говоря, не сильный спец!..

Гуссейн Гуслия (*в отчаянии*)

С каким же я в Багдад вернусь лицом?  
Я ж там считаюсь мужем и отцом!..  
Там у меня детей осталась куча...  
Так чем же я их делал?.. Огурцом?

Насреддин

Ну, милый, на тебя не угодишь!  
Я за тебя тружусь, а ты гундишь!..

Я чувствую, о мудрый, ты на плаху  
Эмирскую стремишься?.. Так иди ж!..

Гуссейн Гуслия рыдает, плечи его сотрясаются. Насреддин смягчается.

Насреддин

Что ж, остается третий вариант.  
Теперь расчет один — на мой талант!  
А также на шикарную одежду...  
Давай сюда, о модник, свой халат!

Давай сюда халат свой и чалму!  
Чувяки?.. Нет, чувяки не возьму!  
Такие ж есть — я слышал! — у Эмира,  
А раздражать Эмира ни к чему.

*(Разглядывает чувяки.)*

Взгляни-ка: жемчуг, золото, парча...  
Эмир меня ударит сгоряча!  
Любой богач всегда приходит в ярость,  
Когда богаче видит богача...

Насреддин наряжается в богатые одежды мудреца,  
а тот опасливо примеряет халат Насреддина.

Гуссейн Гуслия *(кивая за дувал)*

А мой верблюд?

Насреддин *(беспечно)*

Дворец невдалеке.  
Я доберусь туда на ишаке.  
Я б дома даже голову оставил —  
К Эмиру лучше ехать налегке!..

Гуссейн Гуслия *(жалобно)*

А как же я?!

Насреддин

Присядь-ка в уголке.  
Да мух пересчитай на потолке  
Иль сам с собой — неглупым человеком —  
Посплетничай часок накоротке.

Гуссейн Гуслия

Я в Бухаре не знаю никого  
И на тебя надеюсь одного...  
Ужели твоего коварства суслик  
Нагадит в плов доверья моего?..

Насреддин

На улицу не лезь, имей в виду,  
Не то опять нарвешься на беду!..  
Имей благоразумье и терпенье!  
И жди меня. Ты вял, о мудрый?..

Гуссейн Гуслия *(покорно)*

Жду!..

## ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ

Зал торжественных приемов в эмирском дворце. Эмир привычно скучает на своем троне. Сквозь цепь стражников прорывается Насреддин в одежде Гуссейна Гуслии и, подскочив к трону, бухается перед Эмиром на колени.

Насреддин

*(задыхаясь от волнения, вполне, впрочем, искренне)*

Вы с женщиною были ль ночью этой?  
Ответьте, о сравнимый лишь с Луной!

Эмир

Какой же нахалюга ты отпетый,  
Что запросто чирикаешь со мной!  
Кто ты такой?.. И что тебе здесь надо?..  
Здесь задаю вопросы только я!

Насреддин *(представляется)*

Мудрец и прорицатель из Багдада —  
Гуссейн, как говорится, Гуслия!..

Эмир *(смягчившись)*

Наслышан о твоей я громкой славе!..  
Но дерзким любопытством не грехи:  
Хорек твоей бестактности не вправе  
Обнюхивать чувяк моей души.

Насреддин *(нетерпеливо)*

Так все ж — была ли женщина, ответьте!..

Эмир *(выходя из себя)*

Твое какое дело?.. Отвяжись!..

Насреддин *(с жаром)*

Мне это знать важней всего на свете,  
От этого зависит ваша жизнь!..

Эмир *(насмешливо)*

Ну что ж, Багдадский Умник, докажи мне,  
Открой мне, бескультурному, глаза —  
Какой ущерб моей наносят жизни  
Гюзель, Будур иль, скажем, Фирюза?

Насреддин

На вашу гениальность уповая,  
Я все вам объясню — ответ-то прост:  
Угроза, мой эмир, как таковая  
Исходит не от женщин, а от звезд!

За небом наблюдая прошлой ночью,  
Я вдруг увидел: звезды так сошлись,  
Что прочитал по звездам я воочью,  
Что женщина... погубит вашу жизнь!

Эмир (*плаксиво*)

Не нравятся мне что-то эти речи!..  
Мне от любви отказываться жаль...  
Как раз сегодня я мечтал о встрече  
С молоденькой красавицей Гюльджан.

Насреддин (*рассудительно*)

Я вам в желаньях ваших не перечу,  
Но коль вы продолжать хотите жить,  
То вам, благоуханный, вашу встречу  
Придется на недельку отложить!..

Сегодняшнего вашего девиза  
Суть такова: все женщины — враги!  
Гюльджан же — о! — опасная девица,  
Аллах вас от нее убереги!..

Эмир

Мне вытерпеть такое нету мочи!  
Ведь я здоровый, сильный, молодой!..  
Выходит, все мои шальные ночи  
Накрылись — как в пословице — звездой?!

Насреддин

А вы себе на время дайте роздых!..  
Пусть будет даже очень невтерпеж,  
Дождитесь, мой Эмир, покамест в звездах  
Желанный вам не сложится чертеж.

Слышны стоны, охи, проклятия — и небольшой отряд стражников во главе с Начальником стражи вволакивает в зал полуживого мудреца Гуссейна Гуслию.

Теперь он в еще худшем состоянии, чем был, когда мы расставались с ним в чайхане. Борода его всклокочена, глаза вот-вот выскочат из орбит, а на и без того дырявом халате Насреддина зияют огромные прорехи.

Начальник стражи (*с гордостью*)

Был день не зря сегодня отработан:  
Хорек попал в силлок, мой господин!

Эмир (*нетерпеливо*)

Давай-ка без метафор! Где он?

Начальник стражи  
(*выталкивая Мудреца вперед*)

Вот он!..

Эмир

И кто он, этот дервиш?

Начальник стражи

Насреддин!..

Эмир (*он приятно удивлен*)

Как удалось поймать вам Насреддина?..  
Большой подарок сделали вы мне!

Начальник стражи

Вся стража Бухары за ним следила.  
Нашли в одной паршивой чайхане.

Насреддин важным шагом подходит к Мудрецу и бесцеремонно  
оглядывает его с ног до головы.

Насреддин

Вы все сошлись во мнении едином,  
Что вами арестован Насреддин...  
Но я не раз встречался с Насреддином  
И должен вас расстроить: он блондин!..

Эмир

(*мгновенно сменив милость на гнев*)

За что ж казна вам денежки платила,  
А вы их нагло смели получать,  
Тогда как вы брюнета от блондина  
Еще не научились отличать!

Начальник стражи

(*зло поглядывая на Насреддина*)

Искали мы в подвалах и на крышах,  
Все обыскали в каждом мы дворе...  
Брюнетов — тьма. Нашлось с десяток рыжих,  
А вот блондинов нету в Бухаре!

Эмир (*ядовито*)

Тогда проблему вы решили просто:  
Нашли того, кто светел от седин,  
Постановив про этого прохвоста,  
Что в детстве он, возможно, был блондин!

Насреддин

(*возмущенно подхватывая*)

Какого-то нашли авантюриста,  
Глубокого к тому же старика!..

Ведь этой развалюхе лет под триста,  
А Насреддину нет и сорока!

Мудрец

*(падая перед Эмиром на колени)*

О да, луноподобный, так и было:  
Сижу я тихо-мирно в чайхане,  
Подходят здоровенных три дебила  
И руки вдруг заламывают мне!

И говорят, мол, ты отныне будешь  
Везде и всюду зваться Насреддин!..  
А если это имечко забудешь —  
Так мы тебе плетью напощадим!

Я говорю: кому же это надо,  
Чтоб стал я Насреддином, если я  
Мудрец и прорицатель из Багдада  
И звать меня Гуссейном Гуслия?..

Эмир

*(переводя обеспокоенный взгляд на Насреддина)*

А ну-ка растолкуйте мне скорее,  
Что это за конфуз в конце концов,  
Что зрю одновременно в Бухаре я  
Аж двух одноименных мудрецов?!

Насреддин *(Эмиру, тихо)*

Как на меня вы не смотрели косо б,  
Но знайте: прорицатель — это я!..  
Как отличить, я знаю верный способ,  
Прохвоста от Гуссейна Гуслия!..

*(Мудрецу.)*

Готов ли ты — скажи определенно! —  
Все звезды в небесах пересчитать?..

Мудрец *(спокойно)*

А что считать?.. Их триста миллионов  
Шестьсот пятнадцать тысяч двести пять!

Насреддин *(неприятно поражен)*

Довольно точно. Знаешь, очень странно,  
Но вовсе не такой уж ты дебил,  
Как выглядишь. Но вот звезду Гассана —  
Новейшую! — ты сосчитать забыл!..

Мудрец (*сконфуженно*)

Признаться, я не слыхивал про эту  
Звезду... Придется глянуть в чертежи!..  
(*Спохватившись.*)

Да этакой звезды в природе нету!..

Насреддин (*твердо*)

Есть!

Мудрец

Нет!

Насреддин

Есть!

Мудрец

Нет!

Насреддин

Есть!

Мудрец

Нет!

Насреддин

А докажи!..

Мудрец замолкает, не зная, что ответить.  
Эмир наблюдает за ним с явным недоброжелательством.

Эмир

Мудре-е-ец!.. Да в Бухаре таких до чёрта!..  
Дурацким выражением лица  
Он, может, и похож на звездочета,  
Но вовсе не похож на мудреца!

Насреддин

(*Мудрецу, наступательно*)

Так ты тот самый гений из Багдада,  
Чье имя облетело все края,  
Чей след поцеловать — и то награда  
Для нас, обычных смертных?..

Мудрец (*гордо*)

Это я!..

Насреддин (*круто меняя тон*)

Ты жалкий самозванец и невежда!  
Назвав себя Гуссейном Гуслия,

Ты станешь уверять, что и одежда,  
Которая на мне...

Мудрец (*перебивает*)

Она — моя!

Насреддин

Из наглецов ты самый наглый в мире!..  
Но главный свой секрет не утаи:  
Скажи, чувяки, те, что на Эмире,—  
Они ведь тоже, видимо...

Мудрец (*запальчиво*)

Мои!..

Эмир (*разводит руками*)

Ну, это уж вершина неприличья!

Насреддин (*буднично*)

Не стоит продолжать. Диагноз прост:  
Чудовищная мания величия.  
Маниакальный бред на почве звезд.

Эмир (*зевнув*)

Число улик растет неудержимо!  
Опасный оказался старикан!..

(*Стражникам.*)

Поскольку это явный враг режима,  
Швырнуть его немедленно в зиндан!

Мудрец (*плача*)

За что?! Из-за интриги чьей-то грязной  
Мне суждена пожизненно тюрьма?!  
Вы тронулись умом, солнцеобразный!  
Луноподобный, вы сошли с ума!

Насреддин (*Эмиру, тихо*)

Я ненависти к деду не питаю,  
Но, кажется, темнит чего-то он...  
Позвольте-ка его я попытаю —  
А вдруг да иудейский он шпион?!

Эмир

(*с милостивой улыбкой*)

Талантов у тебя и впрямь в избытке!  
Таких умельцев прежде я не знал!  
Так ты у нас еще и мастер пытки?



Насреддин (*скромно*)

Я дилетант. Непрофессионал.

(*Лирически.*)

Бывает, попытаешь на досуге  
Такого же... как этот вот... козла,  
Но так, без вдохновения, от скуки,  
Не чувствуя к пытаемому зла...

Ведь какова судьба у звездочета?  
Вся жизнь у неба звездного в плену!  
Сидишь вот так один — и безотчетно —  
Нет-нет да и завоешь на луну!

Считаешь эти звездочки, считаешь  
И весь переполняешься тоской...  
Но лишь кого-то малость попытаешь —  
И все недомоганья как рукой!..

### ЭПИЗОД ОДИННАДЦАТЫЙ

Помещение, предназначенное для пыток. На стенах развешаны всевозможные, устрашающие своим видом пыточные инструменты. В углу на корточках сидит печальный мудрец Гуссейн Гуслия в обреченной позе и с потухшими глазами. В скважине поворачивается ключ, и входит Насреддин. При появлении Насреддина узник вскакивает, взгляд его оживляется.

Насреддин (*останавливая Мудреца*)

Не делай, о наивный, и попытки  
Из этой славной комнатки удрать!  
К тебе я применять не буду пытки,  
Но ты обязан все-таки орать!..

Когда тебя, дружок, начну пытать я,  
Ты высунься в окошко и ори!

Мудрец

А что орать?

Насреддин (*нетерпеливо*)

Ругательства, проклятья,  
Да что угодно, черт тебя дери!

Как будто бы железный прут я в брюхо  
Тебе воткнул!..

На лице Мудреца появляется выражение подлинного страдания.

Что, больно?.. Так ори,  
Чтоб стукачи окрест лишились слуха,  
Чтоб лопнули в округе фонари!..

Мудрец пытается закричать, но производит лишь жалкий  
блеющий звук и сконфуженно умолкает.

Насреддин (*укоризненно*)

Ты мне сейчас напоминаешь кошку,  
Которую журавль клюнул в нос.  
Пытать тебя я буду понарошку,  
Но голосить-то следует всерьез!..

Меняй приемы, маски, мизансцены,  
Побольше гнева, боли и слезы!  
Попробуй вой рожающей гиены!  
Попробуй вопль недоенной козы!

Попробуй подражать степному зверю!  
Тревожь свою фантазию, тревожь!..

Мудрец производит еще один невразумительный звук  
и исподлобья смотрит на своего мучителя.

Ну, что тебе сказать, дружок?.. Не верю!..  
Весьма неубедительно орешь!

Возможно, для ценителей вокала  
Твой голос изумительно хорош...  
Но в крике оскопленного шакала  
Не чувствуется правды ни на грош!

Не любишь, ох, не ценишь ты работы!  
Ох, на себя накличешь ты беду!

Мудрец (*жалобно*)

Никак я не найду заветной ноты,  
И верного я тона не найду!..

Насреддин (*жестко*)

Палач тебя научит верной ноте!  
Все ноты и октавы знает он!  
Загонит пару игл тебе под ногти,  
И ты в момент отыщешь верный тон!..

Ты вот на чем вниманье заостри-ка:  
В тебе к тиранам ненависть слаба!  
Есть просто крик. А где же пафос крика?  
Где яркие и гневные слова?..

Мудрец (*смущенно*)

Хоть много слов в мозгу моем хранится,  
Но все ж словарный жалок мой улов.  
Я не привык судиться и браниться  
И потому не знаю крепких слов!..

Насреддин (*изумленно*)

Да что ты?.. Ни единого словечка?..  
Я поделюсь одним-другим словцом!

(*Наклоняется к Мудрецу.*)

Давай-ка ухо, кроткая ове чка!  
Но не красней ушами и лицом!..

Насреддин что-то шепчет Мудрецу на ухо, и по выражению лица последнего видно, что услышанное повергает его в ужас. Зато Насреддин вполне доволен произведенным эффектом.

Насреддин (*наставительно*)

Ну да, ведь ты ж вдыхал особый воздух!  
Ты не привык барахтаться во зле!..  
Ты жизнь провел на выдуманных звездах,  
А жить-то надо было на Земле!..

Представь: тебе зажали пальцы дверью...  
Ну, что ты сморщил рожу-то?.. Кричи!

Мудрец (*что есть силы*)

Мерзавцы!.. Гады!.. Сволочи!..

Насреддин

Не верю!..  
Ты пропустил словечко «ПАЛАЧИ!».

Мудрец (*капризная*)

Трагедия случится, что ль, какая,  
Коль я одно словечко... пропущу?

Насреддин

Пропустишь, глупой лени потакая,  
А главный социальный смысл — тью-тью!..  
Ты так кричи, чтоб сердце защемило,  
Мне искренний твой гнев необходим!

Мудрец (*неожиданно*)

А можно я скажу: долой Эмира?..

Насреддин (*опешив*)

Пока не стоит. С этим погодим.

Придерживайся в жизни середины.  
Жизнь коротка, а зла запас велик.  
За правду пусть воюют насрединны,  
А твой удел — художественный крик!..

Ну что же, мы довольно помолчали,  
Пора и голос все-таки подать!..

Мудрец (*истошно*)

Гадье!.. Волки позорные!.. Сучары!  
Зарежу — век свободы не видать!..

Насреддин (*он ошеломлен*)

Откуда вдруг из нашего народа,  
Что солнцем и поэзией богат,  
Поперла эта темная природа,  
Которая зовется — РУССКИЙ МАТ?..

Каких чудес не встретишь в этом мире!..

(*Мудрецу.*)

Скажи мне — да простит меня Аллах! —  
Ты не был... в этой... как ее... в Сибири?..  
Не сживал ли... в этих... в кандалах?

Мудрец (*с достоинством*)

Родился в предостойнейшей семье я  
И рос послушным мальчиком. Как все.  
И, склонность к философии имея,  
С отличием окончил медресе!..

Насреддин

(*пытаясь быть рассудительным*)

Твой крик хорош. И гнева в нем в избытке.  
Язык же твой для публики негод!..

Мудрец (*кричит*)

Какой язык — когда такие пытки?!  
Под пыткой не такое запоешь!

(*Высовывается в окошко.*)

Вперед, сыны Отечества!.. На приступ!..  
Вперед!.. Алён занфан де ля патри!..

Насреддин

(*хватается за сердце*)

Послушай, у меня сердечный приступ...  
Прошу тебя... не надо... не ори!..

(*Окончание следует.*)



Михаил ЛЕВИТИН

---

# Чешский студент

ПОВЕСТЬ

*Мишеньке*

...И тогда босые ножки его приятно топотали в коридоре. Мадам Дора, не причесанная по обыкновению, простоволосая, как девушка, выглядывала из двери и смотрела вслед. Она улыбалась. Он шел, как хозяин, заложив руки за спину. И тельце, и мордочка толстенькие, как у хозяина. Он любил притворяться маленьким. Он знал, что за ним наблюдают, хитрец. Его вполне устраивало, что мадам Дора проснулась. Он ждал оклика и дожидался.

Она называла его по имени и жестом приглашала зайти. Он возвращался и входил в ее комнату кроткий и счастливый, ангел. Его ждало вознаграждение. Мадам Дора открывала створки серванта и доставала оттуда синюю вазу, наполненную доверху мелким шоколадным печеньем. Особенно нравилось ему, что доверху, что вдосталь. Он начинал лакомиться тут же, не раздумывая и так быстро, будто его могли остановить. Он даже оглядывался во время еды на неплотно прикрытую мадам Дорой дверь.

Она замечала это и смеялась заговорщически — боится родителей.

Но родители, как и все постояльцы ее гостиницы, еще спали. Это он фланировал в шесть утра у дверей, рассчитывая разбудить, а родители спали.

Мадам Дора и сама бы спала, если бы это занятие за столько лет не успело ей наскучить. И потом — с тех пор, как эта семья остановилась в гостинице, мадам Дора лежала и ждала его шагов. Она мечтала быть разбуженной им.

— Я не попрошайка,— сказал он.

Мадам Дора не поняла, но согласно замотала головой, как лошадь.

— Я лакомка,— решительно произнес он.

Она продолжала смотреть на его пухлые шевелящиеся губы, ей хотелось плакать. Он был, как раннее солнце, как утро, так же добр и приветлив. Он был добротню сбит, правда, полноват немного, но детская полнота его покоряла. Мадам Дора обожала толстых детей. Они свидетельствовали о благополучии в мире.

Ей нравилось, как он пожирает шоколадное печенье, ей все в этом мальчишке нравилось. Они понимали друг друга без слов.

Мир был красив, как этот ребенок, и так же надежен. Мадам Доре не доставало такого удачного маленького сына. Ее сын давно вырос и теперь работал тут же — официантом в гостиничном ресторане. За ним нужен был глаз да глаз. Вместе с остальной прислугой он охотно обворовывал собственную мать. И вообще больше походил на испанца, чем на француза.

Испанец, его отец, четвертый муж мадам Доры, спал в соседней комнате поверх одеяла, не успев раздеться. Сон свалил его во время сочинительства. Незастегнутый аккордеон, валясь набок от усталости,— на постели рядом, нотная бумага.

В аккордеоне рыдала мелодия. Мелодию сочинил муж мадам Доры ближе к ночи и тут же, сломленный, уснул на кровати не раздеваясь.

Мелодию мадам Дора не одобрила: слишком трагично. Будто ее мужу плохо жилось и приходилось вспоминать неслучившееся. Не забыть сказать ему об этом мимоходом.

Вопросительно взглянув на мадам Дору, мальчик взял горсть печенья из вазы и стал осматриваться с любопытством. Стены комнаты увешаны оружием. Стилеты, кинжалы, шпаги, даже мечи. Еще одно увлечение мужа — самое накладное.

Полосы бессмысленного металла всегда сверкали перед ее глазами. Расходы на это коллекционирование сделали из нее пацифистку.

Мадам Дора любила мужа, но коллекционирование было ей скучно, как собственный сон. Все это сложилось давно и длилось вечно. Гостиница, коллекция, аккордеон. А мальчик приехал пять дней назад и уедет завтра.

Тут было о чем задуматься. Она не могла представить, что будет кормить с утра не его, а птиц. Она начинала, не дожидаясь отъезда, ненавидеть птиц. Жаль, что муж коллекционирует только холодное оружие.

Завтра ей не придется смотреть в окно, как мальчик, присев на корточки во дворе, палочкой сгребает листочки в маленькие холмики садового мусора, приготовленного дворником для сожжения, как, предусмотрительно отойдя в сторону, наблюдает за этим самым сожжением, а потом все той же палочкой разгоняет искры, Боже мой.

Мадам Дора застонала, недовольно взмахнула желто-седыми недокрашенными космами волос, надо что-то делать, мальчик завтра уезжает.

Она начинала ненавидеть его родителей и тут же вспоминала, что не имеет на это права. Мальчик еще не ушел из комнаты, а она уже представила его восторг, когда после обеда ее сын-официант поставит перед ребенком специально для него приготовленное по рецепту мадам Доры мороженое, причудливое, в высоком бокале, рассеченное сверху полукружием ананаса, как секирой.

Родители мальчика потребуют, чтобы он встал из-за стола и поблагодарил, а она рассердится. Интересно, на каком это языке он станет ее благодарить, сами изъясняются через пень-колоду, пусть сидит, и пусть его толстенькие ножки раскачиваются над полом в предчувствии удовольствия. Для него стоило готовить, для него стоило жить. ЕЕ мальчик.

Кем она была для него? Мадам Дорой, просто мадам Дорой, благополучной и безотказной.

С ней он снова чувствовал себя ребенком. Надоело взрослеть, надоело примирять родителей. Он и не знал, что это так страшно, когда мама кричит на отца, что отец в чем-то виноват и никогда, никогда не исправится. Он это понял, когда мать, лежа на диване, сосала нитроглицерин и, хватая отца за руки, умоляла: «Еще не поздно все исправить, пойми же ты, пойми».

По страдальческому выражению отцовского лица мальчик понял, что отец ничего не поймет, мало того, просто отказывается понимать, и тогда ему показалось, что отец нарочно убивает мать, и он закричал на отца пронзительно, страшно: «Да понимай же скорее, дурак, она умрет!»

Мама, к счастью, не умерла, отец не обиделся, но так ничего и не понял. С этого дня родители стали жить в разных комнатах, а он начал служить у них посредником. Ему приходилось передавать мамины поручения по хозяйству и смягчать, насколько было возможно, резкие выражения: «Помоги ему, твой отец гвоздя вбить не может без моей помощи!»; «Передай, что задний мост в машине барахлит, пусть вызовет мастера»; «Пусть ест что хочет, я ему не домработница...»

А вечерами, обняв его, мама плакала, а отец уходил, собственно, можно считать, он и не приходил, — если не уезжал за границу, то работал у себя в мастерской с восьмью утра до поздна, отец был театральный художник, очень модный, жизнь его расписали на много лет вперед. Отец был магический человек, невозможно думать о нем плохо, когда он работает. Мальчик сидел в мастерской у его ног среди груды картона, обрезков бумаг, лоскутков, кнопочек. Он смотрел как зачарованный на макеты. Они казались ему ларцами, в которых спрятана жизнь. В чем мог провиниться перед мамой такой человек?

Великодушной, прекрасной мамой.

Однажды она взяла его в машину, и они поехали куда-то, и подъехали к церкви, во дворе которой оказался домик, где их уже ждали.

Ему понравилось в домике, там не было ничего лишнего, только прохлада после уличного зноя, иконы, маленькая приятная старушка, накрывшая для них стол, и сам хозяин, оказавшийся настоятелем прихода.

Настоятель и мама долго разговаривали в соседней комнате; а когда пили чай и попадя занимала маму беседой, настоятель молчал и потом, взяв мамину руку в свою, сказал: «Смири гордыню, это великий грех».

После этого мама заторопилась, видно было, как она сдерживает себя, боится высказаться здесь же, в опрятном домике при церкви, и, только выбежав за ограду, уже у самой машины крикнула мальчику: «Никто не способен дать успокоение, на что казалось бы...»

Ее успокаивала только машина, в ней она чувствовала ответственность и брала себя в руки.

О, мадам Дора с желто-седыми недокрашенными космами волос на плечах, совсем не страшная, а очень даже милая, одетая, как амазонка, брюки заправлены в высокие серебряные сапоги, молодящаяся, лихая, когда-то, наверное, красавица, как говорил папа. Почему когда-то? Сейчас красавица, всегда, знала бы она, как он умеет пронзительно кричать, когда родители ссорятся...

— Отец тебя не хотел, — сказала однажды мама, — если бы не я, ты бы не родился.

Понять смысл ее слов мальчик не мог, переспрашивать не решился, но почему-то стало трудно смотреть на отца и вообще бесконечно осложнилась жизнь. Что-то не сходилось. Любящий его до безумия отец — и эти слова мамы. Зачем она их произнесла? Неужели не видит, как трудно ему дается знание, что все, даже самое счастливое, может закончиться в любой момент?

— Почему ты не хотел, чтобы я родился, папа?

— Она тебе и это рассказала? — спросил отец. — Бедная женщина.

Больше он ничего не объяснил, но так сильно обнял мальчика, что тот никогда не повторял вопроса.

Вся надежда была на Францию, он не знал, как отец решил взять их в командировку, почему мать согласилась, он только догадался, что путешествия примиряют.

И чем больше старался отец, тем глубже темнела лицом и уходила в себя мама, уже невозможно было понять, в каких она слонялась глубинах и есть ли возвращение оттуда.

Видно было, что гордыню ей смирить не удалось и та торчала у нее теперь где-то поперек души, как кость. Мама начала торопить их с отъездом домой.

О, мадам Дора, о, гостиница «Беянеж» — приют для его надорванного детского сердца.

И пока он рассматривал галльского петуха во дворе, и пока они стояли друг против друга, мальчик и петух, готовясь помериться силами, мадам Дора уже входила в комнату мужа. Тот пытался извлечь из аккордеона застрявшую с вечера мелодию.

— Этот мальчик поживет у нас, — сказала мадам Дора. — Я его никуда не отпущу.

Страданиям мужа не было предела, он терзал инструмент, не догадываясь, что, пока терзает, возникло уже много других мелодий, не хуже вчерашней. Но он упорствовал. Мадам Дора с презрением смотрела на него.

— Ты гордишься, что моложе меня, — сказала она. — А я думаю — ты просто дурак. Мальчик будет жить с нами. Я найду доводы. Они не сумеют мне отказать.

Виноват, виноват! Перед курами, перед людьми. Вот петух надвигается на него всей своей галльской громадой, разбегаются куры. Пустеет двор. Заходит солнце.

Там, в России, он уже пережил первую трагедию своей жизни, как и все трагедии, настоящую на любви. Не с родителями, а летом у бабушки, в Яро-

славле, три года назад, где ему доверили кормить кур, и он, взяв жестяную мисочку с зерном, всегда кормил их по утрам исправно, всем поровну, пока не стал прикармливать серенькую, особенно полюбившуюся. И все увидели это и стали смеяться над ним, а он, нисколько не стыдясь своей страсти, отдавал ей лучшие зерна и все пытался погладить.

— Как он расстанется с ней? — смеялась бабушка.— Ладно, что-нибудь придумаем.

И придумали. Его долго рвало в вагоне при взгляде на серебряную фольгу, полную крови его возлюбленной, зажаренной в дорогу, чтобы они еще какое-то время были вместе. И самое удивительное — бабушка действительно думала, что делает для него лучше...

— Ты хочешь остаться здесь на год? — спросила мать.— Мадам Дора очень хорошо относится к тебе. Я не уверена, но, может быть, тебе здесь нравится?

Он хотел ответить согласием сразу, но боялся обидеть родителей и молчал, опустив глаза.

— Спроси у своего отца,— сказала мать.— Как он относится к тому, что ты поживешь здесь год? Потом во всем будет винить меня!

И тогда он понял, что опять зашевелилась эта гадюка Гордыня и все продолжится и будет продолжаться всю жизнь.

В эту минуту силы покинули его, он обмяк, как тряпка.

— Ты будешь часто приезжать сюда, папа, у тебя командировки, и маму брать с собой, мадам Дора добрая.

Так он решил. Так ответил.

В первую же ночь своей вынужденной эмиграции, после того как под восторги мадам Доры для него выбрали в гостинице комнату, из которой решено было сделать детскую, после того как официант поцеловал его в щеку, как младшего брата, а муж мадам Доры взглянул недоуменно, попытался он, сидя на подоконнике и глядя на огромные в темноте французской ночи камни, вспомнить хоть что-нибудь из того, что оставил. И вспомнил, что опыт эмиграции у него уже был. Родители были молоды и, воспользовавшись его неведением и полным доверием к ним, отдали на пятидневку в огромный серый дом, выходящий окнами на шумный и неприятный проспект.

Проспект измучил его автомобильными гудками, из которых слух целый день пытался выловить звук их собственной машины.

Но в первую же субботу они явились за ним без машины, хотя и торопились куда-то, они были молоды и любили друг друга, им было некогда, кого-то уговаривали посидеть с ним целый день, а чтобы не терять времени на детскую любознательную ходьбу, его засунули в авоську и так почти бегом несли к дому, как кота.

Было весело, хотя сразу же на пятидневке его обнесло непонятого происхождения сыпью, и теперь из авоськи торчала выкрашенная зеленкой физиономия.

Родители убегали, возвращались, убегали, мать прихорашивалась у большого овального зеркала в прихожей, отец любил наблюдать за ней.

Они были красивы, как первые люди на Земле, они были лучше всех, и он старался не мешать им всегда, с первой минуты, когда его принесли домой, перепеленали, легли спать, и он, вскоре проснувшись в легкой золотистой жиже до самой шеи, и не пытался пикнуть, нарушить их сон.

Так он вел себя и позже, всегда.

Они говорили, что особенно любят его за то, что не помешал им быть молодыми.

Он вспомнил своих друзей, собственно, не друзей, а мальчиков, с кем играл на улице. Он был самым маленьким и позволял обращаться с собой, как с предметом. Однажды они положили на него лист фанеры и легли сверху всем скопом. А он лежал под фанерой, под ними и смеялся, хотя никому не был слышен его смех.

А потом из дома выбежал отец, и главному зачинщику не повезло.



Отец сильно толкнул его кулаком в грудь и, уволокивая сына за собой, упрекал, что тот знает черт знает с кем, неразборчиво и вообще позволяет над собой издеваться.

Мальчик плакал. Зачем отец ударил его товарища? Кто дал ему право?

— Почему они всегда выбирают жертвой тебя, именно тебя?

— Может быть, потому, что я толстый и подо мной тяжело лежать? — ответил мальчик.

— Я поступил гнусно, — сказал отец.

Больше мальчик ничего вспомнить не мог, да и не хотел, теперь у него было все — синяя ваза с мелким шоколадным печеньем, высокий бокал из-под мороженого, съеденного перед сном, мозаичная карта Франции, собранная новым братом из маленьких цветных квадратиков.

Будущее не пугало его.

Мамины письма получала мадам Дора. Письма были предусмотрительно переведены кем-то на французский, но, так как он не знал пока французского, а мадам Дора русского, знаками объясняла она, что дома все в порядке, родители очень скучают, однако считают его решение остаться с мадам Дорой правильным.

Это было так странно и умирительно, что все происходящее в их семье тоже показалось ему просто дурным переводом.

И только позже, когда стало ясно, что придется здесь, во Франции, пойти в четвертый класс, где учить его, конечно же, будут по-французски, пришло письмо по-русски. Мама писала ему, не задумываясь, как взрослому.

«Мы расстались с твоим отцом, — писала она. — Эта женщина не дает ему покоя, он бросил все и поехал за ней. Сейчас он где-то в твоих краях, так что, думаю, ты его скоро увидишь. Он неплохой человек, но не дай Бог тебе походить на него. Он раб своих страстей. Для него существуют только собственные прихоти. Возможно, он очень талантливый человек, но, боюсь, ничего больше выдающегося не сделает, потому что грешник. Ты, конечно, должен любить его, он твой отец, но знай при этом, что на свете бывают люди и получше.

Я чуть не умерла тогда, — писала она. — Ты — во Франции, он разлюбил меня и уехал за своей красавицей, она, кажется, итальянка, певица, я не интересовалась особенно. Мне просто хотелось открыть окно, броситься с четырнадцатого — ты еще помнишь, что мы живем на четырнадцатом? — и сразу все кончить, но потом я вспомнила, что у меня есть ты, что скоро я заберу тебя, и... закрыла окно.

Мой мальчик, как я огорчена, что оставила тебя, но быть рядом с нами в те дни было бы еще трудней. Как же мы тебя нагружали, никогда себе не прощу. Но теперь все кончено, и, как только улягутся бури в моей смятенной душе, приеду за тобой. Слушайся мадам Дору».

Его удивило, как спокойно несколько раз перечитал он это письмо. Прошло всего несколько месяцев, а ему уже казалась вся прошлая жизнь выдумкой, а настоящей — только эта: с одноклассниками французами, турками, итальянцами, с учителями, объясняющимися с ним рисунками, со всей этой необъяснимой любовью к себе, которая, казалось, овладела всеми с тех пор, как он приехал во Францию.

Мадам Дора сделала правильно, он поступил в класс, где училось много иностранцев.

Лучшим другом его стал Касем, маленький курд с высоко задранной головой. Казалось, он все время смотрел в небо. Жизнь этого ребенка была полна каких-то странных видений, жесты мягкие и ласковые, существование так гармонично, что он начинал нуждаться в Касеме постоянно и приучил мадам Дору к частым появлениям курда в «Белянеже».

Касем первый убедил мальчика, что пустыня не выдумка, что она — дно вымотанного солнцем испарившегося океана, пустыня бывает так глубока, что кажется перевернутым небом, в ней есть пещеры, и в пещерах этих живут люди, а у пещер пасутся верблюды и кони.

Родителей своих Касем не помнил, их убили еще в самом начале непонятной короткой войны, и люди из французского посольства, которым отец Касема оказал какие-то услуги, взяли с собой ребенка во Францию. Он тоже понравился им, стал жить у них дома и учиться в той самой школе, что и мальчик.

— Ты не похож на русского,— сказал он однажды мальчику.— Кто ты?

— Наверное, француз! — засмеялся тот.

От Касема он впервые узнал, что ту короткую войну развязали евреи, они же убили родителей Касема и захватили всю землю вместе с пустыней и верблюдами.

— За шесть дней? — не поверил мальчик.— Как можно победить столько народов за шесть дней?

— Не знаю,— сказал Касем, все так же глядя в горизонт,— наверное, Бог был на их стороне.

— Когда вырастешь — отомстишь за отца?

— Нет,— быстро ответил Касем,— лучше я напишу о нем стихи.

Так мальчик узнал, что друг его — поэт. Но поэзия эта, гортанная и надменная, оставалась для мальчика джином, спрятанным в бутылку, прежде чем освоить арабский — следовало выучить французский.

Касем научил мадам Дору жарить рыбу на собственной чешуе, раскрыв ее, как книгу, надрезав белое мясо, окропив лимонным соком и прикрыв все это кусочками помидоров и лука. Чешуя твердела и становилась тарелкой, а мясо, пропитанное помидорным и луковичным соком,— блюдом.

Вообще во Франции много ели и говорили о еде. Может быть, только в их доме? Нет, повсюду, здесь заботились о завтрашнем дне.

Позже он понял, что мадам Дора была не самой богатой женщиной этого города, хотя и самой доброй. Все население состояло из богачей. Они владели гостиницами и магазинами. Они вздували цены так, что местные жители начинали ненавидеть туристов, а жизнь города вся вертелась вокруг них. Зимой они приезжали в горы кататься на лыжах, летом — на соревнования по плаванию.

В огромном стеклянном дворце, нет, городе посреди города, были лучшие во Франции бассейны, разделенные стеклянными же стенами, и дети из бассейна, предназначенного просто для купания, могли наблюдать сквозь стекло, как рядом с ними тренируются люди, превращая всем доступное удовольствие в искусство. Этим людей ни с кем нельзя было перепутать, они съезжались в город со всего мира, они были счастливы и не пытались казаться никем иным.

Им хотелось подражать, они вели себя ужасно, просто ужасно, надменные, они не делали ничего нового, прыгали с высоты, ныряли, обгоняли друг друга, но все это с таким форсом, что мальчик начинал догадываться о существовании другой жизни, полной умений. Здесь важно было все: и спортивная форма, и очки-телескопы с резинкой, и сумки, особенно сумки, всегда дорогие, разных оттенков, их хотелось потрогать, однако мешало стекло и ты мог только догадываться, как счастлив должен быть обладатель этой сумки, в которой, возможно, ничего и не было, кроме плавок и купальников, но каких плавок и каких купальников! О, это были чемпионы!

И чем роскошнее сумка, тем недосягаемей чемпион.

У подножия замка, настоящего, средневекового, там наверху, где раньше жил хозяин-граф, а теперь помещалась мэрия, устраивались праздники. Они поразили мальчика тишиной, тишиной в сопровождении музыки, почти никто не разговаривал, все и так знали друг друга, только танцевали, и у всех детей, взрослых лбы, руки, лодыжки, шеи были перевязаны свечами в темноте золотыми нитями.

Кто изобрел эти нити, какой мастеровой, кто вдохнул в них свет и когда это было? Пусть все останется необъясненным, как его собственное появление здесь.

Немного пугал замок, особенно каменная лестница, ведущая к нему снизу, по ней поднимались зачем-то парни, обняв за талии девушек, а потом спускались поодиночке и расходились в разные стороны, как незнакомые.

Однажды утром, рано-рано, когда площадь была пуста, мальчик вернулся, чтобы подняться вверх по этой лестнице, но уже на третьей площадке задохнулся, хотя над лестницей был еще тот самый замок, а над ним горы с легкими карнизами, каким-то чудом удерживающие зеленые массивы стремящихся вниз деревьев. В горы шел подъемник, он был виден с той площадки, где находился мальчик, он был пустой и прозрачный. Казалось, он поднимал вверх само солнце. И все это называлось Францией, его Францией, сердцем которой была гостиница «Беянеж» с потрясающей мадам Дорой. Все такое настоящее, что временами он забывал, что где-то есть мастерская отца с картонными макетами и маленькая квартира, в которой часто плакала мама.

И тогда он отдал прошлое, будто кто-то легко и поощрительно щелкнул его по лбу, все вылетело.

А потом появился отец. Его привезла большая машина, из которой какие-то равнодушные люди наблюдали за их встречей перед гостиницей.

Страшно встревоженный отец держал его как-то неудобно, почти что за уши, и говорил, говорил, всматриваясь, и все о себе. Вероятно, это было не самое главное, что он хотел сказать сыну при долгожданном свидании.

— Я не могу без этой женщины, ты поймешь, когда вырастешь. Она тоже любит меня, но ее сын против нашего брака, он твой ровесник, годом, кажется, младше. Ведь ты родился в семидесятом? — вдруг спросил отец и тут же засмеялся. — Как это глупо, глупо! Кто может лучше меня знать твой год рождения?

Я ужасно несчастлив, — сказал он. — Я слишком поздно освободился и теперь не знаю, как распорядиться своей свободой. Ты не завидуй мне, любимый мой, все, что пишут обо мне газеты, ерунда, ничего, ничего не получится, твоя мама права, она провидец, ты получаешь от нее письма? Нет, нет, я ничего не хочу знать, никогда не возвращаюсь, и ты тоже не возвращайся, здесь единственное, в чем ты можешь позволить походить на меня, деньги я отдал мадам Доре, она тебя любит, я не могу остаться на ночь, у этих негодяев, — отец кивнул в сторону машины, — расписана вся моя жизнь, они даже забыли, что у таких, как я, иногда рождаются дети, скоро я приеду и заберу тебя в Париж. Или Вену. Знаешь Вену? Я там оформил оперу, ужасно скучно, они приезжают в мехах, весь зал в мехах, и уже через полчаса им становится неинтересно, и вот меха снова набрасываются на плечи, и, так же очаровательно улыбаясь, они уходят. Идут по вестибюлю мимо меня, благоухая мехами, а я остаюсь один, без тебя, с idiotскими мыслями об этой женщине и о том, что все пропало.

Он говорил так долго, что мальчику стало холодно, он попросился домой пописать, а когда вышел, машины уже не было.

Что же, собственно, произошло? Да ничего, просто все куда-то уехали, а дома ждала мадам Дора с заплаканными глазами и сидел в своей комнате полузабытый ею аккордеонист, который должен был бы ненавидеть мальчика, но, когда тот проходил с мадам Дорой мимо комнаты, только приветствовал его взмахом руки радостно, да и как можно было не радоваться, когда мадам Дора шла рядом и обнимала мальчика за плечи, как последнюю надежду.

Трудно быть счастливым. Это только кажется, что легко плыть по течению, когда тебе везет. А как же скрывать счастье от недобрых глаз, чтобы не сглазили? Тьфу-тьфу-тьфу.

Мама научила его крутить дули, когда в спину на улице им смотрела какая-нибудь подозрительная старуха, непременно черноглазая, и он машинально крутил дули сейчас, хотя в спину ему никто не смотрел.

Он лежал ночью в своей комнате и считал на потолке светящиеся звезды. Для него не было непогоды. Эти звезды расклеил над ним его брат, официант. Как над маленьким. И теперь он всегда спал под звездами.

Ровно в мире, надежно в мире. Только один петух вздрагивает в курятнике, уронив голову на грудь.

При воспоминании о петухе вздрогнул и мальчик, но уже надвигался сон, спокойный, французский, под мерный бой часов из вестибюля, под ветер, разгуливающий высоко-высоко в горах, сон под звездами.

С ним охотно дружили, он был верен друзьям, легко прощал обиды. Да и что это были за обиды? Так, погрешности игры. Он исправлял их на ходу. Дружил без разбору со всеми. Все были достойны его дружбы. Опасности для себя не чувствовал, потому что не таился. Что-то было в каждом, что-то происходило в чужой душе смутно слышимое, чего он не знал, но к чему испытывал невероятное доверие.

Здесь, в городке, жизнь шла без событий, но из-под спуда чужой души веяло таким жаром другой жизни, ничуть не бедней его собственной. А на эту жизнь накручивались другие, а там еще и еще, и тогда его собственная становилась небылицей.

Он не умел сочинять, он любил слушать. Тошка Пиронков, болгарин, потомственный циркач, человек, гладивший по голове самого настоящего тигра, здоровый и всегда веселый малый, Тошка Пиронков рассказал о скромном человеке, цирковом осветителе, размятавшемся о полете. Нет, сначала, конечно, тот полюбил воздушную гимнастку, но, когда она заметила его и ответила взаимностью, ему захотелось взлететь, и в сорок лет, под ее наблюдением, этот неразмятый человек, как выразился Тошка, впервые вышел на арену и без подготовки попытался сделать сложнейшие трюки. Поломался сразу же, еле собрали, акробатка сколько могла оставалась сердобольной, потом уехала на гастроли и там завела себе кого-то еще.

— А он,— спрашивал мальчик,— тот, неудачник, вернулся в цирк?

— Куда ему деться? — захохотал Тошка.— Шарит лучом по куполу.

Он еще много рассказывал, этот легкомысленный мальчик, становившийся при разговоре о цирке необычайно серьезным.

А Касем? А Илонка, дочь эквадорского дирижера? Да, он просто любил Илонку, в этом не стоило признаваться, и так видно всем, он вбирал запахи ее дивных волос, будто хотел услышать запах эквадорских джунглей.

Она замечательно рассказывала про галапагосских черепах. Показывая, сама становилась черепахой, ложилась на спину, недоумевая, как ухитрилась перевернуться в отчаянной попытке снова встать на лапы и продолжать ползти к океану. Она так смешно, не стыдясь, дрыгала в воздухе ногами, совершая какие-то обольстительные велосипедные движения, что хотелось поцеловать ее смуглые коленки или самому стать перед ней на колени. Что он и сделал однажды, и она, боясь, что кто-нибудь высмеет его, опустила на колени тоже, и так они стояли и смотрели друг другу в глаза, а потом как ни в чем не бывало вернулись к друзьям, к болтовне, прерванной на секунду.

Это была любовь. И никто бы не сумел разубедить мальчика, что любовь выглядит иначе, это была любовь, и всю жизнь при воспоминании об Илонке легкий трепет проходил по его коже.

И то, за что другие называли его увальнем — полноватость, неуклюжесть от внезапной мальчишеской застенчивости,— рождало в ее латиноамериканском воображении совсем другие картинки.

Она называла его русским барином и утверждала, что знала в Эквадоре одного такого. Он был русский или поляк, большой, с длинными светлыми волосами, с едва заметной одышкой при ходьбе, он дружил с отцом Илоны и каждый раз щеголял в разговоре с ним своим знанием музыки, отец хорошо слушал, только морщился, когда русский барин начинал говорить с особо презрительным апломбом, это его коробило, и, когда русский уходил, отец говорил маме: «Симпатичный человек, только в музыке ничего не смыслит». Вообще-то он говорил резче, но Илона не могла перевести. Кажется, тот русский или поляк работал в Эквадоре инженером на строительстве электростанции, она не помнит, но более импозантного человека в окружении отца, а там попадались очень эффектные люди, Илонка не встречала.

На лыжах мальчик так и не научился ходить, спускаться с гор не решался, белый простор не умещался в зрачках, кружилась голова, казалось, он наполнен пространством так, что еще немного — и будет разнесен в клочья.

Но плавать любил, особенно на спине, по-барски, когда, не совершая лишних движений, ты все же продвигаешься вперед понемногу. Друзья опережали,

подплывали, торопили, а он слышал сквозь проникающую в уши воду только это голосов, радостное, как звон разбитого стекла. Он плыл мимо чужих рекордов неспешно, радовался их временным успехам, придавая всем своим осанистым видом некоторую солидность и надежность их начинаниям.

Учителя тоже любили мальчика, хотя упрекали в лени. Но это была не лень, а неожиданно возникающая усталость, когда начинает казаться, что никакое знание тебе никогда не пригодится.

Он и сам не мог объяснить, что это такое. Может быть, все до сих пор происшедшее с ним было настолько непредвиденно, что он и дальше надеялся на чудо, может быть, казалось ему, любое знание, не проверенное опытом, бессмысленно? Что и без его усилий все непременно свершится? Он ничего не знал. Просто ему иногда становилось ужасно неинтересно.

Но это продолжалось недолго. Не желая разочаровывать мадам Дору, он все же старался, и учителя снова были довольны им.

Когда приехала мама, он сидел в своей комнате и читал, что случилось с ним редко, читать не любил, это была какая-то русская книга, прихваченная из России, глупая книга о какой-то женщине-летчице, мечтающей взлететь на не завоеванную еще высоту, ее награждали, она побеждала в боях и, наконец, уже в мирное время достигла высоты, на которой ее уже было не достать.

Мальчику эта книга казалась самой смешной на свете, она была скверно написана, и смешили не столько виражи судьбы летчицы, сколько виражи слов автора, владеющего русским языком еще более неуверенно, чем сам мальчик. И надо же было маме войти в тот самый момент, когда он хохотал над глупой книгой.

Нет, мама была и оставалась лучше всех, самой красивой, красивей Илонки, ни тогда, ни потом не встречал он такой ослепительной женщины, как мама.

А если к тому же она была и счастлива...

То, что это так, он понял сразу, оставалось неясным, приехала она уже счастливой или сияла, увидя его.

Он подошел к ней степенно, боясь возникшего внезапно волнения, не давая вернуться какому-то забытому старому чувству рядом с ней, когда хотелось все бросить и бежать прочь, он подошел, как взрослый, солидный сын, как русский барин, и обнял.

— Ты рад, ты рад? — спрашивала она. — Я нарочно без предупреждения, ты рад?

Что ей ответить?

— Я рад тебя видеть, мама.

— Какой же ты стал большой! А толстый! Тебя перекормили! Я обязательно поговорю с мадам Дорой. Нет, ты не рад мне. Почему ты меня не целуешь?

Смешная, он поцеловал ее.

— Я рад, мама. Ты надолго?

— Ах, столько событий, все так внезапно и чудесно, знаешь? Мадам Дора написала, что надо поговорить, и я примчалась. Ты рад?

Больше ему не хотелось отвечать, он не знал, чему она призывает радоваться, ему начинало казаться, что ее руки обнимают не его, она ждала событий, а ему не хотелось никаких событий, никаких виражей, кроме ее приезда.

— Ты хорошо учишься? Ты говоришь по-французски? Какой невозможный язык, я учила его целый год ради тебя — и все напрасно! Я оказалась совсем бездарной к языкам, но это не важно...

«А что важно, мама?» — хотелось спросить, однако он молчал, понимая, что сейчас она не ответит, слишком возбуждена.

А потом в комнату вошла мадам Дора.

Мама попыталась говорить с ней по-французски, но потом рассмеялась, махнула рукой, и он в привычной роли посредника между мамой и кем-то еще сел рядом с ней на диван и начал переводить.

Вначале им было неудобно разговаривать при нем, труднее даже, чем подбирать слова, но потом разговор принял настолько серьезный оборот, что жен-

щины стали забывать, что их слова звучат дважды — сначала сами по себе, затем повторенные им.

— Почему нельзя иначе? — спрашивала мама. — Неужели это требуется по закону? Мне бы не хотелось...

— Есть еще варианты, — говорила мадам Дора. — Отправить его в менее строгие государства, например, в Голландию, у меня там сестра, но неизвестно, примет ли она мальчика, а если примет, как отнесется.

— Нет, нет! — возражала мама. — Пусть уж он остается у вас, он привык к вам, и потом, мне кажется, ему здесь хорошо... Тебе хорошо? — обратилась она к сыну.

— Да, — ответил мальчик.

— Так вот, — продолжала мадам Дора. — Необходимо усыновление. Прежде всего необходимо, чтобы он мог продолжить учебу дальше при поступлении в университет.

— Но это так еще не скоро!

— Мадам ошибается, — сказала мадам Дора. — Это очень скоро, на расстоянии все кажется менее заметным. И потом, если мадам хочет, чтобы сын стал настоящим французом, ему надо раствориться здесь, во Франции, в этой очень определенной жизни, в этой очень бюрократической стране.

— Я не знаю, — сказала мама. — Я не могу решиться, я не совсем готова. А ты сам как думаешь? — обратилась она к мальчику. — Ты понимаешь, что речь идет о передаче родительских прав мадам Доре?

— Только формально, — уточнила мадам Дора. — Никто не может заставить тебя отказаться от родителей.

— А что скажет отец? — спросила мама. — Вы писали ему об этом?

— Да, о чем-то таком мы говорили, но, кажется, он был отвлечен и не совсем понял.

— Ах, когда дело касается его, он все понимает! Просто ему выгодно переложить всю ответственность на мои плечи. Сам-то ты что думаешь, сам? — тебила она мальчика.

Ему хотелось сказать, что он давно ни о чем таком не думает, все и без него складывается удачно, но только пожал плечами.

— Хорошо, — неожиданно согласилась мама без всякой связи с предыдущим. — Я так несчастна, остается только рассчитывать на вашу порядочность, ведь с этим, как вы его называете — усыновлением, я не потеряю моего мальчика?

— Он ваш сын, — сказала мадам Дора.

— Ты будешь любить меня? Ты всегда будешь любить меня, правда? — заплакала мама. — Ты никогда не обвинишь, что я отдала тебя в чужие руки?

— Надеюсь, руки не совсем чужие, — спокойно сказала мадам Дора. — И потом — вы делаете это для его же блага.

— А фамилия, ему ведь придется поменять фамилию?

— На время, — сказала мадам Дора. — Потом он может ее вернуть.

— А наплевать! — сказала мама. — В конце концов это всего лишь фамилия твоего отца. Но он довольно известный человек в Европе, — неожиданно встрепнулась она. — Фамилия может пригодиться.

— Фамилию вернем, — сказала мадам Дора. — Это проблема будущего.

— Да ты сам-то как думаешь? — снова заплакала мама. — Под чужой фамилией, в чужой стране...

— Мне все равно, — неожиданно сурово сказал мальчик и, почувствовав изумление женщин, добавил: — Я устал переводить.

Мадам Дора ушла, мама смотрела на него испуганно, возможно, ждала упреков, оскорблений, но ему не в чем было ее упрекнуть, он спросил только:

— Как твои дела, мама?

— Я выхожу замуж, — сказала она. — Он еле отпустил меня к тебе. Если бы ты знал, как я счастлива!

Мальчик с трудом перевел дыхание.

— Замуж? А как же папа?

— Разве я не писала тебе? Мы давно развелись, я первой подала на развод.

Она так подчеркнула это слово «первой», что мальчику внезапно все стало безразлично. Дальше он слушал ее, как урок.

— Я беременна, — сказала она. — Скоро у тебя будет маленький братик. Ты рад?

— А жить вы будете...

Он хотел спросить — «у нас», но успел понять бессмысленность вопроса.

— Нет, мы будем жить за городом, на его даче, квартиру я продала, отец отказался от своей доли, я ему предлагала, там чудный воздух для ребенка, сосновый лес, ты сам приедешь и увидишь... Боже мой, как ты похож на моего отца, — добавила она.

— На дедушку?

— Он очень отговаривал меня от замужества, я была его любимой дочкой. Зачем я тебе об этом говорю? Так вот, ты взрослый, не думай плохо, все, что я делаю, я делаю для тебя.

— Я знаю, мама.

Во время обеда мадам Дора вела себя еще радушней, чем обычно, о чем-то шепталась с мамой, и оказалось, что шепот мама воспринимает и даже способна ответить, после две женщины выпили немного, и нагруженную подарками маму официант, сын мадам Доры, пошел проводить к автобусу.

И только на минутку, когда задержались в вестибюле одни, мама повернулась резко к нему и попросила: «Скажи отцу, что я сопротивлялась, хорошо?»

— Хорошо, мама, — ответил мальчик...

А по вечерам в ресторане дрались. Он никогда не присутствовал при драке, дело ночное, а жить мадам Дора поместила его на втором этаже в другом конце гостиницы, но брат-официант по секрету сообщил, что вчера была драка, и даже свел в подвал под рестораном, чтобы с гордостью продемонстрировать снеженные туда разломанные стулья.

За всю свою жизнь не наблюдал мальчик ни одной драки, да еще стульями, жизнь берегла его от резких впечатлений, он часто задумывался: что было бы, задержись с ним на улице человек?

Вряд ли он сумел бы ответить, оттолкнуть, даже увещевать не стал бы, предоставив событиям развиваться самостоятельно. Все равно сердце подсказывало ему, что и в том, возможном, поединке победа останется за ним.

Он вспомнил, как еще в той жизни шел с другом вечером после кино, как выскочили из темноты мальчишки, такие же, как они, но во главе с верзилой постарше, и как верзила по наводке юркого малыша, осветившего их лица ручным фонариком, ударил друга снизу вверх кастетом и собирался ударить самого мальчика, как юркий закричал: «Это он! Тикайте!» И удрали, оставив одних — друга с перебитым носом и мальчика, от которого почему-то следовало «тикать». Это событие отвлекло их даже от боли, и всю дорогу они смеялись, вспоминая, как неожиданно и глупо им повезло. Они перебирали возможные версии, ни одна не годилась. Значит, просто в мальчике было что-то значительное, с ним не стоило связываться? Этот случай он вспоминал часто.

На самом же деле причиной было недоразумение, но какое-то счастливое недоразумение, возможное только с ним. После много в жизни было тому подтверждений. Его обходила беда, его обходили драки. Он даже и рад был нарваться, но почему-то оставался неприкосновенным для любой боли.

Он не играл в войну, игрушечного пистолета у него никогда не было, его нельзя было причислить ни к белым, ни к красным, его оставляли про запас, а сами уходили в дальние походы, из которых не всегда возвращаются.

Это длилось недолго, как и вся его прошлая жизнь, но за их игрой наблюдали девочки двора, и от этого становилось стыдно.

Тогда он забирался на дворовую лестницу, уходящую в небо, на самую верхнюю ступеньку, и начинал орать, чтобы на него обратили наконец внимание и дали роль, достойную его мужества.<sup>4</sup>

Ему было очень страшно, и оттого он орал все сильнее и размахивал сорванной с себя рубахой. Все толпились внизу, самые смелые пытались лезть за ним, но все заканчивалось, когда во дворе появлялся папа.

Мальчик начинал спускаться, виновато крутя задом, а папа ждал необыкновенно для себя терпеливо...

Он заметил, что в ресторан мадам Доры в очень позднее время приходят странные люди городка, в основном мужчины, и они не только пьют вино, не только курят, но, не приглашая женщин, танцуют друг с другом как-то жалобно.

Женщин, может быть, и не стоило приглашать, слишком те были некрасивы, однако нельзя было не заметить красавицу ямайку, сидящую за столиком у входа в углу, невозможно. Она работала посудомойкой у мадам Доры, после смены ей некуда было деться, дома никто не ждал, но почему-то ни один из мужчин не замечал ее красоты и необыкновенно уютного расположения ко всему на свете.

Она знала, что ему нравится, и как-то кокетливо смущалась. Наверное, она ужасно боялась мадам Доры, что, впрочем, не мешало ей, оглянувшись, быстро растрепать его роскошные волосы, уходу за которыми он посвящал немало времени.

Она взбивала волосы и убегала на кухню.

Будь он повзрослей и побогаче, конечно бы, женился на этой смуглой жаркой маленькой девушке и уехал бы с ней на Ямайку или другой, еще более экзотический остров. Однако вскоре он догадался, что она бы не захотела, считая свою работу посудомойки у мадам Доры величайшим благом, потому что хотела жить только во Франции, пусть даже брошенная отвратительным негром-мужем, одна с маленьким ребенком, но только во Франции, вернее, в их городке, прикрытая горами от всего остального мира.

Муж мадам Доры играл на аккордеоне, мужчины шептались, танцуя, пока какая-то непонятная причина не заставляла яростью искажаться их лица, и поднимался крик, и пускались в ход стулья, и возникала мадам Дора, способная укротить самых неукротимых.

Бой посуды и стульев мадам Дора превращала в цифры, вписывала в маленький блокнотик, висящий на груди, чтобы потом ткнуть им в глаза ни в чем не виноватому сыну-официанту и обвинить всех, что они хотят ее разорения. Крики мадам Доры разносились по всей гостинице, но при виде мальчика она замолкала.

Даже непосвященному становилось ясно, что это любовь, оставалось только гадать о причинах.

Что он вообще знал про мадам Дору и хотел ли знать, когда все вокруг было так удобно для него устроено? Знать нужно ровно столько, чтобы не разрушить внезапно созданную гармонию. Что он вообще мог знать о людях вокруг?

Они ему нравились, все приветливы с ним, однако в глубине души часто видел мальчик какой-то занесенный топор над головой, возмездие за то, что занял чужое место.

Да, они были приветливы, но, казалось, двигались огромной каменной колонной вместе с городом и горами в одном им известном направлении. На мушкетеров ни один из них не был похож, скорее они походили на горы и вовсе не были такими веселыми, как их изображают в книжках. Но они были вечны и совершенно в нем не нуждались, нужен он был только мадам Доре, и этим она отличалась от них.

Муж ее по-прежнему почти не разговаривал с ним, играл с посетителями в карты, демонстрировал коллекцию, пил вино, и только однажды, наверное, в смертельной тоске звал мальчика в комнату и стал играть, вернее, сочинять при нем, если то, что звучало, можно было назвать сочинительством.

В этом заросшем желтоватой щетиной человеке, в его маленьком аккордеоне марки «Вольтмейстер» жила такая тоска, что нельзя было представить причины, вызвавшие ее. Возможно, и невероятной тоска казалась потому, что была бес-



причинной или человек догадывался, что в его жизни больше ничего не случится.

Он посадил мальчика на табурет рядом с собой и сиплым умоляющим голосом, почти напирая своей тоской, стал импровизировать и петь, не было спасения от этого голоса — то ли мальчика пугали, то ли оказывали доверие, он не мог понять и, наверное, умер бы, не дослушав, но вбежала мадам Дора и велела мужу немедленно прекратить этот, как она выразилась, ослиный рев.

Ей не стоило так говорить, потому что рот поющего сразу стал маленьким и унылым, запал куда-то, он постарел на много лет и произнес им вслед: «Старая жидовка».

Мальчику показалось, что мадам Дора бросится на него, но она еще сильнее сжала плечо мальчика и, лучезарно улыбаясь, вышла вместе с ним, тряхнув космами недокрашенных волос.

Единственное, в чем он был уверен, — здесь его не станут втягивать в семейные отношения.

Отец сдержал слово, они поехали в Прагу. Пусть не в Вену — в Прагу, где у отца были дела, главное, поехали!

Перед самым отъездом мадам Дора несколько раз зазывала мальчика к себе, что-то пыталась сказать, возможно, попросить, но, так ничего и не сказав, отпущала. Никогда еще не вела себя она так беспокожно.

В Праге отец бывал часто и каждый раз терял голову в этом городе, а почему — объяснить не мог. Показалось отцу еще в детстве, что есть в мире веселый город и город этот называется Прага. Все коллекционировали что-то, мода была такая, и он стал собирать книги о Праге, вообще все чешское, и проник в его книги бравоый солдат Швейк и населил весь город собой.

Эту книгу отец просил принести даже в больницу, когда врачи уже не надеялись его спасти, и книга, как говорил отец, его вытащила.

Так что мальчик был обязан Швейку жизнью отца, но прочитать книгу не успел. Да и мама не одобряла интереса к такой литературе.

— Солдатский юмор, — говорила она. — Нехорошо пахнет. Вот вы в ваших компаниях и разбирайтесь, а перед ребенком постыдился бы.

Но отец не стыдился, любой прогулкой пользовался, чтобы рассказать что-то из швейковских историй, а теперь, когда рядом не было мамы, когда оказались свободны, взял с собой в Прагу.

— Мне всегда хорошо здесь, живешь-живешь, все хорошо, а потом вдруг попадаешь туда, где тебе действительно хорошо. Почему? Я так люблю этот город, что точно чувствую, насколько глубоко проникает солнце в его землю.

Но мальчик то ли объективности ради, то ли из ревности к городу, а может быть, просто потому, что всегда боялся попасть полностью под обаяние отца, упрявился. Он искал изъяны и находил.

Для самоподдержки напоминал он себе, что чехи те же русские, то есть славяне, а славяне ему, приехавшему из настоящей Европы, должны казаться теперь существами темными, отсталыми. Под восторги отца мальчик надувался спесью и презирал, презирал...

Если бы отец не заслушивался самого себя, он бы страшно обиделся, ему и в голову не приходило, что Прага не станет их общей радостью.

Но мальчику совсем не хотелось радоваться.

«Слишком много солнца, — решил он. — И счастья. Все вокруг притворяются, что им здесь хорошо. Отец — тоже».

Ему не нравилось так много ходить — он уставал, не нравились трамваи — он находил их допотопными, не нравилась гостиница — хуже, чем «Белянеж», все не нравилось. И только однажды ему стало любопытно.

Юноша, немного старше его, шел из театра, в котором работал отец, вниз по площади, неся за плечами виолончель в чехле. Он не мог объяснить, почему его взгляд как зачарованный следил за этим юношей все время, пока тот шел. И после, когда он начал скрываться в одной из маленьких ветвистых улочек, грозя навсегда исчезнуть, мальчик побежал вслед, но, боясь разминуться с отцом, вернулся.

Игла чешского солнца прикасалась к бритой голове юноши, и голова становилась марсианским пейзажем, способным привидеться только во сне, пульсирующим каждой жилкой, каждой черной точечкой возрождающихся волос. Лицо и плещ, слегка мятые поутру, как и подобает представителю юной богемы славного города Праги.

— Тебе понравился Франтишек? — возник за спиной отец. — Он славный. Он самый юный в оркестре и самый одаренный. Кажется, даже не закончил пока консерваторию. Хочешь познакомлю?

— Не хочу, — ответил мальчик.

Отец продолжал, не обращая на отказ никакого внимания:

— Интересно, куда он идет? Наверное, у него свидание. Ты можешь представить, какая девушка должна быть у такого парня? Я не могу. Наверное, самая славная. А может быть, он идет никуда? Ты умеешь идти никуда? Я — нет. А он идет именно никуда, и в душе у него музыка Моцарта или просто какая-то легкомысленная чепуха. Жаль, что ты не хочешь познакомиться с ним.

И отец крикнул куда-то вдаль так, что мальчику стало стыдно:

— Здоровья тебе, Франтишек, богатства, славы!

Вечером мальчик забрался в театре высоко-высоко, на самый верхний ярус. Он дождался, когда погаснут люстры и останется в темноте только подсветка для играющих увертюру музыкантов, чтобы разглядеть бритую голову Франтишека — марсианский пейзаж, но так и не разглядел.

Виолончель была, даже две, на них играли прелестные девушки. Может быть, это к одной из них спешил на свидание Франтишек, а потом по ее просьбе разрешил сегодня сыграть вместо себя увертюру Россини?

Он слишком много позволял, этот недоучившийся пражанин, неужели все для того, чтобы скоротать вечерок вместе с друзьями, выпить пива и съесть колбаску в том самом трактире «У чаши», где всегда сживал любимый герой отца — бравый солдат Швейк?

— Тебя не перекормила случайно мадам Дора? — спросил отец. — Смотри, горе перекормленным!

Мальчик обиделся. С ним никто так не обращался, тем более отец, разве он виноват, что все сложилось неправильно и теперь приходится объяснять в гостинице, почему у них разные фамилии?

— Я опоздал родиться, — сказал отец. — Был бы я какой-нибудь бесшабашный корсар в семнадцатом веке, пересылал бы награбленное на кораблях золото куда-нибудь в Европу, ну хотя бы сюда, в Прагу, где мой сын постигал бы в университете великую науку, предположим, медицину или географию, вот на это самое золото, и я знал бы, что рискую жизнью не напрасно, а чтобы мой сын стал самым великим ученым на земле.

— Не надо ради меня рисковать, — сказал мальчик. — Я и так стану великим.

— Не сомневаюсь, — сказал отец.

А потом наступили минуты прощания, мальчик боялся этих минут, отец прощался навсегда, будто с ним, именно с ним, отцом, непременно должно случиться что-то нехорошее. Мальчик терялся, пытаясь найти какие-то успокаивающие слова. Слова-то находились, но такие жизнерадостные, фальшивые, что коробили самого мальчика, а отца почему-то успокаивали.

Может быть, при расставании немножко фальши никогда не мешает?

После Праги он твердо решил не встречаться больше с родителями, он оставлял их прошлому.

Мадам Дора расстроилась, услышав его решение.

— Надеюсь, что ты передумаешь, — сказала она. — Когда-то на кладбище после войны я искала могилу отца под проливным дождем, никого не было, я одна пробиралась по лужам между оградами в легоньких лодочках, летом, почти плыла, хотелось плакать, и вдруг сказала себе: «Папа был бы очень недоволен, узнав, что у меня промокли ноги». И тут дождь прекратился, весь сразу, и под пение птиц я подошла к могиле.

Мальчик так и не понял, зачем ему рассказали эту байку, зато узнал, что у мадам Доры было прошлое.

И все же, несмотря на жуткую обиду, возникшую там, в Праге, на бритого самонадеянного Франтишка, на отца с его пустыми разговорами, решил мальчик заняться музыкой, и обязательно на виолончели, чем абсолютно потряс мадам Дору.

Радости не было предела, его немедленно перевели в ту школу, где разрешалось учиться параллельно в подготовительных классах консерватории.

Там, в прошлой жизни, небольшая практика у него была.

«Ваш мальчик как струна», — сказал педагог маме после прослушивания в музыкальной школе. Но это не убедило маму купить домой пианино — слишком мало места. Так что заниматься он ходил к сумасшедшей портнихе во дворе. Она любила музицировать, и он разучивал гаммы в чужой комнате среди ватных торсов, не в силах заставить себя отвлечься от вида пола, покрытого булавками, как хвоей.

Но это была хоть какая-то подготовка, теперь он решил все наверстать, все вспомнить и доказать отцу, что не один Франтишек на свете.

За учение приходилось платить, но тут даже сам аккордеонист согласился с мадам Дорой, что если человек хочет учиться музыке, то денег на это не жалко.

Родителям он просил не сообщать о внезапном своем решении, заранее предвкушая радость застать их врасплох, рядом, на специально заказанных им местах в концерте, а виолончель поет, преодолевая прошлое, возвращая все счастье, на которое они были способны когда-то. Он был всемогущ, владел смычком, как судьбой, а жизнь послушно бороздками укладывалась за ним, как на полотне, он всегда мог полюбоваться ею.

Пожалуй, ни во что в жизни он не вкладывал столько стараний, боясь потерять лишь ему одному видимую цель. Он торопил результат. Ему хотелось сразу, виолончель не давалась. Она стонала, как человек, их стоны чередовались. Он завоевывал ее нетерпеливо, как его соотечественники, неосновательно, чтобы потом, когда исполнится, снести на чердак и забыть.

Он приходил в ярость от неповиновения, буквально рычал, ему хотелось ее сжечь. Не раз готовился он развести костер в саду и, скрестив на груди руки, без содрогания следить за последними корчами виолончели.

И чем больше он ненавидел ее, тем больше она сопротивлялась. Он-то думал, что хоть здесь с этим неодушевленным предметом сумеет договориться, но она сопротивлялась, как живая.

Содрогалась от их борьбы гостиница «Беянеж», мадам Дора начинала бояться, что разбегутся постояльцы, но молчала, с тайным уважением относясь к его борьбе.

И только однажды, когда совсем, ну совсем не доставало терпения, возник в его памяти бритоголовый конкурент Франтишек и начал насвистывать, мальчик подхватил это легкомысленное насвистывание, виолончель недоверчиво прислушалась — с чего это он, уж не забыл ли, что хотел укротить ее? Или укрощать ему надоело?

Но тут, не давая ей опомниться, мальчик застиг виолончель врасплох и повторил задание. У него получилось. Конечно, он сразу же забыл о Франтишке, и никто, конечно, не напомнил ему, но с этого дня между инструментом и мальчиком возникло согласие. Он был мужчиной, когда учился на виолончели, только объяснить это было некому.

И осуществилось бы задуманное, не переведи его мадам Дора в последние классы в Париж и не встретил он Абибель.

Она была на пять лет старше, училась в Парижском университете банковскому делу, заводная, веселая американка, женщина на пружинке, более деловых людей он не встречал. Она первой поцеловала его и сказала, что он будет ее мужем, она всегда хотела русского в мужа и вот встретила. Ей все было ясно и про себя, и про него, и про жизнь. Своей деловитостью она способна была оттолкнуть окружающих, но он-то знал, какая она чудесная и какая у этой де-

вушки душа. Сущность ее была весома и ощутима, как слиток золота, можно поддержать в руке. Он-то знал, что она во всем права, и решил довериться Абигель.

Конечно, она бывала циничной, как все ранюдачливые, но мальчика старалась щадить. Скептически отнесясь к его занятиям виолончелью, по размышлению сказала, что в Америке музыкой можно заработать, а в том, что они вскоре переедут в Америку, не сомневалась.

Сомневалась только в его способностях и усидчивости, несмотря на то что «у тебя самая замечательная в мире задница».

Сама Абигель решила посвятить жизнь финансам, не финансам даже, а отцу, покончившему жизнь самоубийством два года назад в Бостоне, чтоб не прослыть банкротом и не оставить на улице семью.

Добрые компаньоны, говорила Абигель, обобрали отца, и теперь она училась старательней и лучше всех, чтобы отомстить за него.

Она была очень красивой, мальчик любовался ею. Правда, до того тонка, что казалось — еще немного, и переломится в талии, но только казалось, кости и характер Абигель были сделаны из пуленепробиваемого материала. И потом она была защищена точными цифрами, считала повсюду, к числам относилась, как к заклинаниям, не успевали они увидеть здание, человека или вещь, Абигель тут же устанавливала единственно верную им цену.

В Бостоне у нее был дядюшка, владеющий финансово-маклерской конторой, он обещал ей работу, когда вернется.

— Ты будешь моим помощником,— говорила она мальчику.— Тебе совсем ничего не придется делать, все сделаю я, но ты будешь представлять, ты неотразим, и дела наши пойдут как нельзя лучше... Мы им покажем,— добавляла она, мрачней.

Можно было не переспрашивать — кому и, уж точно, не завидовать.

Любит ли он Абигель — мальчик не знал, Илонка была желанней, вообще женщины нравились ему, но в уверенность Абигель он был влюблен несомненно. Ей не нравились сильные мужчины, они мешали жить, к зависимым относилась с обожанием. Надо было только согласиться зависеть, и ты попадал в страну такой щедрости и бескорыстия, что хотелось остаться в ней до конца света.

Кроме учебы, она устроилась работать в брокерской конторе, часто брала мальчика с собой на биржу, где ему поначалу было скучно, а потом он отдался захватывающему ритму чужих эмоций и снова привычно поплыл по течению.

Квартиру они сняли на набережной Бурбонов, в самом центре, и это стало очередной удачей Абигель. Квартира принадлежала штабу какой-то турецкой мафии, почувствовавшей себя в небезопасности и срочно продавшей квартиру в два раза ниже ее стоимости.

Как вышла на эту шайку Абигель, остается загадкой, но долго еще подозрительные люди, вернее, переодетые полицейские, под разными предложениями пытались проникнуть в квартиру и — можно не сомневаться — знали их биографии с Абигель до мельчайших подробностей.

Абигель считала мальчика своим талисманом и хотела жить с ним вечно. Единственным препятствием к их браку было то, что Аби была замужем... там, в Америке.

Но и это ее не смущало.

— Будет слишком доставать — разведусь,— решила она.

Ей не хотелось ни о чем думать, пока они вместе. Что она в нем нашла, мальчик не понимал, но, обнимая его, она сходила с ума.

— Скорее, скорее! — торопила, раздевая.— Я хочу еще раз посмотреть на твое тело.

В постели она все делала сама. Перед мальчиком мелькало то рассерженное, то ласковое ее лицо, он только успевал поворачиваться.

— Ленишься, барбос? — спрашивала она между ласками.— Ну ленись, ленись.

Обстоятельства снова выбрали его, и гибкая воля мальчика им подчинилась. Она ему нравилась, она действовала так, что все становилось естественно и непреложно. Как и должно было быть.

Он не знал, любит ли ее, но от Абигель хорошо пахло, у нее были ухоженное, очень ловкое тело, короткие нежные белые волосы, и о том, что она знала, мальчик только догадывался.

У нее был мощный женский ум, какой принято называть мужским, но это ошибка, ни один из знакомых ему мужчин не мыслил так перспективно и цепко, как Абигель. Наверное, какие-то мужчины повлияли на нее, но к тому времени, как они встретились, влияние этих неизвестных для него мужчин она успела переварить и выплюнуть. Было ли их много — он тоже не знал. Абигель умела учиться... Ей нужна была Европа, чтобы выпутаться из американского провинциализма, как она говорила.

— В Америке слишком уютно, — повторяла она, — слишком.

И теперь готовилась обрушиться на Америку всей силой знаний, приобретенных в Париже.

Расчетливая, она ничего не жалела, если понимала, на что тратит. Даже праздной позволяла себе быть, когда праздность влекла за собой шлейф не изведанных ею ранее удовольствий.

Она так страстно любила его, что он боялся не выдержать, и мысленно всегда призывал на помощь отца, когда занимался с Абигель любовью, отец так часто говорил о любви, таким грешником казался, кого же еще?

Так что отец и днем и ночью всегда находился рядом с ними.

А потом и сам, как всегда бегом, проездом, явился. Он хотел передать мальчику деньги, познакомиться с Абигель.

Мальчик никогда не видел Аби такой растерянной, она не знала, как вести себя с такими, как отец, художественные люди были ей недоступны, она вывела их за черту своих размышлений, в цифры они не укладывались и потому пугали.

Отец же в тот вечер был грустен и предупредителен. С той минуты, как вошел в дом, на Абигель он взглянул только один раз. Она тоже старалась не встречаться с ним взглядом.

И вообще вечер получился тихий — под музыку и полосы света с проплывавших по Сене мимо дома прогулочных кораблей. В его жизни что-то менялось, но он не вникал, что именно, и потому оставался спокойным.

Он видел, что отец удручен, когда пошел провожать, но сам ни о чем не спрашивал. Отец мог сказать что-то сгоряча и спугнуть счастье.

— Все как-то не по-людски у нас, — сказал отец. — Я только сегодня понял, до чего ты еще ребенок, как нуждаешься в доме.

— А ты, папа?

— Я? Только в тебе. Люди делятся на «благодаря» и «вопреки». Благодаря одним — ты жив, вопреки другим — ты жив. Я привык спать в самолетах, поездах, на чужих простынях, я должен чувствовать, что меня несет куда-то, мама называла меня жильцом, и это правда. Я остановлюсь только вместе с миром.

В этот раз прощание было не таким пугающим, отец просунул руку в темноту, быстро погладил лицо сына и ушел не прощаясь.

Он ушел, а мальчик стоял на мосту Понт-Мари и думал о его словах, слишком страстных, чтобы быть правдой. Мальчик не знал — благодарить ли Бога, что он такой страстности не унаследовал, но, кажется, впервые в этот вечер понял маму.

Когда он вернулся, Аби сказала: «Какой рваный человек твой отец. У него в глазах что-то нехорошее. Может быть, смерть? У тебя совсем другие глаза».

Сойдясь с Абигель, мальчик почти забыл о мадам Доре, о маленьком городке в горах, о гостинице «Белянеж», чужое сменилось чужим, и вновь это было замечательное чужое. Полученное вскоре известие поразило его.

Муж-аккордеонист зарезал мадам Дору. Да, вот так просто, под вечер, снял со стены кинжал, оттянул ее голову за волосы немного назад и полоснул.

В случившемся мальчик сразу же обвинил себя, история с его усыновлением, конечно же, явилась последней каплей терпения аккордеониста, он и до того был почти забыт мадам Дорой, а в любви нуждался, наверное, не меньше мальчика, какие-то печальные обстоятельства прибили его к мадам Доре, она пожалела аккордеониста, а испанцы, да и вообще настоящие мужчины, не нуждаются в жалости, рано или поздно они мстят за нее.

Приехав на похороны, мальчик понял, что его уже успели забыть в городке. Вместе с мадам Дорой смыло прошлое. Не было их жизней, их радостей. Ничего. Все исчезает вместе со смертью из памяти живых, из его памяти тоже, люди торопятся смести прошлое. Зачем помнить мертвого, когда и живого не каждый день вспоминаешь?

Эта горькая мысль глубоко запала в него.

Но оказалось, что мадам Дора не забыла мальчика, это стало ясно, когда по завещанию достались ему три миллиона франков и тетрадка с ее записями.

Она вела их с того самого дня, как мальчик появился в «Беянеже».

«...Сегодня открылась дверь и в гостиницу вошел мой маленький Иржи. Такое же безмятежное пухлое лицо. Я думала, что закричу, но боялась спугнуть людей, приведших его, и сохранила самообладание. Только бы не выдать себя.

... Я смотрю в сад. И походка у этого ребенка, как у моего мертвого сына. Немножко сутулится, руки за спину. Мой отец Наум Лойтер, страдающий слабоумием в последние месяцы своей жизни, никак не мог вспомнить имя своего внука. И тогда он спрашивал у меня об Иржи: «Где этот... хороший человек?»

... Мой дед Лазарь был пекарем. Родом он из Лозовиц. Когда овдовел, женился на моей бабушке Тайбе, у каждого из них уже было по двое детей. У деда — два сына, у бабушки — две дочери. Потом появились трое совместных, среди них — мой отец Наум. Я вспоминаю все это потому, что мой Иржи вернулся.

...Пекарня находилась в нашем доме в Лозовицах. Каждое утро дедушка выпекал для меня жаворонка с голубыми изюмными глазами. У деда моего Лазаря глаза тоже были голубыми. Я никуда больше не отпущу этого мальчика.

...Боже, он ест, как мой Иржи. Когда Иржи ел, к умирающим возвращался аппетит. Я должна ему приготовить форшмак. Им всем нужны теперь улитки, а Иржи попросил бы форшмак.

— Вы настоящая француженка, мадам Дора, — сделал он комплимент мне сегодня.

О да, я настоящая, у настоящих куска хлеба не выпросишь.

...У дедушки Лазаря между большим и указательным пальцами всегда находился кусочек хлебного мякиша, который он вертел. Для того, чтобы не курить, он в кармане держал кулек с монпансье. Я садилась к нему на колени, и он угощал меня монпансье. Я все-таки добилась своего — они оставляют мальчика.

...Иржи рос добрым ребенком, но почему-то сторонился родни. Я думаю, он боялся еврейского Бога. Это всех обижало. «Ты родила нам чеха», — говорил мой дядя Абрам. Иржи приходил к родственникам в гости и все время молчал. Мне казалось, что с годами он даже стал брезговать есть у наших. Я так боялась, что они заметят! Наверное, после Пражского университета мы казались ему маленькими. Мы и были маленькими. Боже, сохрани нас маленькими!

...Мой дедушка Юда по линии мамы был верующим и большую часть времени проводил в синагоге. А когда возвращался летом домой, жил у самой реки, любил сидеть на перевернутой лодке с закрытыми глазами, не мог смотреть на солнце, а бабушка кормила его с ложки супом. Он был очень беспомощный.

Я помню, какой фокус проделали три его сына, мои дяди, а дедушка Юда увидел. Взяли велосипед, старший сел за руль, средний примостился на багажнике, младший залез на плечи старшему, а меня маленькую посадили на раму. Так и выехали на базарную площадь и сразу же наткнулись на дедушку Юду, он шел в синагогу. С ним случился сердечный приступ, когда он это увидел.

...У меня все получается. Я даже вернула себе сына, надо мной смеялись в детстве, что я слишком целеустремленная. Если я делала уроки, а в дверь стучался влюбленный в меня соседский мальчик, я всегда пряталась в шкаф и про-

сила бабушку сказать, что меня нет дома. Нет, целоваться я любила, но куда деть несделанные уроки?

...Боже, как мы целовались на берегу реки! До чего невинно!

...Мой дядя Шая делал фигурный шоколад: разные курочки, рыбки, собачки. Мы возили продавать этот шоколад в Прагу. Иржи любил сладкое, но однажды обнаружил в шоколаде седой волос тети Сарры, дядиной жены. Ну и рвало его, бедного!

...Когда он переехал в Прагу учиться, я страшно волновалась. Жить ему пришлось у дяди Муси, папиного племянника, страшного авантюриста. Женился дядя Муся шесть раз, жен своих считал красавицами, хотя все они были толстые и противные. Не любил проигрывать в карты, всегда страшно ругался, когда проигрывал, не стесняясь присутствия детей.

Однажды маленький Иржи повторил при мне одно из любимых Муськиных ругательств. Я не знала, что делать, а потом нашлась.

— Ты любишь своего деда Лазаря? — спросила я.

— Да, — ответил мальчик.

— А деда Юду?

— Люблю, — ответил мальчик.

— Ты можешь представить, чтобы они произносили что-нибудь подобное? Или тебе больше всех на свете нравится Муська?

Больше он не ругался.

Я не решилась рассказать, как этот самый Муся поехал к нашим богатым родственникам в Брно, они положили его ночевать в лучшей комнате, а он ушел той же ночью с полным чемоданом серебра. Они приехали потом за своим серебром, но он не отдал, кричал, что не видел никакого серебра. Так и уехали ни с чем, шума поднимать не хотели, позорить фамилию.

Вот у такого Муси и пришлось жить Иржи в первый год университета.

...Кем бы мог стать мой сын? Я думаю, юристом, законником, и законы эти были бы самые правильные. Евреи много сделали для Чехословакии тогда. Мы все жили вместе. Мы вместе воевали. Где-то на краю света во Владивостоке есть могилы белочехов. Среди них могила дяди Израила. Он был хорошим ветеринаром и женился по любви на женщине, которая оказалась сумасшедшей. У них родилась дочь, к счастью, совершенно нормальная девочка, Юлечка.

...Надо идти в школу, а мой новый сын приболел немножко. Надо пить молоко, но его душа не принимает молока, что делать?

У бабушки и ее младшего сына от первого брака была корова, и бабушка приучала меня пить три раза в день парное молоко. Я его очень не любила. А она мне, чтобы я пила, варила грушевое варенье с ежевикой. Может быть, сварить ему грушевое? Иржи тоже молока терпеть не мог.

...Мама у него — русская, отец — еврей. Так что настоящим евреем он считаться не может, но у него такие еврейские глаза! С огромными ресницами, как у Иржи. Мы клали на Иржины ресницы спичку, и она держалась долго, честное слово! И дружит он с арабами, честное слово! Сегодня привел одного в дом, зовут Касем, слава Господу, не настоящий араб, курд, у курдов с арабами тоже не все в порядке. Этот Касем ему очень нравится. Как истинной француженке, мне приходится молчать.

...Он совсем не раздражает меня. Все в нем приятно. И когда он научился не раздражать? Я дала себе слово не расспрашивать о родителях. Лучше бы не вспоминал о них вообще. И это говорю я! А если бы мой Иржи остался у чужих людей и не вспоминал обо мне?

...До сих пор не понимаю, зачем Иржи вернулся в Лозовицы. Не мог он не знать, что дядя Лева забрал меня вместе с двоюродной сестрой и отвез к бабушке Басе на Украину. Кто бы нас предупредил, что и там скоро начнется?

А Иржи вернулся. Вероятно, он хотел спасти меня, но не нашел, и тогда они взяли его самого. Бабушку Тайбу расстреляли двумя месяцами позже в сквере на окраине Лозовиц, и дедушку Юду, и маленькую Юлечку, и безумную жену дяди Левы.

Если бы он был с ними, я бы знала, но он погиб где-то в другом месте.

Если бы не я, Иржи остался бы жив. Он был хороший сын...»

Мальчик листал тетрадку и никак не мог представить мадам Дору пишущей. Вероятно, прежде чем сесть за стол, она стягивала, пыхты, серебряные сапоги, облачалась в халат, при нем она старалась не появляться в халате.

А потом погружала свое отяжелевшее тело в кресло и начинала писать.

Вот она пишет, а он, то есть не он, а Иржи, пробирается задами к дому своего детства, чтобы не быть замеченным. В стороне остаются парк и базарная площадь, где вскоре расстреляют деда с бабкой, тетку с сестрой. Он еще не знает об этом, и вообще темно в парке.

Он прикасается к стенам, перебегая, а стены холодные, как покойники, и когда они успели остыть, весь день стояло страшное пекло.

Лицо Иржи, его собственное лицо, как утверждала мадам Дора, их общее лицо, может напугать сейчас любого: неровная щетина, как подтеки грязи.

Но им наплевать, они ищут маму в темноте, она в опасности, и стены домов, из которых уже увели родственников, сами становятся родственниками и скрипят, скрипят, подталкивая: «Ищи, ищи...»

«...Я помню еще прабабушку Дисю — дедушкину маму. Ей было около ста лет. Я была у нее старшая правнучка. Она хотела дожить до моего замужества, так как было такое поверье, что, если дожить до замужества правнучки, сразу попадаешь в рай. От старости в бабушкиных волосах завелись огромные белые вши, я всегда вычесывала их и совсем не брезговала...»

Мальчик дочитывал дневник в поезде, идущем в Париж, и на этом месте его сморило. С трудом он нашел в себе силы спрятать дневник в чемоданчик и застегнуть замок.

Ехал он в неспальном вагоне и потому уснул в скрюченной, неудобной позе. Ему приснился автобус, внезапно перешедший на автоматическое управление, крепкий, среднего роста водитель шепчется с подозрительными небритыми личностями, автобус подбрасывает на ухабах, пассажиры стонут, а водитель, не оборачиваясь к ним, объясняет: «Ну, много выпил, не имею права? Хорошо едем, нам пока везет».

Маленькая симпатичная девочка ходит между рядами, развлекает всех. Это их будущая с Абигель дочь. В автобусе и Аби, и отец, и мать. Они смотрят в окно.

А когда автобус сворачивает в тихую аллею, водитель подводит к нему полуживого отца. «Ну не повезло», — говорит.

Отец падает, мальчик подхватывает его, будущая дочь мальчика отворачивается, чтобы не знать о страданиях, мальчик просит Абигель увести ее. Сам остается и под отцовское признание в любви проводит по его губам кусочками тут же тающего снега. Отец говорит о любви, говорит как всегда страстно, будто наяву, а снег уже вокруг них начинает таять, все грязное, коричневое. Шофер бросает мальчику последний желтоватый комок. Мальчик кладет отца прямо на землю, и тот, завернувшись в какую-то тонкую тряпку, засыпает. Мальчик идет искать врача.

Чем ближе, чем неотвратимей становилась Америка, тем меньше он хотел туда ехать. После пятидневки и жизни в «Белянеже» это становилось по счету уже третьей его эмиграцией. Будь его воля, а у него была воля, он бы не поехал, но жалость к Абигель преодолела все остальное.

И потом он привязался к ней, даже полюбил или мог бы полюбить, какая разница, он терпеть не мог, не хотел вникать в значение слова, родители тоже любили друг друга...

Оказалось, что новым мужем и дочкой собралась в Америку и потому решение одобряла.

«Боюсь старости. Так хочется пожить рядом с тобой. Я ведь очень-очень тебя люблю. Твоя маленькая сестра хорошая, но совсем на тебя не похожа. Никогда не отказывается от своих капризов, очень своевольная. Ты же был по-настоящему терпеливый ребенок, твое влияние на нее необходимо. Тебе она понравится. Она удивилась, что у нее есть старший брат, возникший без ее учас-



тия, и очень заинтересовалась. Поезжай. Я приеду следом. Не знакома с Аби-гель, но думаю, она из тех женщин, без которых ты пропадешь».

Мальчик не писал ей, что в Америке у Аби есть муж и как-то трудно, не успеет приехать, рушить чужую жизнь. Не писал, потому что был уверен — Аби справится. Но она и не думала справляться. Она познакомилась с мужем так просто, будто это было принято в их доме — привозить из Европы любовников и селить на первом этаже.

— Надеюсь, вы друг другу понравитесь,— сказала Аби.

Сказала так легко, будто ее заданием было доставить мальчика в Америку — и только. Дальше пусть сам выпутывается.

И это не казалось ей жестоким, она решила их проблему по-своему, как ей удобно.

Муж Аби — симпатичный, смешливый, немножко расслабленный человек, что не мешало ему, вероятно, в работе становиться тигром. Вне работы он, обладатель такой женщины, разглядывал людей не без удовольствия, как что-то маленькое, забавное, не способное ничем его обидеть, ничего изменить в его жизни.

Для Аби он делал исключение, ее он рассматривал с особым пристрастием, как своенравную, самостоятельную, но все же принадлежащую ему кобылку. Опыт долгих разлук не разъединил, а сблизил их.

Мальчику не хотелось вникать в эту ситуацию, но привычка считаться с чужой жизнью победила.

А пока Аби-гель двигалась по дому, решительно все меняя на своем пути, муж не сводил с нее глаз, покряхтывая от удовольствия, и однажды, мальчик мог поклясться в этом, заговорщически подмигнув мальчику, кивая на Аби-гель.

Мальчик отвел глаза и взглянул на сад.

Всю жизнь его окружали сады, и во Франции, и здесь, и в том коротком пражском путешествии, только в России он не мог припомнить ни одного, кусты какие-то помнил, пыльные, городские, недоразвитые, но вот деревья?

Нет, одно было, с красными листьями, кажется, яблоня. Он увидел его после долгой болезни, сидя на скамейке у дома. Оно возникло почти что в тумане только что пережитой болезни, а когда мальчик на минуту отвлекся и снова взглянул, красного дерева уже не было, его подменили зеленым. Значит, там были и другие? Заболел он осенью или весной? Когда цветут яблони?

Он не мог ответить. Так что жизнь в России привык представлять безлиственной, во всем же остальном мире, куда бы он ни попал, его встречали сады.

Вертушка, легкомысленно кружась в центре лужайки, постреливала струйками по головкам цветов. Небо над садом являлось продолжением уже давно известного ему неба, но, как всякое продолжение, гораздо-гораздо интересней, оно обещало развязку.

— Так вы музыкант? — спросил муж, доброжелательно глядя на него.

— Какой там музыкант!

— А,— понимающе ответил муж.

Больше им говорить стало не о чем, но тут пришла Аби.

— Он у нас богатый наследник,— сказала она.— Тетку его во Франции зарезали. Ты не рассказывал?

— Неужели зарезали? — заинтересовался муж и снова повернулся к мальчику.

— Да, убили. Но она мне совсем не тетка.

— А ты расскажи, расскажи. Тебе интересно, Роби?

— Обожаю истории про убийства,— ответил муж.

И снова подумал мальчик, что не стоило так легкомысленно соглашаться приезжать, но что делать, что делать?

Под каким-то предлогом он ушел в дом, послонялся по своей новой, похожей на маленький спортивный зал, комнате, взглянул в окно и увидел, как Аби о чем-то оживленно рассказывает мужу, указывая в сторону дома, а тот слушает с любопытством, не забывая при этом поглаживать ее руку.

И все-таки, если не пытаться понять, какую ты играешь роль в этом мире, Америка вызывала к себе расположение. Такой удобный расхристанный драндулет, на котором мчишься по жизни. Он предназначался всем, были бы деньги.

— Смотри! — кричала Аби, когда они мчались по шоссе совсем не в драндулете, а в спортивном «альфа-ромео». — Подними голову! Ведь это ты? Почему ты скрыл, что бывал в Америке раньше?

Над ними непостижимо высоко на фоне солнца улыбался с рекламного щита мальчик со всем радушием, на которое способно детское сердце. В поднятой руке он демонстрировал миру банку с колой. И в этом мальчике он сразу узнал себя.

— Хитрец! — хохотала Аби. — Да ты звезда Америки! Ты будешь платить мне проценты с баснословных своих барышей. Смотри!

И снова мальчик с лучшей в мире пастой в руке возникал в небе.

Он оказался похож на всех американских мальчиков сразу, на всех этих маленьких белозубых счастливыхцев.

— Господи, до чего ты красивый! — говорила Абигель. — И как я тебя люблю. Ты создан для Америки, я не ошиблась, обними меня.

И они занялись любовью прямо в машине, а ночью он спал на первом этаже с крепко зажмуренными глазами, как в детстве, тогда он боялся услышать, как стонет мама во сне, теперь боялся стонов Абигель, он слишком хорошо знал их причину. Когда же все-таки казалось, что слышит, набрасывал подушку на голову и так лежал, задыхаясь, ища ответа: что делает здесь, почему не бежит из этого дома, этого сада, не мчится в аэропорт, чтобы улететь все равно куда, все равно к кому?

Она решила отдать его в Гарвардский университет, но это грозило переездом в общежитие, а ей было спокойно, когда он перед глазами.

— Я думаю, ты и сейчас сумеешь немного заработать, — сказала она. — Вот только чем?

Дело нашлось. Она устроила его в отдел верхней одежды крупного бостонского магазина и обожала после работы забирать мальчика под завистливые взгляды смазливых молоденьких продавщиц.

— Ты всем отвечаешь, что я твоя мама, — смеялась Абигель, целуя его в губы, пока на них смотрели.

— Америка, мать их, — говорила она, стремительно выкатывая на шоссе, — пуритане, мать их...

А ночью все повторялось: они с мужем наверху, он у себя с подушкой на лове.

У Абигель оказалось много подруг, все почему-то постоянно были беременны, а те, кто пока еще нет, постоянно говорили о возможности забеременеть. Будто дети были единственной целью их существования, а вся Америка — огромным Диснейлендом, в котором должны быть счастливы дети.

Почему-то сама мысль о гигантском нашествии детей пугала мальчика. Он жалел их, жалел Америку. Она становилась прорвой, из которой лезут и лезут дети — куда, зачем? Или эти женщины знают, как сделать детей счастливыми?

Все было наивно, и за эту наивность боролись как за единственную правду. Но все было и слишком просто, чтобы оказаться правдой. Мир следовало, по их мнению, лишить противоречий, примирить непримиримое, вернее, навязать всем свой опыт наивности, и тогда только останется, что следить за детьми и полным озеленением.

Может быть, он и любит Абигель потому, что она не может родить? Но Абигель тоже была Америкой, обида за судьбу отца сначала мучила ее, но, работав много денег, она уже была готова простить эту обиду.

Но иногда и она жаловалась.

— Чертовски скучно, — говорила она. — Почему мы здесь сидим? Уже сейчас на мои деньги я могу купить остров. Хочешь, я куплю для тебя остров?

Но ему ничего не хотелось при мысли, что это станет островом для троих.

Он стал особенно бояться ее потерять, теперь он нуждался в зависимости, как больной, он привык к зависимости, чья-то жизнь должна была стать зало-

гом его пребывания в мире, иначе он не понимал — что делает здесь? Зачем вообще это все?

В какой-то момент Абигель забеспокоилась сама: не заигралась ли, ведь он был живым, но, догадываясь о ее волнениях, он вел себя так, что она успокаивалась. Это не стоило ему больших усилий. А потом наступили месяцы очень большой ее занятости, начались поблажки, она перестала контролировать мальчика, он мог свободно разобраться в мире.

Теперь, получив автомобильные права, он с удовольствием разъезжал по Бостону, а затем и по ближайшим штатам — Пенсильвания, Нью-Йорк.

Ему нравилось жить как бы самостоятельно, но все же действуя в каких-то не им намеченных направлениях. Все-таки в душе он был законник. Мадам Дора всегда мечтала для него о карьере юриста.

Но чьи законы он должен был блюсти, какой страны и разве верность законам не предполагает страстности или хотя бы пристрастия? Нет уж, тогда самое надежное для него — торговля сорочками в отделе верхней одежды, а помочь застегнуть верхнюю пуговичку на чужой шее — единственное занятие.

Он полюбил объезжать Филадельфию под легким накрапывающим дождем и останавливаться на площади перед университетом, чтобы купить у негра, сидящего прямо на земле, корзиночку с клубникой. Он пожирал эту клубнику жадно, ему казалось, что его кормит мама или мадам Дора.

Однажды, когда он вот так стоял и ел клубнику, ему помахала рукой пуэрториканка и, что-то сказав, скрылась в здании университета. Он хотел пойти за ней и угостить клубникой, но не знал: догонит ли?

Еще долго он помнил об этой девушке, это окрыляло его, жаль было только, что она для него никто и нельзя ей довериться, как он доверился Абигель.

Он хотел рассказать о пуэрториканке Абигель, но что-то мешало ему, все это — чепуха, незачем обременять занятых людей своей никчемной личной жизнью.

Собственных друзей у него по-прежнему не было, но в компании Абигель он прижился, хотя многие относились к нему как-то покровительственно.

— То, о чем пишет Достоевский, — правда? — с полунасмешкой спросил молодой банкир, друг Абигель, он со всеми разговаривал, подраживая превосходством. Наверное, так ему легче было жить.

— Я не читал Достоевского, — ответил мальчик.

— Но вы же русский?

— Русский.

— Странно. Даже я читал. Вам что, не попадалось «Преступление и наказание»?

— Попадалось. Но я не хотел читать.

— Почему?! Это страшно интересно.

Мальчик только пожал плечами.

Ему вообще не нравилось говорить о России, как и о Франции, впрочем, у него не было воспоминаний, он излечился от них навсегда.

Одним из достоинств Америки было какое-то общее невежество, этот тип — исключение, обычно здесь не докучали друг другу сложными вопросами.

Здесь можно было жить, прислушиваясь, как в тебе зреет что-то, но что именно — ты никогда не поймешь, а поняв, все равно ни во что стоящее не употребишь. Иногда по просьбе Абигель он завозил по утрам какие-то бумаги в конторы или банки, а если был свободен от работы — частным лицам прямо домой. Его узнавали и приветствовали. Он и не заметил, как стал чем-то вроде ее личного секретаря, виолончель забросил давно, почему-то неудобным казалось мучить инструмент при ее муже. Он не знал цены этим бумагам, получал квитанцию и уезжал. Он был свободен от постижения клубящейся вокруг жизни, и это единственная свобода, которой он добивался.

Но однажды на очередной вечеринке, пытаясь выйти в сад, он замешкался между дверями, и дама навеселе, одна из подруг Абигель, схватила его и не выпустила, пока не сдался.

— Ну смелей, смелей,— говорила она.— Ты такой красивый мальчик! Признаться, у тебя шашни с Абигель, ты страдаешь, признайся.

Чтобы не отвечать, он взял ее здесь, между дверями, как в ловушке, взял неожиданно для себя зло, как большой зверь мелкого, не задумываясь, что слуэты их просматриваются с двух сторон — холла и сада.

После этой истории он стал иначе воспринимать загадочные взгляды ее подруг; они были не прочь, если он окажет им разные незначительные услуги. Мало того, возможно, это было даже своего рода гостеприимство, не с молчаливого ли благословения самой Абигель?

Они настигали мальчика где могли — в ванной, за домом, в саду, в его собственной комнате, они, эти будущие матери, были одержимы изменой, а он оказался вполне одаренным пособником.

Нет, конечно же, Абигель ничего не знала, он понимал это по ее растерянными глазам, когда возвращался в гостиную растерзанный, впопыхах застегивая запку.

В конце концов это она сама лишила культ близости всякого ореола, и если он вещь, то почему должен принадлежать только одному человеку?

Какое-то новое, несвойственное ранее состояние, какая-то лихость разливалась теперь по всему телу, захватывая дух.

Наступил день, когда мама приехала в Штаты. Она приехала, как всегда, шумно, выбрав для жизни Калифорнию. Америка так уж Америка. Приехала с дочерью и мужем — известным баскетбольным тренером там, в России.

Абигель хотела ехать с ним, он отказался.

— Ты не знаешь мою маму,— сказал он.— Она идеалистка. Будет много вопросов. Что мы ответим на них?

Отъехав, он вспомнил лицо Абигель при прощании, такое растерянное и милое, он никогда еще с ней так не расправлялся, не оставлял так уверенно одну. Ему захотелось вернуться, успокоить, ничего страшного не случилось, он готов вечно жить на первом этаже. Но поленился, удовлетворясь благими намерениями, и поехал дальше.

Ехал к маме взрослый, слегка подпорченный жизнью субъект, ехал через всю Америку, не зная, открыто ли его сердце для свидания и где оно, это сердце, вообще находится?

И так бы он ехал и ехал, размышляя ни о чем, если бы на горизонте быстрой приближающейся точкой не возникла бритая голова — марсианский пейзаж, высокий юноша в очках, и не проголосовал.

Надо было промчаться мимо, мальчик приготовился нажать на газ, но малодушие превозмогло, он остановился.

— Студент? — спросил мальчик.

— Да,— ответил тот, устраивая рядом с собой на заднем сиденье рюкзачок.

— А виолончель где? — спросил мальчик, когда проехали еще километр.

— Контрабас? — переспросил студент.— Откуда вы знаете? Я оставил его у родственников в Чикаго. А разве мы...

— Чех? — продолжал мальчик, с трудом сдерживая ликование, что все-таки сумел озадачить бритоголового.

Студент продолжал смотреть на него.

— И вы счастливы? — спросил мальчик.— Правда, вы счастливы?

— Что, видно? — засмеялся студент.— Такая идиотская физиономия, ничего скрыть нельзя, вы угадали — я всегда беспричинно счастлив, и так будет продолжаться вечно.

— А как вы это делаете? — спросил мальчик, остановив машину.

И тогда юноша запел. Пел он, вероятно, хуже, чем играл на виолончели, почти фальцетом:

«Шел я через речку и нашел колечко, обронила панночка, видно, невзначай. Если подарил ей то колечко милый, в девичье сердечко западет печаль. Потерять подарок жаль...»

— Это старинная, чешская, вы знаете, вы, наверное, бывали в Праге?

— Не был, мой отец любит Прагу, он рассказывал.

— Приезжайте, — заволновался юноша. — У нас спокойно. Там самые красивые девушки на свете и самые добрые святые на Карловом мосту, там ничего не изменится, когда бы вы ни приехали, никто не позволит ничему измениться. Я запишу вам адрес...

— Не трудитесь, — сказал мальчик строго. — Никуда я не поеду, я был в Праге, и город мне не понравился.

Проехали еще немного, а потом студент сказал:

— Знаете что. Остановите машину.

— Зачем? Я могу довести вас.

— Остановите, мне здесь не нравится, у человека каникулы, человек в Америке летом и никому — слышите, никому — не позволит портить себе настроение. — А потом, уже выбираясь из машины, засмеялся. — И волшебника из себя корчить не надо. То, что вы из России, у вас на лбу написано.

Мама встретила мальчика так, будто они встречались несколько раз на дню, да и как иначе могла она встретить, это ведь была мама, его любимая мама.

— Видишь? — спросила она, как только он вошел. — Какое убожество! Ты помнишь нашу прежнюю квартирку? Ну так вот, даже она по сравнению с этой — дворец! Если бы не ты, ни за что бы сюда не приехала, — заявила она, абсолютно веря каждому своему слову. — Я так хотела видеть тебя. погоди, тебе надо познакомиться с сестрой... Это твой брат, — сказала она, заталкивая в комнату долговязую рыжую девочку. — Ну, поцелуйтесь, поцелуйтесь, ведь вы родные, кроме друг друга, у вас скоро никого не останется.

И она обняла их обоих.

Перед ним стояла чужая девочка, разве что с его глазами, перед ней — чисто одетый с залакированными волосами юноша, никого ей не напоминавший. Мать плакала, дети молчали, и она поняла, что у нее снова ничего не вышло. И тогда ей сразу захотелось все выяснить и она выпроводила девочку.

— Что, до сих пор не можешь мне простить отца? — спросила она.

— О чем ты, мама?

— А то, что он, негодяй, искалечил наши с тобой жизни, это ты понимаешь? Если бы не он, разве я оставила бы тебя француженке? Продала бы все и отправилась с этим болваном в Америку, будь она проклята, да?

— Успокойся, успокойся.

— Твой отец погибнет без меня, — сказала она. — Не знаю, каким чудом он жив до сих пор... Ну, ладно, хватит о нем, всегда он мешает нашей встрече. Мальчик мой бедный!

И она обняла сына.

После встречи с мамой он решил не возвращаться к Абигель. Жизнь ему предстояла необыкновенно долгая, он хотел попробовать прожить ее в одиночестве. Он внезапно понял, что сам никому не должен и ему никто. А если так, то зачем обременять собой посторонних?

Абигель пыталась найти его, не нашла, и место на первом этаже некоторое время оставалось вакантным.

А вскоре привезла из Боливии смуглого крепыша Педро, тот понравился мужу, и оба взяли в привычку, попивая в саду вино, подтрунивать над вечно чем-то озабоченной Абигель. Она не обращала на них внимания.

Года через два подруга ее, странно хихикая и конфузясь, пригласила Аби к себе и предложила посмотреть одну из тех кассет, что любят смотреть школьницы и домохозяйки тесной компанией, когда мужчин и маленьких детей нет дома.

Абигель давно изжила интерес к такому времяпрепровождению и уже готовилась раздражиться, как на экране возник прелестный юноша, почти мальчик. Он стоял спиной, перед ним на коленях ерзала и суежилась женщина. Юноша стоял, закинув вверх лицо, будто это происходило не с ним.

Затем кадр сменился другим, теперь женщина, торжествуя, сидела на нем, а он лежал все с тем же отсутствующим видом. Женщины сменяли одна другую, они сползали с него неохотно, он позволял делать с собой все, именно позволял,

внутри его невозмутимого тела клокотал источник неиссякаемой мужской силы, и эта сила когда-то принадлежала ей. Неужели так же отрешенно смотрел он, когда она неистовствовала в постели? Какой стыд!

А женщины все ползла и ползла, пока она не догадалась, что именно это равнодушие и непринадлежность заставляют их, отбросив всякую стыдливость, рвать его тело, пытаясь заглянуть в глаза, понять, что он там чувствует. Она бы выколола эти глаза! Но он лежал, крепко зажмурившись, послушно выполняя все ласки, которым она его научила. Он обслуживал их старательно, как слепой кобель.

Абигель сидела в кресле под изучающим взглядом подруги и скрежетала зубами, а там, на экране, портовые девки лакомились ее жизнью.

Тогда она выключила телевизор, развернула кресло и рассмеялась.

Касем Мохаммед Ибрагим уже в Сирии, работая на телевидении, издал книжку своих стихов и неожиданно получил открытку из Сиднея от своего читателя. На открытке было написано, что стихи не понравились, о родителях, пусть даже любимых, надо писать резко, хотя, возможно, стихи теплые, потому что автору посчастливилось пережить своих родителей.

О себе сообщалось только, что жив, хотя и чудом, попал где-то в Таиланде в автомобильную аварию, врачи собрали по кусочкам и сшили. Теперь он не совсем похож на себя самого, но все-таки жив, только голова болит постоянно.

Ах ты, Боже мой, ветра степные, мальчики, найденные в капусте, вся эта буза-бузовина, беспросветные пустыки.

Я повстречал его еще раз в квартале тридцати обетов в святом городе Иерусалиме.

До концерта оставалось часа четыре, я любил эти улицы, когда приезжал, любил потолкаться среди своих. А сегодня желал этого особенно, в программе концерта было много еврейской музыки.

С непокрытой головой, сопровождаемый укоризненными взглядами, я забирался в глубь квартала, мне было весело и приятно видеть так много евреев сразу. Я не переставал удивляться, как удастся им на тесных этих улицах создать столько трудноразрешимых ситуаций и — главное — так намусорить!

Вот нищий пристает к нищим. Он просит у них милостыню — что они подадут ему? Вот двое, на кривых курьих ногах по вине узких до колен гетр, скачут друг на друга, у одного из портфеля под мышкой сыплются бумаги — что они не поделили? Вот женщина трясет с балкона второго этажа одеяло на голову другой, которая чистит рыбу, — кто станет эту рыбу есть?

И, наконец, синагога, в ней — служба, я не могу войти туда с непокрытой головой, даже платка у меня нет.

— Не одолжите ли газетки? — спрашиваю у еврея, выскочившего оттуда на минуту, чтобы сплунуть, но он, обдав меня презрением, возвращается. Счастливец!

И когда уже, совершенно смущенный, я стою, как чужой, посреди еврейского двора и озираюсь, рядом со мной оказывается молодой хасид, очень красивый. Он чем-то напомнил мне моего дядю, который умер тридцатилетним тихо и беспричинно среди бела дня. И потому весь дальнейший разговор я стараюсь быть предупредителен к нему.

Лаская бородой, он склоняется ко мне:

— Вы еврей?

— Еврей, — отвечаю я.

— Это видно, — говорит он тихо. — А откуда? Где родились?

— В Праге, — отвечаю я.

И тогда он задумывается, прежде чем задать следующий вопрос, взгляды-вается.

— Родители ходили в синагогу? — спрашивает он наконец.

— Да, — отвечаю я.

Он успокаивается и восклицает:

— Значит, молитву вы знаете?

— Не знаю,— отвечаю я.

— Ай-я-яй,— жалеет он меня.— Тогда повторяйте. Шма Исраэль, адонай элоэину, адонах эхад! Повторяйте!

Я повторяю, он сокрушен полным отсутствием слуха и недоволен, качает головой.

— Нет, вы действительно еврей?

— Ну, конечно,— отвечаю я.

— И бар-мицва у вас был?

— Был,— неожиданно для себя вру, и тут он становится подозрителен, важен и придирчив.

— И на вас возлагали тфилин?

— Возлагали,— продолжаю лгать зачем-то.

И тогда он прикасается мягкими, безвольными руками ко лбу моему и левому плечу.

— Вот сюда и сюда?

— Да,— отвечаю я и вдруг понимаю, что, если позволю еще хоть в чем-то обмануть этого доброжелательного человека, Бог поразит меня здесь, на месте, прямо посреди двора.

— Но я не обрезан,— говорю я.

Черт меня дернул! Что тут началось! Сначала он вскрикнул, отшатнулся, хотел бежать куда-то, сзывать всех остальных евреев, чтобы взглянули на меня, необрезанного, затем решил действовать сам.

— Какой же вы еврей? Я сделаю вам обрезание сегодня же, сейчас.

— Сегодня не могу. Сегодня у меня концерт.

Он снова подозрительно задумался и помрачнел.

— Так вы музыкант?

— Да.

— И вы из Праги?

— Ну да. Я виолончелист.

Он отстранился и сделал шаг в сторону.

Я почувствовал, что чем-то огорчил его, и поспешил успокоить:

— Я приду завтра.

— Не надо,— сказал он.— Завтра не надо. И вообще вам не стоит торопиться с этим.

Он повернулся и пошел к лесенке, ведущей в дом, но, не доходя, остановился:

— Скажите... только один вопрос... вы не встречали там, в Праге...

Он назвал известную фамилию, я очень любил этого человека, он даже умереть ухитрился как-то весело, по-живому, но только собирался ответить, как хасид подхватил полы лапсердака, преодолел лестницу одним прыжком и скрылся.

Чудак! Чего он испугался? Мне было что рассказать забавное о смерти его отца.



## Статуя командира

РАССКАЗ

*Начав писать роман «Любовный интерес» («Октябрь» № 1, 1999), я обнаружил, что на дальних подступах к нему, как мираж, стоит рассказ «Статуя командира», который я сочинил четверть века тому назад. Если бы я не сделал этого тогда, то сделал бы сейчас — разумеется, несколько иначе. Около двадцати лет он пролежал в столе, в 1992 году был напечатан в книге «Статуя командира и другие рассказы» в лондонском издательстве «Оверсиз набликешинз Интерчейндж». Книга дошла до России в ничтожном количестве экземпляров и практически неизвестна читателю. Тема рассказа, как поймет читатель, не принадлежит какому-то конкретному времени, но всякая ее обработка несет печать эпохи. Дорожа этим рисунком, расплывчатым и все больше стирающимся, я предпочел не вносить в текст никаких поправок, кроме напрашивающихся редактурных.*

Автор

Наверное, москвичи, бывавшие в сентябре 196... года в районе Арбата, помнят, что в один прекрасный день все огороженные участки, на которых велось разрушение старых домов, заперестрели новенькими и яркими плакатами по технике безопасности. Были даже сняты идеологические лозунги и вместо какого-нибудь «Станем на праздничную вахту» появилось «С наступлением темноты включи прожектор». Наверное, некоторые помнят и то, что примерно за неделю до этого день начался непривычной за последние месяцы тишиной, и хотя с самого утра на площадках толклось начальство, и хотя все, кому надо, были на рабочих местах, их тараны, бульдозеры и экскаваторы до обеда простояли в бездействии. В переулках собралось порядочно черных «Волг» и несколько милицейских и пожарных машин, задержавшихся здесь, как говорили, с ночи. Говорили, что ночью кого-то убило или убили, или даже, что произошло убийство. Показывали и место, одни — семиэтажный дом с тремя статуями на крыше, от четвертой остался только цоколь; другие — двухэтажный, почти прилепившийся к нему. Еще через полмесяца я узнал, что какой-то важный прораб полетел, неважный получил год условно, и какой-то крановщик — два года тюрьмы.

Я утверждаю, что сейчас вся история, которая окончилась так трагически той сентябрьской ночью, известна мне одному, даже если предположить, что без вести пропавшая ее участница еще жива: ей была открыта только часть происшедшего, только коснувшийся ее край. И хотя я совсем не считаю, что эта история должна быть обнародована, не записать то, что знал, я, как увидит возможный читатель моего рассказа, не мог. Так что изложу все, как было, и отправлю рукопись в архив того суда, который вынес приговор крановщику и прорабам, пусть приложат к делу.

Я тогда приехал в Москву на конференцию. По профессии я врач-онколог, сообщаю об этом, потому что каким-то боком это относится и к случившемуся. В один из вечеров я решил походить по городу, кто-то из московских коллег посоветовал: «Арбат посмотрите, пока еще есть что смотреть» — и вот, уже в сумерки, я пришел на это место. В сумерки, потому что по ленинградской привычке шел пешком, гулял, не знал, что по Москве гулять нельзя. Усталый, пройдя с



десяток километров по людным улицам, по грохочущим — не проспектам — магистральям, я вошел, наконец, в глухой переулочек, упоравшийся в поперек его поставленный строительный забор. Тогда по ночам работы еще не велось, и, хотя ворота были заперты на замок, я прошел в брешь рядом. Было снесено уже несколько домов, которые прежде, по-видимому, заслоняли обзор, и теперь за их невысокими развалинами открывалось пространство с разного размера и разной архитектуры зданиями, разбегавшимися по неправильной спирали от того места, где я стоял. Измятой, изгрызанной, изуродованной розой лежал этот самый Арбат в дряхлеющем на глазах вечернем свете. Можно было различить маленькую площадку посредине и улицу сравнительно высоких, как правило, облицованных кафелем домов по краю. Между развалинами бродило несколько фигур, кто-то тащил на себе оконную раму, кто-то доски. Метрах в десяти от меня пожилой человек пилил толстую балку. Я подошел. Бросив неприязненный взгляд, он пробурчал, не прекращая работы:

— Имею разрешение... Я скрипичный мастер. Это для скрипки... Столетняя сосна, и не меньше, чем полтораста лет высушки.

— Вы знали это место и раньше? — спросил я.

— Вы приезжий? — сказал он.— Кто же его в Москве не знал. Это Собачья площадка. В этом доме,—он показал на грудку, около которой трудился,— поэт бывал... А-а-а!..— как-то пропел-простонал он: пропади, дескать, все пропадом, и снова принялся пилить.

Я двинулся дальше. Я перелез через кусок кирпичной стены и оказался на самом краю черневшей ямы, пролома в полу. Надо было либо лезть назад, либо метра три пройти по узкому, в ребро доски шириной, карнизу нависавшего над проломом забора. Я ухватился руками за его верхний край и двинулся вперед. Мне оставалось каких-нибудь полметра до большой каменной плиты, когда почти у самого моего уха раздался глухой голос: «Не испугайтесь». Я оступился и чуть не сорвался. «Я же сказал, не испугайтесь»,— повторил голос так же медленно и равнодушно. Я сделал еще шаг, спрыгнул на плиту и обнаружил говорившего. Он стоял в углублении за поворотом, который делал забор, в совсем темной тени. Я не видел его лица, но мне сразу показалось, что это глубокий старик. Он стоял не шевелясь. Почему-то я стал топтаться на месте, вглядываясь в него. Я понимал, что это неприлично, но при этом не только вытягивал в его сторону шею, а и начал придвигаться, само сознание неприличности лишь усиливало тягу. Несколько секунд мы стояли почти вплотную друг к другу. Мои глаза привыкли к темноте, и я увидел, что на нем невысокая шляпа с немодно широкими полями и не то плащ, не то накидка наподобие офицерской, без рукавов. Наконец, я развернулся и стал в то же углубление, плечом к плечу с ним, но это положение уже хоть немного оправдывалось тем, что мы якобы привлечены одним и тем же видом.

— Вот,— сказал я,— конец..

— Хорошо, если конец,— отозвался он не то иронически, не то просто оценивая, мол, конец — это хорошо, не то таинственно: а что, как не конец? Я выбрал первое.

— Скоро и у нас это начнется,— сказал я,— в Ленинграде.

— Там-то уж давно пора,— ответил он как будто своим мыслям, как будто еще не вступая в разговор,— вывесить мемориальную доску. «С такого-то по такой-то здесь стоял Ленинград».

— Вы хотели сказать — Петербург?

— Петербург само собой.

Он замолчал и, казалось, совсем не тяготился долгой паузой. Я же метался мыслью в поисках нового вопроса, во мне поднялось такое желание продолжать разговор, что, уйди он сейчас, я побежал бы за ним следом.

— А это место знакомо вам?

Он быстро взглянул на меня и ничего не ответил.

— Позвольте представиться,— сказал я, опять почти неприлично, напращиваясь на знакомство, но меня так и подталкивало к нему. Я протянул руку и назвал по имени: мне было уже тридцать, но я знал, что и до сорока буду представляться по имени, такое наше поколение — дим, борь, тань — до старости.

— Тогда — Иван,— усмехнулся он после едва заметного замешательства и вложил свою узкую и сухую ладонь в мою.

— Иван...— сказал я.— Иван — а дальше?

— Тенóрио.— И, видя, как я обескуражен, он рассмеялся наконец.— Я из испанцев.

— И давно здесь? — спросил я, опять первое попавшееся, только чтобы продолжать.

— Давно... Уж не помню... — ответил он с запинками. — После войны... То есть еще испанской.

— Наверное, жили тут? — Я мотнул головой на руины.

— Нет... Хотя и бывал... Вон в том доме. — Он вытянул руку в сторону семиэтажного дома со статуями на крыше.

— В том? — Зачем-то вытянул руку и я, только чтобы повторить позу, в которой он стоял, а он стоял как изваяние.

— Нет, в двухэтажном, рядом... Пойдемте отсюда, — сказал он, как будто уже зная свою власть надо мной, как будто барственно снисходя к моему плохо скрываемому желанию следовать за ним.

Быстрым шагом, ни слова не сказав за всю дорогу, мы дошли до Никитских ворот. Через два проходных двора попали в третий, почти целиком занятый длинным кирпичным домом. Поднялись на второй этаж и пошли по полутемному коридору, в который по-гостиничному выходило множество дверей. Мой вожатый остановился у самой дальней от лестницы и отпер ее французским ключом. Была маленькая прихожая, из которой дверь прямо вела в кухню, а дверь направо — в большую, но единственную комнату. Он включил электричество, и при тусклом свете, пробивавшемся из-под низкого абажура темно-зеленого, почти черного, стекла, я увидел две широкие тахты, стоявшие в противоположных углах, две стены книг, от полу до высокого потолка, ковер посредине комнаты и ковер во всю третью стену, на котором висела одинокая, чуть длиннее спортивной шпага. Повозившись на кухне, хозяин появился в дверях, катя перед собой столик с бутылкой вина и нарезанным хлебом, сыром и холодным мясом. Проходя за чем-то под лампой, он на мгновение осветился прямым светом, и я открыл рот, увидев, что он одних лет со мной, если не моложе. Так что *Иван* как будто разъясняялся.

— Вы не молитесь перед едой? — спросил он деловым обыденным тоном, словно узнавал о моих привычках: хлеб белый? черный? — и, получив отрицательный ответ, произнес: — Ну, стало быть, и не надо.

Мы пили темное густое вино, без тостов, даже без похвал его вкусу, без слов, делали себе бутерброды, мы — ужинали, и мне казалось, что по-другому и не могло быть. Вдруг он спросил, чем я занимаюсь, и, узнав, попросил меня сказать, что я думаю о природе рака. Я ответил, что то, что он услышит, разочарует его, что ни я, ни кто из врачей толком ничего не знает, но что некоторые мои выводы из наблюдений таковы. Каждого человека ждет свой рак, но одни до него доживают, а другие умирают от инфаркта, или тифа, или под машиной, не дожив. Рак, если можно так выразиться, очевидно, мистичен, но распространяться на эту тему, по-моему, не стоит, ибо шарлатанство. Неправда, будто раньше раком болели не меньше, чем теперь, только, дескать, не распознавали. Хотя и банально звучит, но это в самом деле болезнь нынешнего века, современный, так сказать, бич небесный, наказывающий грешную землю. Еще замечу, что рак — это дарвинизм, доведенный до абсурда, то есть борьба за существование между организмом и опухолью, причем опухоль *всегда* моложе организма и неприхотливее его, почему победа *практически всегда* за ней.

— Кстати, сколько вам лет? — спросил я, разойдясь, пока говорил.

— Больше, чем вы думаете, — ответил он медленно, с улыбкой. — Но у меня какая-то странная болезнь, вы, должно быть, знаете название: я молодею. Мне говорили, что сейчас ею болен еще один, в Париже, тоже испанец — и больше как будто случаев не слышно.

— Это, видимо... что-то не то... другое... — забормотал я, опять сбившись, — видимо, клетки... как-то омолаживаются... хотя мне не встречалось...

— Я не знаю, — опять улыбнулся он, поощрительно и устало. — Это началось лет, кажется, с тридцати. В тридцать один я стал выглядеть и чувствовать себя опять как в тридцать, а в тридцать два — как в тридцать один, то есть опять-таки как в тридцать. И так далее. Не по дням рождения, разумеется, но в какие-то утра, ничем не отличимые от других, я просыпался, ясно чувствуя, что омолодился на последние прожитые полгода, год, иногда даже два-три. Сбросил, что ли, старую кожу, усталость, какую-нибудь боль в ногах, понимаете? Стоило появиться седому волосу, как он первый и выпадал, я это миллион раз видел — когда еще гляделся в зеркало.

— Это очень интересно.— Я вновь попытался поймать профессионально-уверенный тон.— Это случай очень редкий, его необходимо описать...

— Вы пишете литературу? — спросил он живо.

— Нет. То есть только по медицине, специальные статьи.

— Наверное?

— Да-да. Почему вы так настойчиво?..

— Я не хочу, чтобы обо мне писали.

— Даже о вашей... вот этом омоложении?

— Да. Было время, когда обо мне очень много писали. А для меня это было ужасное время, и я не хочу его вспоминать. И... я давно уже не даю повода. Так что не нужно.

— Это когда? — спросил я. Я знал, что это спрашивать нельзя, не имею права, что это еще невозможнее того, когда я лез с ним знакомиться, но желание узнать что-то, я понимал, запретное и узнать тогда, когда нельзя, так, чтобы я чувствовал, как это неприлично, было сильнее моего стыда; что-то подмывало изнутри узнавать и узнавать, приставать к нему, не отцепляться.— Это когда вы приехали из Испании? Вы эмигрировали? После испанской войны? Простите, что я столько спрашиваю, но мне это очень... важно! — выпалил я вдруг.

Он усмехнулся.

Задним числом вспоминая свои разговоры с ним, я не могу отделаться от ощущения, что все мои намерения, не говоря уже о конкретных вопросах, которые я задавал, были ему известны заранее и он это даже не очень скрывал, устало улыбаясь, покачивая головой, опережая мои мысли. Собственно говоря, то был его монолог, изредка прерываемый моими репликами, в которых он, по-видимому, замечал смысла не больше, чем просто в междометиях.

— Ну, раз важно...— Он разговаривал со мной как с мальчиком, но который нравится и которому стоит сказать что-то, что он может понять.— Да, я приехал в Москву после нашей гражданской. Только обо мне тогда почти уже не писали. У вас ведь пишут одно полезное, а я был совершенно бесполезен. В Мадриде со мной познакомился один русский, кинооператор. Я тогда никак не мог приспособиться к переменам и очень скучал. Он стал предлагать мне поехать с ним в Россию, он был какая-то шишка, помимо кино, в политике. Но со мной возился не по заданию, а по-человечески, он был тонкий и умный человек. Я очень истаскался тогда, у меня было очень много романов, в испанском духе... Уйма! Мой Санчо прежде уверял, что знает точное число. (Я вывез мальчика с собой, еще младенцем, сироту, он живет со мной, вы его еще увидите.) Русский, его тоже звали Иван, соблазнял меня красотой и загадочной душой московских женщин. Я говорил, что я не коммунист. Но сочувствующий? — настаивал он. Нет, индифферентный. Он смеялся; и то хорошо. Мы вообще старались говорить на эту тему как бы не всерьез, однако решение ехать, чтобы хоть как-то сменить обстановку, пришло скорее, чем я ожидал, и быстро обрело конкретность. Он куда-то носил мои бумаги и в ближайший свой полет с отснятой пленкой в Москву захватил меня с собой. Санчо мы нашли утром в день вылета на пороге моего дома, в кружевах и батисте, с запиской «Ваш сын». Иван, смеясь, сунул его в одну из своих сумок.

В Москве он подал меня как крупного филолога и устроил в научный институт, куда я даже за зарплатой не ходил, он приносил мне ее домой. Еще выяснилось, что я большой специалист в фехтовании,— он подбородком указал на ковер со шпагой,— и меня даже пригласили поставить сцену боя для Лопе де Вега Карпио. С нашей эмиграцией я не общался, они пытались поначалу вовлечь меня в свои дрязги, но Иван был начеку, где-то что-то обо мне сказал, и меня оставили в покое. Мальчиком по очереди занимались мои дамы.

В каком-то смысле это был самый мрачный период моей жизни. Среди них были красавицы, были умницы, были хрупкие, грубые, прелестные, но все они вешались на меня. У вас тогда царила какая-то особенная распушенность, распушенность без изюминки, теория стакана воды и тому подобное. Я был, знаете, не то что сейчас, я вообще, признаюсь вам, *нравился*, но тогда меня еще дополнительно возбуждала новая обстановка, новый тип лиц, незнание языка, я был воодушевлен и то что называется блистал. Прибавьте к этому, что я был для них иностранец, а ваши женщины очень на это падки. О, я ни на минуту не допускаю мысли, что не было тогда и других, целомудренных, неприступных, верных жен, но я был безвыходно окружен кольцом этих и к тем пробиться не мог. Очень, очень скоро, года не прошло, мне стало куда хуже, чем было в Ма-

дриде. Я совсем не мог любить. Я каждый раз чуть не с мучением напрягался выдать из себя хоть каплю любви, но душа совсем пересохла. Даже вторичные чувства — интерес к новому партнеру, удовольствие от неожиданности, волнение от опасности — измельчали, раздробились в пыль. Я стал превращаться в Казанову.

Я попробовал пить вашу водку. Несколько месяцев я прожил в тумане, в отупении и словно в спячке. Я сходился и расходился с женщинами, как автомат, они делали со мной, что хотели. Время от времени заглядывал Иван, иронически восхищался — и смеялся. Потом его арестовали. *Дернули* и меня, но тут же вступилась чья-то жена, даже, кажется, несколько жен, всё чекистских генералов, и меня выплюнули не пожевав. Я схватил Санчо и переехал в дом на самой окраине Москвы.

Он сходил на кухню и вернулся с длинной папироской. Сделав несколько затяжек, он снова заговорил самым обыденным, немного скучным тоном не заинтересованного в деле свидетеля, видимо, заметив, что говорит все более взволнованно.

— Там прежде жила старуха, по-моему, из ведьм. Она подошла ко мне на улице и предложила снимать у нее отдельную квартиру — собственно, комнату, выделенную из коммунальной. По тем временам это было невероятно. Она переехала жить к своей дальней родственнице, куда-то загород, а ко мне являлась раз в месяц, за платой, и час-другой играла с мальчиком. Она перестала приходить лет пятнадцать тому назад, по-видимому, умерла. Однажды я получил конверт с ордером, выписанным уже на мое имя.

Переезжая, я обдумал в деталях, как перемену образ жизни, чтобы меня не могли найти. Этому предшествовали дни, когда я мог покончить с собой... если бы мог... Я решил законспирироваться, как можно реже выходить из дому, а выходя, гримироваться под старика. Но до этого не дошло, потому что я начал быстро стареть. Да, был в моем регулярном омоложении такой из ряда вон обвал. За год я старел лет на пять, сразу, сразу, сразу, сгорбился, одряхлел, моя старуха только посмеивалась, глядя на меня. Так продолжалось почти десять лет, из которых последние шесть-семь я ждал смерти каждый день... Как видите, не умер и все свое вернул...

Зарабатывал я сперва репетиторством, давал уроки французского в трех домах, предвзвешенно убедившись, что меня там не знают. Потом родитель одного из недорослей устроил меня в институт военных переводчиков, был такой во время войны, я преподавал испанский, Санчо рос и вырос — правда, порядочным оболтусом. Могло, впрочем, быть хуже, я ведь совсем им не занимался, почти не видел, редко когда толком разговаривал.

Как я сказал, такая жизнь продолжалась лет десять, до конца сороковых. Сослуживцы и соседи, видя, как стремительно я состарился, сочувствовали мне, настаивали, чтобы я лег на обследование, подозревали у меня этот самый *ваши рак*. Я вышел на пенсию, летом грелся на солнышке, зимой ходил по дому в валенках, стал все забывать, всю прежнюю жизнь, целыми эпохами. И тут случилось то, что случилось...

В эту минуту раздался скрежет ключа в двери, шаги в прихожей, и звучный, захлебывающийся тенор яростно выругался по-испански, самой последней матерщиной, насколько я уловил латинские корни. Вслед за тем в комнату влетел полный, энергичный брюнет моего возраста. Он уже набрал воздуха для нового пассажа, но увидел меня, на миг смутился, тотчас расхохотался, комично развел руками и с деланным сокрушением извинился:

— Что делать! Улица!.. Проклятая улица испортила ребенка!.. Добрый вечер, хозяин!

— Где был?

— В кабаке, хозяин. Как вы меня отпустили, я сразу на урок (преподаю испанские вокабулы немолодой уже вдове, — объяснил он мне), а попал, правда, с нею же, в кабак, где пахло лавром и лимоном. А вы как время провели, хозяин? — спросил он, глядя в упор на меня, хотя обращался как будто к нему.

— Мы были на Собачьей площадке... — вдруг засуетившись, ответил я, положительно, весь этот вечер я лез не в свое дело.

— Собачья жизнь у этой Собачьей площадки, правда, хозяин? — сказал весело Санчо, подмигнув мне.

С полминуты никто из нас не пошевелился, не произнес ни звука. Наконец я вскочил и стал прощаться. Оба вышли в прихожую проводить меня.

— Вы... завтра придете? — сказал я умоляюще.

— Бедный мой хозяин! Как собачка, бежит на площадку... Молчу, молчу! — крикнул Санчо, скрываясь в комнате.

— Возможно, — произнес тот четко.

Я опомнился только на улице, чуть не у самой Трубной.

Назавтра я едва дождался вечера. Днем был мой доклад. Перед началом конференции я много ставил на него, у меня, в самом деле, накопился кое-какой материал. Я и готовился к нему специально, дома читал перед зеркалом с часами в руках. Однако, когда встал за трибуну, неожиданно заговорил, что некоторые данные, вероятно, уже устарели (зачем, спрашивается, тогда вылез?), всю середину — об изменениях в психике, сопровождающих последнюю стадию болезни, — скомкал и под конец объявил, еще за секунду до того ни о чем таком не думая, что «только что, буквально вчера, открылись новые факты о перерождении тканей, которые, без сомнения, дадут совершенно оригинальное направление нашей науке». Посыпались вопросы, я стал отвечать, что «еще не уполномочен». В общем, доклад провалился, хотя, положим, кто хотел, тот услышал, особенно первую часть.

Около шести я уже был на вчерашнем месте. Он появился через несколько минут и молча протянул мне руку. Мы стали там же, в углубление у забора. Людей не было видно: рабочие только что ушли, любители поживиться дожидались сумерек. Красное закатное солнце било в слепые окна семиэтажного дома, смотреть на него было нестерпимо, казалось, он весь пылал.

— Я тогда очень многое забыл, — начал он без предупреждения, — я даже думал, что все. Это был обычный старческий маразм, я ведь был глубокий старик, я сам не знал, сколько мне лет: восемьдесят, сто, пятьсот? Но оказалось, что не все.

Как-то раз под вечер, когда я тащился по улице не то в лавку, не то ради мотиона, меня окликнули по имени. По моему испанскому имени: Хуан! Я обернулся и сразу узнал... В одну секунду я как бы очень многое узнал: во-первых, Ивана, который хотя и изменился, но скорее возмужал, чем постарел; во-вторых, что вот я, старик, тащусь куда-то по улице; в-третьих, что не может же быть, чтобы неизвестно было, сколько точно мне лет; и так далее, и так далее.

— Я вас вычислил, — сказал он, подходя ко мне со смехом. — Вы думаете, если институт для шпионов, так уже и тайна. Кто же, кроме вас, уча русских военных испанской грамматике, битый час будет доказывать, что все итальянские драматурги семнадцатого века — проходимцы?

Я вспомнил, вернее, не то чтобы вспомнил, а опять-таки — узнал, про что он говорит, у меня были свои счета с Джилиберти и Чиконьини. Да... Так вот — Иван...

Он был птица редкая. Он происходил из художнической семьи, знаменитой в десятые годы. Он и сам очень рано стал знаменитым, он понимал про кино практически все, и мне говорили, что ни один нынешний кинокений не выходит из круга его идей. Об этих идеях я знаю очень поверхностно, с его слов, но главная, кажется, состоит в том, что фильму надо снимать как бы через папиросную бумагу: на ней должно быть изображено что-то очень знакомое, явственное, внушительное — лозунг, лубок, — а за ней должна проглядывать другая картина, сколь угодно сложная, иногда неразличимая, глубины которой замутнены или заслонены изображением на папиросной бумаге, но с тем большим волнением угадываются. Это я в самых общих чертах, там было еще что-то грандиозное и пронзительное про взаимодействие этих двух изображений и возможные их сочетания, и еще об эффекте бесконечности второго из них. Потом он утверждал, что в кино можно снять все, и хотел сделать фильм из «Коммунистического манифеста». В общем, он был великая фигура в этом деле.

Но меня привлекало к нему другое, не менее оригинальное и куда более значительное. Будучи самым русским из всех, которых я знал, он не был похож на других русских: он *не* рассуждал. Он принимал происходящее как единственно возможное и никогда не мог взять в толк речей о том, что лучше было бы не так, а так, но хуже, если бы не так, а этак. Он смеялся, когда одни доказывали, что лучше было при царе, а другие — что после революции: при царе было по-одному, а после революции по-другому, и сравнить это нельзя, потому что нельзя быть одновременно при царе и после революции и тогда определять, что лучше, что хуже. Он не верил, что есть история, потому что видел происходящее как смену, а точнее, как отмену одного кадра другим. В такой позиции отношение к жизни определяется характером, а характер у него был превосходный:

ровный, веселый, открытый. Он, когда мог, смеялся, он был согласен в жизни на все... Даже на страдание...

В нем было тщеславие, но тоже очень симпатичное: вот, я знаменит, я пользуюсь авторитетом, обладаю весом, имею связи. Но при этом ничего похожего на «я спасу человечество, я совесть нации, я помогаю людям». Вон видите, — он опять, как вчера, вытянул руку в сторону семизэтажного дома, и я опять залюбовался законченностью жеста, — на крыше четыре гипсовых статуи: рабочий, колхозница, врач и командир. Так командира — лепили с Ивана. И он очень был этим горд и простаивал в галифе и гимнастерке длиннейшие сеансы, и, когда ему в этом самом доме дали квартиру, он тотчас поменял ее на второй этаж того домишки рядом, чтобы, как он не стесняясь, хотя и со смехом признавался, видеть из окна собственное величие. Кто ему не нравился, с тем он не якшался; что считал глупым, на то раз навсегда переставал обращать внимание; к чему относился с отвращением — относился с отвращением, за что, кстати, его и взяли одним из первых. Однако ни о ком и ни о чем он не имел предвзятого мнения, даже в терроре различал лица, даже после лагеря не говорил «они». Словом, он был на чисто лишен общей идеи — невероятно для русского человека, не правда ли?

— Счастливый человек? — сказала я.

— Да. Был. Был счастливый до поры до времени. Он мрачнел только при мысли о смерти. «Не вмещается, — жаловался, — понимаю не хуже Гете, что некуда мне пропасть, что захвати она меня в минуту какой-нибудь сильной мысли, не перестанет же мысль существовать. Но вот это: раз! — и нет, перемена дичайше дикая, грубейше грубая, ни с чем в жизни не сообразная — не вмещается...»

Тогда он вернулся из послелагерной ссылки. Ваш генералиссимус захотел, чтобы он снял фильм о нем, и его срочно доставили в Москву. Он опять вселился в этот домик и через неделю женился. Она была чуть не вдвое его моложе, ей было двадцать. Он влюбился в нее без памяти, она же боготворила его. Ни о каком кино он не думал, никаким фильмом не занимался, начальникам рассеянно отвечал: «Ладно, ладно», — и не отрывал глаз от своей... — Он вздрогнул и переменялся в лице. — Не поверите, я забыл ее имя... Не помню... Этого не может быть. Что ж это такое!.. Ужасно. — Он помолчал еще минуту, вспомянув, потом, махнув рукой, отказался. — Ну пусть, от своей жены. А она от него. И тут он решил, что для полного восторга им не хватает меня.

Он привез меня в тот же вечер. Я увидел ее и, пока шаркал через комнату к ней навстречу, потерял сознание. Не фигурально, а буквально, и еще буквально, не буквально. Я сейчас расскажу вам. У нее были широко расставленные светлые глаза, гладкие рыжие волосы, высокая шея, прекрасная фигура. Но это все чепуха. То есть она мне чрезвычайно понравилась, но это-то было — чепуха, абсолютно несущественно. Пока я приближался, я увидел, как она посмотрела на него и как он на нее. Я понял, как они любят друг друга, наслаждаются друг другом и счастливы от этого, и в тот же миг я подумал, что мне еще не представлялся такой случай, я бывал близок, но *такого* еще не было. О, я не впустил провел эти десять лет в России! Я узнал то, что знали здесь о зле, и был как никогда хорошо к нему подготовлен. Запад может родить маркиза де Сада, но Ставрогину, Федору Палычу, отцу Сергию нужна была Россия. Истреблению всех всеми — Россия. Запад может обожествить насилие, утоньшить разврат, но: развратить сам разврат и все-таки не заскучать, а начать наслаждаться злом, которое невозможно без невыносимого унижения и невыносимого стыда, — нужна была Россия. Передо мной открылась бездна: сделать это сейчас, через месяц после свадьбы, на подъеме *такой* любви. С женой человека, который единственный *так* мне нравился и который чистосердечно любил меня, и сделать, не таясь от него. И, наконец, сделать это в таком виде, в каком я сейчас был, то есть дряхлым, почти выжившим из ума стариком. Я недаром попал в Россию, подумал я — и упал без памяти. Понимаете, все это пришло ко мне не постепенно, одно за другим, а хлынуло разом, в один миг, и как бы помимо сознания, у меня даже мелькнуло наряду с остальным такое: я потерял сознание!

— И вы... и вам удалось? — шепнул я еле слышно, сглатывая стоявший в горле ком.

— Надо было знать эту женщину... После обморока они оставили меня у себя: уложили на своей двуспальной кровати, а сами перебрались жить в гостиную, где стоял только узкий диван. Я не возражал. Они хотели перевезти и Санчо, но я убедил их, что он уже вполне самостоятельный мальчик и поживет один. Они

по вечерам навещали его, отвозили продукты, а по воскресеньям привозили ко мне. Собственно говоря, воскресений было всего два.

Я с самого начала чувствовал себя совершенно здоровым, но за мной ухаживали, и я не вставал. На второй день она неожиданно обратилась ко мне, чтобы я подействовал на Ивана: он *должен* начать фильм, а бездельничает. Я, как бы нехотя, сказал, что да, пора, не то может быть беда.

— Да не в беде дело,— вскинулась она.— Он должен снимать, потому что он — это он.

Иван засмеялся.

— Потому что,— продолжала она, бросив на него ненавидящий (я был потрясен, это была *настоящая* ненависть, отнюдь не деланная!) взгляд,— Коперник не имеет права утаить свою гелиоцентричность или как там это называется, а Моцарт не может не... насвистывать.— Она покраснела от невольного вылетевшего слова и разозлилась еще больше.— Небось он,— ткнула она в мою сторону пальцем,— сделал все, что был должен, и лежит теперь патриархом в постельке!

Иван подошел к ней, чтобы приласкать, но она отскочила к двери и оттуда с яростью прокричала — уже непосредственно мне:

— Если вы думаете, что мне *лично* что-нибудь нужно от его ничтожного кино, какой-нибудь славы, или больших денег, или даже защиты от неприятностей, то вы такое же самодовольное мужское животное, как мой муж. Мне нужно — *гелиоцентричность!* — И она выбежала, хлопнув дверью.

Он стал ездить на кинофабрику, часа на два в день, не дольше. Она старалась за это время все успеть сделать, бегала по магазинам, стирала. Но минут десять — пятнадцать все-таки выходило мне с ней поговорить, и этого было довольно.

Сначала я только наводил ее на тему. О нем. О том, что ему не удалось — и не удастся — осуществить и сотой доли его киноидей, но и то, что удалось, великолепно и неотменимо. О том, что ему надо привести в порядок все свои записи, заметки, статьи, что уже лет через десять это станет библией кино и по обрывкам его черновиков будут писать книги. Об ощущении его бесспорной величины, но невозможности сейчас оценить ее истинные размеры. Мы перебивали друг друга, делясь тем, что знали и о чем догадывались, о папиросной бумаге, о преимуществах и недостатках киноцитат перед литературными. Она действительно была захвачена грандиозностью его открытий и замыслов, я же больше говорил о его гениальности, о грандиозности *фигуры*.

Потом я перешел на исключительность его позиции в мире, светлую философию, неколебимую основательность его радости, захваченность любовью к жизни. Словом, на то, о чем я вам только что говорил. Она слушала меня, выпустив из рук шитье, вся напрягшись, с горящими глазами. Когда я замолкал, она тихо, но гневно говорила: «Дальше! дальше!» Я заговорил, как высоко ценю я это в нем, как редко рождаются такие люди, как дорожу я тем, что он дружит со мной. Я говорил это совершенно искренне, я был влюблен в него в ту минуту. Она вдруг наклонилась и поцеловала меня.

На другой день, едва он ушел, она пришла ко мне и села возле постели. «Говорите!» — приказала она. Я стал говорить о «не вмещается». Я сказал, что при такой, как у него, цельности отношения к жизни смерть и не может вместиться. Но, начал я медленно-медленно поворачивать, именно потому, что смерть — это смерть жизни, неотвратимое поражение жизни, заведомая и притом издевающая над жизнью победительница, именно поэтому и можно использовать жизнь для... «Для чего? — спросила она, побледнев.— Для того чтобы свести на нет издевательство смерти?» Я засмеялся, как просто хорошему тот. Для того чтобы, скажем, обескуражить смерть: она мне тьму, а я уже и не в такую погружался, она мне бездну, а я уже не в такую падал. «Когда?» Когда погружался. Когда падал. Когда — жил.

Назавтра она едва дождалась его ухода. Я понял, что дело сделано, но не топился. Я понял, что она та самая *une chercheuse d'infini*, искательница бесконечного, и решил добиться полного успеха — не прибегая ни к какому обману. Я сказал, что оружие против смерти добывают из арсенала самой смерти, что победить смерть все равно нельзя, можно только испортить ей радость от глумления, прежде поглумившись над нею. Она спросила: «Как?» Я начал, помалу, едва заметно натягивая пружину и ни на миг ее не ослабляя, рассказывать свой обморок.

Это продолжалось три дня. Она была совсем не в себе, и Иван, конечно, видел это. Она часами неотрывно смотрела на него из кресла и не отвечала ни на один его вопрос. Он иногда смеялся: «Эй, баба, оглохла ты, что ль?.. Ничего не ответила мужу, на конюшне служить его послала». Это, в самом деле, было смешно, я тоже смеялся. Он разговаривал со мной, и я отвечал ему весело и громко, стараясь, чтобы она это слышала. Я сам заводил с ним беседу, напоминая о прошлом, об Испании, снова проникаясь благодарностью к нему за то и то, что он сделал для меня. Я испытывал, глядя на его умное и вдохновенное лицо, острую нежность и острое сострадание. Конечно же, теперь он больше — *не показывал вида*, чем — *принимал, как оно есть*, я это чувствовал. И странно: мне было жалко его так, что сердце разрывалось, — как будто это не я заставлял его мучиться. Вообще в те дни размылись все границы: лжи и правды, любви и ненависти, сна и яви. Я чувствовал, что окреп, что ко мне возвращаются силы, но лежал, почти не подымаясь с постели. Я ловил себя на том, что только случайно не продолжаю *нашу* тему при Иване. Мне снилось, что Иван все знает и, конечно же, за, раз это жизнь, но вынужден играть свою роль против, потому что из арсенала смерти и не вмещается.

Наконец я почувствовал, что час настал. Был вечер. Я лежал, держа перед собою открытого на начале пятого акта «Фауста», но не читал. Иван сидел за столом и что-то писал. Она даже не делала вида, что чем-то занята, сидела неподвижно в углу дивана, уставившись в одну точку, и вдруг улыбалась, угрюмо, криво. И вот я сказал, что беспокоюсь о Санчо, как он там один. Иван тотчас встал, оделся и вышел.

Он вернулся через час. С порога поглядел на нас, улыбнулся мне, ей, прошел к столу, вынул из ящика револьвер и выстрелил себе в сердце. Я вскочил с кровати, подбежал к револьверу и тоже выстрелил — себе в голову, но раздался лишь щелчок, я заглянул внутрь: барабан был пуст.

Он замолчал. У меня бешено колотилось сердце.

— А она?.. Покончила с собой? — спросил я.

Упавшим голосом, но отчеканивая каждое слово он проговорил:

— Она уже была беременна тогда. Так что не должно бы.

Солнце садилось все ниже. Теперь оно освещало только самый верх дома со статуями, плавилась, став багровыми, окна последнего этажа, остальные тускло поблескивали чернотой. Между домами уже появились люди, но я не мог понять, что они делают, мой взгляд не мог ни на чем остановиться, впридачу его словно замутило мглой, так что я видел только безликие фигуры, прячущиеся в бесформенных развалинах. Звук пилы проник в мой слух, и я подумал удовлетворенно: скрипичный мастер.

— И долго нам здесь стоять? — вдруг спросил я грубо.

— Вам холодно? Вы дрожите, — ответил он.

— При чем тут холод? Чего мы ждем?.. — проговорил я с раздражением и тотчас прибавил: — Да, мне холодно, — жалобно, еле сдерживая слезы.

В это мгновение крайнее окно седьмого этажа распахнулось. Мы одновременно толкнули друг друга, показывая: вон! — не произнося ни звука. Окно после алого зазияло чернотой, и сразу в нем показался человек.

— Это она! — закричал он страшным голосом и опрометью бросился за забор.

Я — за ним, но из-за угла вдруг выскочил Санчо, сшиб меня с ног и упал сверху.

— Это она! Это она! — тоже повторял он возбужденно, взясь на мне перед тем, как слезть.

Наконец мы оба поднялись и побежали.

— Это — она, это — она, это — она, — держась за мной, приговаривал он, уже только ритмически и даже развлекаясь. — Гэта вона! Во́на вона!

Возле того самого двухэтажного домика забор сворачивал под прямым углом, и, завернув, мы увидели его, сжавшего кулаки, с лицом, перекошенным от гнева.

— Ты почему убежал? — крикнул он Санчо и, схватив за волосы, согнул его пополам. — Живо! Ближе к забору! Ах, дрянь какая!

Он взобрался ему на спину, оседлал забор и спрыгнул на ту сторону. Я тоже полез на Санчо, но он тотчас выпрямился, и я соскользнул.

— Надо посмотреть, как там хозяин, — объяснил он и подтолкнул меня на свое место. — Живо! Ближе к забору! Ну!



Он уже сидел на моих плечах, коленями крепко сжимая мне голову и по-гусарски поглядывая на забор. Он сделал это, как будто так надо было, условлено, и это произошло так неожиданно, что я стоял, не понимая, что к чему, и только старался раздвинуть его колени.

— Ах, дрянь! — раздалось оттуда. — Да прыгай же сюда!

— А ваш друг, хозяин? — энергично перебираясь с моих плечей на забор, проговорил Санчо. — Не оставлять же друга под забором!

Он подал мне руку, я вскарабкался, и мы спрыгнули вниз. Обежав домик, мы задрали головы и увидели, что она стоит на подоконнике открытого окна.

— Не смей! Не смей! — заорал он. — Ах, дрянь какая! Не смей!

Он обернулся к Санчо, крикнул:

— Не давай ей! Грози! Умоляй! — И исчез в подъезде.

Я побегал за ним. На четвертом этаже, через разбитое лестничное окно, я слышал снизу голос Санчо: «Не прыгайте, барышня, опасно для жизни! Пока он не придет, даже и не думайте. Он сам вам скажет, когда можно».

С лестницы мы завернули в коридор с окном в дальнем конце. Он бежал стремительно, все время на несколько шагов впереди меня. «Не должно бы! Не должно бы!» — то и дело приговаривал он, его крылатка парусила от быстрого бега. Рывком распахнул он крайнюю дверь и остановился. Я остался в коридоре за его спиной.

Она уже стояла на полу, опершись рукой о подоконник, в белом платье, причудливо усеянным красными горошинками, словно капельками крови. Она не выказала при виде нас ни тени удивления на лице, которое из-за широко расставленных глаз и матовых крупных скул показалось мне восточным; поглядев в нашу сторону рассеянно, встряхнула прекрасными темно-рыжими, словно бы мокрыми, волосами. У ног ее лежала черная кружевная шаль, которую она машинально шевелила носком узкой черной туфли. Он сделал несколько шагов по направлению к ней и опустился на колени посередине комнаты.

— Простите меня! — сказал он со страданием в голосе. — Я знаю, вы этого не можете, вы никогда не простите меня, но я обязан попросить. Я жил с тем, что вы меня не простите, и буду жить с тем, что вы не простили, но уже без того, что я так и не попросил у вас прощения. Не прощайте — меня. Простите — мне: хоть что-нибудь, пустяк, фальшивое слово, театральный жест.

Он поклонился ей до земли и встал с колен.

— Это вы? — спросила она светски-равнодушно, словно из приличия, но вдруг очнулась и, как будто только сейчас поняв, рассмеялась, весело, чуть не взახлеб. — Это вы!.. Вы — просите простить? Ой, как смешно! Супруг смерти — у земной жены! Не стыдись! Я все думала: зачем я еще живу? Оказывается, чтоб посмеяться. — Она снова расхохоталась.

— Я знал, что вы придете сюда. Я жду вас здесь с начала разрушения, — сказал он.

— И я знала, что вы придете! — проговорила она задрожавшим вдруг голосом, но тут же, снова тряхнув головой, нашла прежний тон: — Уж не вы ли и устроили это разрушение? Ведь это в вашем духе — хотя и не так грандиозно, как то. А, *бесстрашный*?

— Могу ли я что-нибудь сделать для вас?.. Могу ли я быть вам полезным? — быстро поправился он, увидев, что она опять готова засмеяться.

— Полезным? — повторила она раздумчиво. — Что ж, подайте мне шаль.

Он подошел, поднял шаль и накинул ей на плечи.

— Пойдемте отсюда, — сказала она, беря его под руку.

Они прошли мимо меня, как мимо пустого места, и не спеша двинулись по коридору к лестнице. Я, почему-то на цыпочках, пошел за ними. На площадке четвертого этажа мы услышали со двора все тот же грозяще-молящий монолог Санчо: «Так будете вы прыгать или нет? Барышня, а, барышня? Вам следовало бы знать, что мой хозяин не любит попрыгущек. Если вы это из-за того, то не бойтесь: он женится на вас сколько угодно...»

— Санчо! — засмеялась она и вдруг резко остановилась, так что я чуть не наскочил на них. — Это вы велели нашему... молоть такое? — проговорила она, глядя прямо ему в глаза.

— Нет! — ответил он, так же глядя на нее.

— Так вы... не женились бы сейчас на мне? Ну хотя бы, чтобы быть полезным?

— Нет!

— И чтобы я... не прыгнула — тоже?

— Тоже.

— Ах, Санчо, негодяй, обманщик! — засмеялась она, и они снова стали спускаться.

Санчо открыл перед ними дверь, но изобразил, что даже не замечает этого, и продолжал кричать наверх:

— Эй, решайтесь! Раз, два, три! Хозяин не любит нерешительных... Ах, вы уже здесь? — обратился он к ним, как будто только что увидев. — Милости просим, ваша милость.

— Перестань, — сказал он устало.

— Ты узнаешь меня, Санчо? — спросила она.

— А как же, — ослабился Санчо. — Вы там в окно вылезти хотели.

— Перестань, — снова повторил он.

— Тут есть прямой выход, — сказала она уже по-другому, как если бы опять что-то отвлекало ее, как в начале. — Не откуда вы бежали.

Мы пошли вдоль фасада и вышли в переулок.

— Дальше незачем, — произнес он, отошел на шаг и поклонился ей.

— Женитесь на мне, — сказала она опять рассеянно, без напора, как о чем-то незначительном.

— Нет. Это же вздор. Теперь это только бессмысленный вздор.

— А ты, Санчо?

— Может быть — доктор? — Санчо показал на меня.

— Доктор? — поглядела она на меня. — Зачем мне доктор?

— Санчо женится на вас! — сказал он с неожиданным вдохновением и твердостью.

— Но, хозяин! При чем здесь я? — открыл рот Санчо, он был по-настоящему обескуражен. — Почему именно я?

— Потому что я не могу.

— Почему вы не можете? Небось можете не хуже меня. Такая женщина!..

— Молчи! Молчи!.. Потому что я даже не помню ее по имени! — закричал он в отчаянии.

— Не по имени, так по вымени, — проговорил моментально Санчо, сам, кажется, того не желая.

— Ну ты заслужил, мерзавец! — выдохнул он иступленно и изо всех сил размахнулся. Санчо присел, и оглушительная оплеуха досталась мне. Она так и закатилась в хохоте.

— Теперь я уже должен жениться, как вы есть честный человек, — тут же проговорил Санчо торжественно.

Тот повернулся и быстрыми шагами пошел прочь.

Мгновение я был в нерешительности, дернулся туда, сюда, потом пробормотал им: «Извините!» — и пустился за ним.

Догнав, я пошел на полшага сзади него. Щека вспухла и сильно чесалась, уши еще горели от Санчевых шенкелей.

Он не остановился в прихожей, стремительно прошел в кухню и налил себе водки. «Водки! водки! водки!» — выдохнул он, выпив, и налил и выпил еще стопку. Потом сел, как был в плаще, на табуретку и заговорил:

— Жениться!.. Я же сказал вам: она — une chercheuse d'infini. Она-то не хуже меня знает, что жениться после того, что было, еще ужасней того, что было. Зарезать, истыкать труп ножом, отпилить голову — и потом жениться на этом... теле! Вот чего она хочет. После этого — всё! А так есть еще надежда. Ниточка тонюсенькая, но ведь не порванная еще окончательно. И у нее тоже. Сейчас нет — может появиться.

— Может быть, это и есть ее надежда — чтобы вы на ней женились? — пробормотал я себе под нос, чтобы он мог не отвечать, если не захочет.

— Вы ничего не знаете. Вы не можете представить, а я не могу вам как следует передать, что тогда было... Я — крестился тогда!..

Он налил еще стопку, выпил и тотчас успокоился.

— После того как я не убил себя, — заговорил он размеренно и бесстрастно, словно стал читать доклад, — или, как я считаю, не мог убить себя — не не умел, а мне не дали, понимаете? — я не торопясь оделся и, не попрощавшись с ней, не сказав ей ни слова, оставив ее наедине... с ним, ушел. Ничего я сверхъестественного не переживал, зарубите себе это на носу, никакого такого отчаяния не испытывал, ни ай что я сделал, ни дьявольского ха-ха-ха — ни-че-го! Сел в трамвай, поехал домой, как там, подумал, Санчо — даже не вспомнил... о них.

Правда, тогда уже поймал себя на том, что в мозгу механически повторяется: «Как там Санчо? Как там Санчо?» — а поймав, понял, что это как раз ничего, от усталости, как-никак потрясение перенес, а настоящее умопомешательство именно в том, что для меня все одинаково: что я там сделал, что я в трамвае еду — одинаково нормально, понимаете?

Сойдя с трамвая, я увидел, что наш дом горит. Горит, видимо, уже давно, уже догорает, пожарные хоть и суеются, бревна раскатывают, но больше для вида. Соседи стоят с узлами, кровати, буфеты, Санчо вот с этим ковром. А где второй, спрашиваю, настенный, со шпагой? — и пошел не спеша, кого задевал — «простите» говорил, мимо пожарных, в дверь, прямо в огонь...

Я пришел в себя в больнице, забинтованный с головы до ног. Знаете, наверное, боль от ожога. Недаром, — он усмехнулся, — в аду все больше пламень... И представьте: я лежал и повторял про себя одно только: «Еще! Еще!» — то есть пусть станет так, чтобы этого было не выдержать и наступило что-то новое, худшее, но другое. Подумайте, я продолжал надеяться на смерть. Но мне даже терять сознание не удавалось. От моих «еще» боль в самом деле усиливалась, доходила до порога, за которым — уже и предчувствовать этого не надо, а сам организм взрывается, просигналив: конец! — но конца так и не было, боль только еще усиливалась, еще. Некоторое время я убеждал себя — насколько что-то новое тогда мог соображать, — что это и есть то, чего я добивался: ведь если на этом свете есть такая мука, то на том тем более, а я именно *тому* бросил перчатку. Но через несколько дней я совершенно пал духом и только стонал и умолял сестер дать мне морфий. Тут судьба еще один вольт выкинула в своем вкусе, и смех, и горе.

Мне действительно что-то обезболивающее кололи, но только раз в день, перед приходом следователя. Когда я очнулся, ко мне стал ходить следователь из *большого дома*, и комизм заключался в том, что это была женщина. Молодая, хорошенькая — надо думать, ее высмотрел на юридическом какой-нибудь их начальник. И она влюбилась в меня. В мумию, в гипсовую болванку. Она плакала, видя, как мне больно. Когда меня после укола отпустило, она наклонялась ко мне и шептала: «Все пройдет, все скоро заживет, я возьму вас к себе и выхожу, вы увидите». Едва только с моих губ сняли повязки, я — на очередное ее признание и ласку — засмеялся. Она отпрянула, лицо ее отвратительно исказилось, и она прошипела: «Ты у меня *под расстрел* пойдешь!» Я еще гнуснее растянул рот. С тех пор каждый день: то — я за тобой горшки выносишь буди, то — в Караганде сгниешь. Потом вдруг исчезла. Дня через два врач подвел к койке типа в военном и типа в штатском под халатами, военный спросил что-то, чего я не стал слушать, штатский сказал: «Произнесите только да или нет», — я мигнул: да, — и они ушли. «Дело закрыли, — прошептал врач, — я им сказал, что вы безнадежны. А та — тью-тю...»

Наконец боль стала уменьшаться, понемногу, но явственно. Они и в самом деле считали меня безнадежным и только удивлялись, что то там, то здесь подсыхает и шелушится. У меня стало все чесаться, появился, что называется, нестерпимый зуд, но я еще помнил о нестерпимой боли и только отдыхал. Как-то утром я, помню, сказал себе: «Пора бабочке из кокона», — именно этими словами. Кожа сходилась с меня кусками размером с носовой платок, я линял — точно как змея.

Выйдя из больницы, я въехал сюда: это называлось «временный жилой фонд», для погорельцев, но, как видите, не такой уж временный... Вы про бабочку, наверное, подумали, что я, так сказать, от всего оправился и воспрял духом, если могу этак выражаться. В том-то и дело, что я никак не выражался, просто пришли в голову такие три слова, а до них — пустота и после них — пустота, бесвязная, даже отдельных, поодиночке, слов не приходило, в лучшем случае: дыр, бул, шур, — а между ними часы пустого ровного гула. И дома — оцепенело я лежал на тахте, слушал с утра до вечера этот гул и иногда какой-нибудь: чмок, или: чмяк — и опять тихо и ровно у-у-у...

Потом еще слово пришло — тоже в виде мысли, хотя и одно слово: зеркало. Я встал и посмотрелся в зеркало — увидел себя и опять лег. Опять встал и прошелся перед зеркалом — то есть в зеркале увидел, что прошелся. И что-то стало из этого наклеиваться, что вот, мол, прошелся эрго сум. И еще, что сум чуть ли не только для того, чтобы прохаживаться. Так и вертелось волчком: прошелся — пройдуся — прошелся — пройдуся...

И вскоре стало приходиться на память случившееся.

Сперва обрывочно, мгновенными эпизодами, отдельными фразами; потом последовательность, что шло за чем, стыки, границы: одновременно — атмо-

сфера совершавшегося, освещенность воздуха, комнатные запахи, уличные звуки; наконец, все стало соединяться, соединяться, увеличиваться, расти — пока не грянуло целым, как в начале Девятой Бетховена, и тут я понял, что вот оно, целое, что целое — вот такое и что с этим мне жить.

«Вот оно, и с ним мне жить!» — повторял я и каждый раз видел все совершившееся как бы единым кадром: старик входит в комнату, женщина, шарк-шарк, обморок и так далее, и так далее и... труп на полу. «Вот оно, и мне с ним жить!» — вспышка, кадр, темнота — и сейчас же снова: «Вот оно...» Я в глубине души надеялся: миллион раз повторишь — потускнеет, притупится. И полегчает хоть ненамного. Но шли дни, и не тускнело, и не легчало. Не помню, когда я спал, и не знал, спал ли вообще, не сплю ли круглыми сутками, потому что и во сне были — вспышка-кадр-темнота, с ритмичностью тиканья часов.

Потом формула стала расщепляться. Начиналось как всегда: «Вот оно!..» — а затем прежний голос продолжал: «...и с ним мне жить!» — и одновременно с этим он же: «...и у меня больше нет сил!» Простейший абсурдный силлогизм: надо жить, и нет сил, чтобы жить, — задача, принципиально не решаемая!

Он наклонился ко мне через стол и, понизив голос почти до шепота, выдохнул с силой:

— Потому что — условие составлено неверно... — Потому что, — заговорил он снова после короткой паузы, — это всегда и у всех: жить — надо, и жить — невозможно. Ну это общее место — почему невозможно: жить, зная, что умрешь, и все прочее. А так, без выяснения причин, все это просто ощущают: трудно, невыносимо, невозможно, неприятность за неприятностью, удар за ударом, боль за болью. То вдруг период пустой — так тоска. Тоски нет — все равно день ото дня все душнее и душнее, физически. В разгар веселья — обязательно миг необъяснимого страха; после самого ничтожного взлета — обязательно глубокая грязная яма. А жить, раз уж родился, надо!.. Но это я раз рассуждался так, к слову, — чтобы вы не думали, будто я считал мой случай исключительным. Я понимал, что это частный случай общего дела, но я знал также, что в результате дошел до конца, и хотя бывало на свете и такое, но все-таки не так уж часто...

Как бы без цели поехал я на Сретенку, как бы нехотя вышел проходным двором к костелу. Роскошные машины стояли возле него и по всей улице, сверкая стеклами и железом. Я все-таки вошел внутрь, там пахло тонкими духами и лилась музыка, сладостная, прекрасная, знакомая мне с детства и сопровождавшая мою жизнь долгие годы, годы, про которые любит Санчо напевать из Моцарта: «В Италии... в Германии... во Франции... в Испании...» И я выбежал вон.

Я бросился в Телеграфный к церкви Феодора Стратилата.

Службы не было, и я попросил уборщицу вызвать священника. Он вышел из алтаря в пиджаке, замешкался на миг, потом протянул мне руку. Я сразу начал говорить, громко, всё. «Тш, тш, — остановил он меня, оглянувшись по сторонам, — подождите минутку, я оденусь, на улице поговорим».

Мы вышли в пустой переулок, и я опять заговорил, хотя уже немного сбитый перерывом.

— Так вы, должно быть, хотите отпущения грехов? — снова перебил он меня через несколько минут.

— Отпущения? — переспросил я почти на крике. — Да вы что! Отпустится такое!..

— Вы крещены? — спросил он тихо.

— Да... Не знаю... Должно быть... В младенчестве. Так сказать, до жизни. Какое это имеет значение сейчас, после всего, что прожито?

— В какую веру? — продолжал он прежним тоном, как будто не слышал моих слов.

— В католическую, надо полагать.

— С какой же целью вы пришли в храм православный?

— Черт возьми! — закричал я, уже не помня себя. — Я не знаю, почему в православный! Наверно, потому, что я живу тут, у вас, в Москве, а не в Риме, понимаете! Я вообще не знаю, зачем я к вам пришел! — Я топнул ногой и побежал по улице. Он догнал меня за углом.

— Вот что, — сказал, — я думаю, для начала вас надо окрестить в нашу веру. Но, может быть, и нет, я на себя этого не возьму. Поезжайте на Ваганьковское кладбище, найдите там Моисей-могильщика. Так и спросите — Моисей-могильщика. Меня не называйте. Ну, Господь с вами! — Он быстро перекрестил меня и повернул обратно.

Моисей-могильщик стоял в воротах, как будто ждал меня. Он был высок ростом и крепок, лет пятидесяти. Осматривая меня живыми глазами навывкате и усмехаясь в черно-седую бороду, он расспрашивал, откуда я его знаю и кто меня послал, и время от времени приговаривал, что он простой могильщик, и больше ничего. Мне это наскучило, я ничего не мог ему сказать и повернулся уходить.

— Ладно,— сказал он.— Как имя раба Божьего?

— Какого? — спросил я в растерянности.

— Кого отпевать-то? Как зовут? И цену мою знаете? Ведь смертельная опасность.

Я ничего не понимал.

— Он сказал — креститься... — промямлил я.

— Креститься? — пропел он.— Говори, кто послал! Где был хоть, в какой церкви?

Я сказал. Он поманил меня за собой, и мы пошли через кладбище. Он привел меня к низенькой сторожке. Она стояла у дальней ограды и со всех сторон окружена была дико разросшимися, прятанными ее от взгляда кустами. Собственно, это был даже не домик, а дощатая будка, в которой, наверное, прежде хранились лопаты и грабли. Мы протиснулись, чуть не ползком, в извилистый лаз между стволами, и Моисей постучал. «Грешника привел, отче»,— проговорил он и втокнул меня в дверь.

За деревянным столом на табуретке сидел беловолосый старик, держа в руках ветхую книгу. На столе стояла свеча в медном подсвечнике, но еще хватало дневного света из окошка под самым потолком. На стене висело несколько икон, перед Богородицей теплилась лампадка. Вдоль стены стояла лавка, укрытая зимним пальто, он сдвинул его и пригласил меня сесть. Некоторое время он внимательно и, я бы сказал, весело разглядывал меня. И вдруг я поймал себя на том, что «Вот оно!...» перестало звучать и кадр перестал вспыхивать.

— Так, так, так,— сказал он наконец,— вот оно как. Видите, как бывает... Ну ничего, может, еще и поправится...

Я стал рассказывать — кратко, с того момента, как друг (назвал я Ивана) взял меня (больного — сказал я для краткости) к себе и я решил соблазнить его жену, одного только ради свершения страшного зла, и чем я ее соблазнял. Потом — последовательно — все дальнейшее, тоже не останавливаясь на подробностях, вплоть до сегодняшнего дня и моего разговора со священником. Я находился в полной уверенности, что *этого* для него достаточно и даже, что он, пожалуй, *это* без меня знает.

— Вот какие люди бывают, видите,— сказал он, когда я кончил,— смелые, умные. Вот батюшка-то из Феодора Стратилата смелый какой, и умный, и ласковый. Вы исповедоваться начали громко, а он подумал: «А что как на нем убийство? А у меня ведь тут уши есть»,— и выведи вас на двор. И сюда послал, не побоялся. И Моисей тоже человек бесстрашный. Ведь он еврей. А о нем слава, будто он священник, за штатом, дескать. К нему и идут, чаще после похорон, а я тут вот заочно уж отпеваю...

— А вы?.. — (я спрашивал: «А вы кто?»).

— А я, было время, уж и не думал, что доживу до такого часа,— ответил он.— А сейчас, дерзновенен, думаю, что, может, еще и в храме когда-нибудь литургию отслужу.

Он закрыл глаза, потом открыл и посмотрел на меня опять весело.

— Так со мной-то как?.. Что же со мной-то? — спросил я.

— Я вот,— ответил он немедленно,— истинно верую, что из всех грешников первый есмь аз. Однако перед тем ведь и такие слова повторяю: «...которых пришел спасти Господь!» Вот ведь как...

— Первый-то аз,— сказал я.— Я всех первее... Но куда же деваться! Если не оттуда, откуда же чего мне ждать? Я себе уже, во всяком случае, не помощник, сами видите... Так — креститься?

— Не сейчас,— произнес он очень серьезно и тихо.— Не сразу. Приходите еще. Раз не уверены, что крещены, креститься можно. Надо. Специальным чином. Надо обязательно. Но я еще к этому не готов, понимаете? И без вас мне быть готовым и нельзя... Попробуем... Его милосердие безгранично, попытаться можно... Только потому, что *безгранично*, попробуем...

Некоторое время, и, кажется, продолжительное, в комнате стояла глубокая тишина. Было совсем тихо, однажды только шлепнулась капля воды из крана да еще где-то подал короткий певучий сигнал иностранный автомобиль. Потом в

конец коридора раздалися шаги: энергичные, уверенные — и перебивающие их быстрые, легкие. Дверь с кухни в прихожую была открыта, и мы слушали, как они приближаются.

— Это сюда! — произнес он беспокойно и, приподнимаясь с места, приказал: — Открывайте дверь!

Я подошел к двери и отпустил замок, она открылась. Девушка, улыбаясь нежно и победно, глядела на меня из коридора, за ней, ухмыляясь во весь рот, стоял Санчо. Она прошла мимо в черной, похожей на тяжелую бурку, накидке до полу, сбросив ее мне на руки, и остановилась в дверях кухни. Он стоял, сцепив ладони, и, бледный, безгласный, не отрываясь смотрел на нее.

Она появилась в дверном проеме (как описывал он мне потом эту минуту), облаченная в длинное платье алого цвета, опоясанная тугим поясом, словно сшитым из кроваво-красных листьев. Чистый, высокий лоб ее сиял белизной, и забранные на затылке в тяжелый узел золотые локоны, по вискам кудрявясь, как гиацинты, окружали все лицо живым светом.

— Donna m'arrage! — прошептал он.

— Это Анна, хозяин, — выскочил Санчо. — Дочка той. Велели передать.

На следующий день, в пятницу, закрылась конференция и началась трехдневная фиеста. После обеда всех участников усадили в шикарные автобусы и повезли в Загорск, назавтра рано утром — во Владимир — Суздаль, в воскресенье — в Ростов Великий. Каждый день мы возвращались в гостиницу к полуночи и без сил валились в кровати. Впечатления, разумеется, перемешались, и снилась каша из белых, как будто накануне наштукатуренных, церковок без креста и зеленых груд леса, мелькающего вдоль дороги. Впрочем, в Загорске был запомнившийся отдельно эпизод, и забавный, и странный.

Одна дама из нашей группы, кажется, из Свердловска, настойчиво тянула нас посмотреть гробницу Бориса Годунова, и мы даже были согласны, но почему-то никак не могли к ней попасть. Всё нас посылали не туда, указывали неправильно, кто-то сказал, что она, должно быть, на ремонте. Но даме приспичило, и она подбежала к шедшей через двор горбунье в черном платке до самых глаз. Та выслушала вопрос, уставилась мне в лицо и запищала: «Царя Бориса могилки больше нет, разрыли-разорили, а гроб увезли куда неизвестно», — все это как бы мне одному, не спуская с меня глаз; наши были в восторге: «Юродивая... юродивая...» «А собрали с четырех сторон, — продолжала она пискляво, — самозванца анафему Гришку Отрепьева, из пушки выстреленного, к нему басурманку Маринку, в замке сгноенную, а на них другого Гришку навалили — проститутку Гришку Распутина... А тебе, — тут она прямо ткнула в меня пальцем, — надо с утра до ночи за охотников у Царицы Небесной отмаливать, ведь ты неповинной звериной кровищи больше их пролил. Зачем, — подбежала она ко мне и несколько раз ударила кулачком по плечу, завизжав, — плоть бездушную кромсаешь, душу бесплотную губишь?» — и пошла прочь. Всю обратную дорогу надо мной подшучивали. Мне же померещилась какая-то связь между нею и двумя предыдущими вечерами; не из-за Годунова, перебирал я, не из-за Самозванца, а вот из-за «басурманки», из-за Марины Мнишек как будто, — но какое-то звено все время ускользало, то есть мне казалось, что есть звено, хотя я-то его, несомненно, не знаю. В конце концов я плюнул на все эти тайны мадридского двора, тем более что про охотников она несла заведомую ахиною.

В воскресенье у меня оставалось только два часа до поезда, и я решил захватить на такси проститься. В ту минуту, однако, когда я уже закрывал чемодан, в номер без стука вошел Санчо и с ходу плюхнулся в кресло.

— А-а, доктор! — сказал он, как если бы это я пришел к нему. — Ну что, сами калечим — сами лечим? Как говорил Гиппократ, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. А вот скажите, доктор, почему у меня пульс такой громкий? — Он схватил мою руку и приложил ее к своей левой ягодице. — Слышите?.. Впрочем, что это вы меня задерживаете! Я же по делу, у меня письмо к вам. — Он стал хлопотать себя по груди и по ляжкам. — От хозяина... Где же оно?.. Важное письмо, страшное письмо, тайну сердца откроет вам оно... Ах, вот!.. — (конверт был, конечно, где ему полагалось быть, во внутреннем кармане пиджака). — Читайте! Хозяин сказал: ответа не будет.

Он направился к двери, но на середине пути остановился.

— А в самом деле, доктор, почему бы вам на ней не жениться? — произнес он, как мне показалось, вполне серьезно — хотя поди пойми его... — Женщина в самом соку, московская прописка, опять же дочка-красавица... Я и сам бы не

прочь, только мне честь слишком велика. Вы не подумайте, что я, например, брезгаю: мол, после хозяина и все такое. Но мне хозяин объяснил, что она бесконечного ищет, а я, хоть и толст, но не бесконечен...— И он исчез, хлопнув дверью.

Я сел читать письмо. Вот его полный текст.

«Мне потому удобно обратиться к Вам, хотя я даже не удостоился узнать Ваше полное имя, что Вы не имеете никакого касательства к моей жизни и, однако, Вам стало известно о самом важном ее повороте; что до последних дней Вы не догадывались о моем существовании и впредь никогда меня не увидите и, однако, Вы неожиданно сделали свидетелем событий, в моей жизни чрезвычайных; что, наконец, не знаю, ни кто Вы, ни откуда, и потому могу предположить в Вас порядочного человека, который в случае чьей-нибудь заинтересованности даст показания, не извращающие истории моего конца.

А что это конец, в том у меня нет сомнений. Я решил жениться. Церковным браком и с соответствующей гражданской процедурой. Все это непоправимо — и ужасно. Я уверен, она для того и прислала ее, чтобы я погиб.

Вы видели, как она появилась облаченная в алый цвет, туго опоясанная, благородно и скромно, как подобает целомудрию. Высокий лоб ее сиял белизной, золотые волосы, по вискам кудрявясь, как гиацинты, окружали лицо живым светом. Она еще шла по коридору, а я уже почувствовал, как забытой дрожью наполняется все мое тело и прежний жар пронизывает сердце. Едва она предстала предо мной, как я узнал в ней мою невесту. Ощущение было такое, что иначе и не могло быть и всегда так было. Как видите, я не влюбился — даже в той, далеко не первоважнейшей степени, как когда-то в ее мать, — вообще нисколько не влюбился, но — полюбил, как я понимаю значение этого слова по-русски. Вы должны засмеяться, прочитав следующее признание, но уже теперь, когда состояние тех начальных минут так очевидно и невосстановимо уничтожилось, я с трезвой головой и холодным сердцем утверждаю, что такое было со мной впервые.

Несколько минут мы только смотрели друг на друга, а потом начали странный разговор: стали напоминать друг другу наше общее прошлое. Как Вы знаете, его не было. И когда она говорила мне: «А помните, на берегу большой реки вы дали мне красный блокнот?» — и когда я говорил: «А помнишь, ты заплакала, когда из трамвая выкинули пьяного и он сказал: «Вы не имеете права...» — то мы — я, во всяком случае, но я видел, что она тоже, — вспоминали реку, и блокнот, и пьяного, но это вовсе не значило, что мы на самом деле там были или такое видели.

Вдруг Санчо объявил: «Полночь! Мне пора вести ее домой». Я прикрикнул на него. Но она поднялась и сказала: «Нет. Мы пойдем, мама ждет». Я заметался. Я не мог ее отпустить, но все, что мне приходило в голову, чтобы заставить ее остаться, было уловками, обманом, старыми приемами. Я знал, что не должен, ни под каким видом не должен пускать их в ход, но не находил ничего другого, а она уже одевалась. И я залепетал что-то отвратительное, скудоумное, гибельное: «Я поставлю чай... Послушаем музыку... Я плохо себя чувствую...» Я понял, что это и была месть ее матери, потому что в ту же минуту моя душа, которую я только что ощущал огромной и крепкой, как базальт, быстро-быстро пошла трещинами по столь хорошо, по наизусть мне известным направлениям и покатилась в бездну ускоряющейся, разрастающейся лавиной грязи и пыли. Мою память захлестнуло прежде виденными нежными лицами, шепотом, объятиями, и все это были ее, Анны, лица, ее объятия. Я, так часто и свободно влюблявшийся, может быть, и сумел использовать это еще раз, но полюбить — в этот единственный раз, когда наконец-то мне суждено было полюбить, — я уже не мог, не умел. Я был священным павлином на птичьем дворе, так часто и свободно расправлявшим крылья для ласки, объятия или нападения, что только на это они и стали годны, и тот единственный шанс, который предоставился мне, чтобы взлететь, я не смог использовать: хотел взмахнуть ими, а они лишь расправились привычно... Она посмеялась моим словам и ушла.

А, собственно говоря, разве могло быть по-другому? О, как я каялся тогда! Я сутками валялся на полу кладбищенской сторожки, не прикасаясь к хлебу и воде, стоявшим передо мной, и слушал его почти никогда не прекращавшуюся молитву, пока наконец однажды не взмолился сам. *Мог* взмолился! Но разве я сохранил в себе это чувство, разве я поддерживал его? Разве я приковал себя цепями к стенам той сторожки, или подумал о монастыре, или хотя бы переменял

как следует образ жизни? Я молился по утрам, перед сном и перед едой, я испытывал покаянное настроение перед каждым причащением, но ведь я очень хорошо чувствовал, как те слова, которыми я взмолился тогда, гложут во мне, превращаются в заученный стих. Душе было спокойно, и я рассчитывал, что и так сойдет. Я был первый из грешников, а вел себя, как обыкновенный человек.

Ее мать задумала еще что-то. Она отпускала ее ко мне каждый вечер, при условии, что Санчо должен присутствовать при наших встречах и что в полночь она должна возвращаться домой. Я пал окончательно, я поступал, как дешевый соблазнитель, я поганил каждый миг наших свиданий. Вчера я прибил Санчо, но она тут же с презрением ушла. Я думал — навсегда, но сейчас получил от нее записку. Она будет ждать меня сегодня ночью в том доме. В том доме, где все произошло. Я знаю, что это конец, хотя не знаю еще, каков он будет. Я иду туда, как мул, которого гонят плетью, но и признаюсь Вам, с радостным предчувствием освобождения. Если бы Вы знали, как я устал!»

...Не помню, как долго я сидел без движения после того, как прочитал последние слова. Потом помчался на вокзал сдать билет, потом в «Аэрофлот» за билетом на утренний рейс на завтра.

В семь утра я был у Никитских ворот. Мне открыл Санчо, одетый и, как видно, не ложивший спать. Он сказал, что хозяин не приходил. Я предложил ему поехать на Арбат, он ответил, что велено ждать дома до полудня. Он был встревожен и на этот раз не шутил. Я поехал один. Там я застал то, что описал в начале моего рассказа: суету, волнение, слухи об убийстве. Я опаздывал на самолет и уехал уверенный, что убит *он*, хотя ничего сколько-нибудь определенного выяснить так и не удалось.

В субботу, приехав дневным, я добрых четверть часа колотил в дверь, пока наконец выглянувшая соседка не сказала: «Их давно не видать». Собачья площадка была залита светом прожекторов, на ней, несмотря на поздний час, кипела работа. Двухэтажный домик был уже снесен.

В следующее воскресенье было мое дежурство по клинике, но зато потом отгул, и я опять махнул в Москву самолетом. Дверь была опечатана: несколько веревочек поперек щели и на концах каждой по пломбе с гербом.

Через, наверное, месяц я был вызван в Москву ассистировать при операции. Перед обратным поездом я еще раз заехал туда. Дверь открыла сердитая старушонка. Я спросил, где прежние жильцы.

— А как фамилие? — спросила в ответ она подозрительно.

— Тенорио.

— А зовут как твою Тенорию?

— Иван.

— Тю, болван! Не видишь, что я баба? — И она захлопнула дверь.

Вскоре после Нового года я проходил утром через вестибюль клиники и был окликнут одной из наших гардеробщиц. Рядом с ней на стуле, привалившись к стене, сидела женщина, явно больная. Я подошел, взгляделся — и узнал мать Анны. Она страшно исхудала, пожелтела, поседела и к тому же была в предобморочном состоянии.

«С ночи ждет», — сказала гардеробщица. Я вызвал санитаров и велел нести ее в мое отделение.

У нее была *sarcoma uteri*, очень запущенная, опухоль распространилась в параметральную клетчатку и региональные узлы. Трудно было понять, как она добралась до больницы, ей оставалось жить неделю, максимум две, оперировать было бессмысленно. Умерла она на девятые сутки, в забытьи, я не жалел обезболивающего. Однако в третий день ей с утра было немного лучше, она отказалась от укола и предложила мне поговорить: «Только скорей, я не знаю, на сколько меня хватит». Я тотчас велел перевезти ее в мой кабинет, и там, не вставая с каталки, она рассказала мне эпилог. О многом, впрочем, я уже догадывался, но кое-что оказалось совершенно неожиданным и выглядело фантастичным. Например, я спросил, почему ее не сопровождает Анна. «Анна сейчас, по-видимому, в каком-нибудь гареме в Африке, — ответила она просто и даже усмехнулась. — Я думаю, что в гареме, потому что надеюсь на лучшее. После того, что случилось, она вышла за Санчо. Это я устроила. Вы ведь не знали, а он был выгодный жених: *тот* сделал его своим наследником, официально, в испанском посольстве, два года тому назад. Наследство изрядное, и Санчо давно уже хлопотал о поездке туда, чтобы быть поближе к капиталу, так сказать, на всякий случай. Через три дня после той ночи, как по заказу, ему дали визу. Он прибежал к нам и предложил Анне выйти за него замуж. Как всегда, финтил: то гово-



рил, что хочет только вывезти ее отсюда, то церемонно просил руки. Я сказала ей, что брак будет фиктивным, и — раз-два — окрутила их. Я уже знала, чем больна. Он добился визы на двоих, и они укатили. Он, несчастный, почему-то хотел обязательно плыть морем. Во Франции, откуда я получила последнее письмо, они нарвались на портовую забастовку, и он зафрахтовал частную яхту до Кадикса. Только что выйдя из пролива в океан, яхта была атакована, как впоследствии выяснилось, катером с бандой несовершеннолетних. Их через неделю поймали, был суд, мне принесли французскую газету с отчетом. Всех мужчин они потопили, а единственную женщину признались, что продали какому-то эфиопу.

— Какой ужас! — сказал я.

— А как же иначе! — подхватила она с вызовом. — Кто с *ним* хоть ненадолго связывался, тот непременно должен кончить эфиопом, или раком, или в лучшем случае пулей в сердце. Или — как он сам: глухой ночью, под развалинами...

Когда стали ломать Арбат, я каждый день собиралась туда сходить. Проститься. В тот вечер я поднялась наверх, не очень хорошо представляя себе, зачем и что буду делать дальше. Там у меня начался сильный приступ, и когда отпустило, то я подумала, что вот ничего и придумывать специально не надо, и пока еще есть силы и воля, надо кончать. Встав на подоконник, я и увидела вас. Его. И я, помню, подумала: «Еще и лучше!»

Когда он в переулке убежал от меня, я вцепилась в Санчо и стала трясти его, повторяя: «Верни!.. Верни!..» Он повел меня домой, и по пути я успокоилась. Санчо без умолку болтал, сыпал прибаутками и остротами. В частности, утешая меня, он сказал: «Ничего, барышня, и его когда-нибудь петух клюнет». Я услышала «клюнет», и во мне моментально стал разматываться мой замысел. И, когда мы входили, навстречу улыбке Анны, в квартиру, он уже был готов в подробностях.

Я, поверьте, не знала, чего хотела. Я знала, что мне надо делать, я рассчитала, что из этого должно получиться, но *для чего* мне это все, я не знала. Я мечтала убить его, но это мое *убить* было так ничтожно рядом с тем, *как я мечтала* его убить. И я хотела, чтобы он женился на мне, чтобы он любил меня и чтобы обнимал и шептал то, что он шептал мне однажды. И в эти минуты я начинала любить его так сильно, что мне хотелось, чтобы он был наконец счастлив и женился на Анне, потому что я знала, как он непоправимо несчастен, и мне всегда было мучительно жалко его. Но когда я представляла его *ее* мужем, дикое бешенство охватывало меня и я начинала метаться по комнате и еле сдерживалась, чтобы сейчас же не побежать к нему с серной кислотой, с кухонным ножом, с топором.

Все шло по моему плану, даже «еще и лучше», потому что я знала, что он будет унижен, но не предполагала, что так позорно и так быстро. В воскресенье я послала ему записку от имени Анны, сама принесла рано утром и просунула в замочную скважину.

Я пришла туда, наверное, за час до условленного времени, но и он появился гораздо раньше срока. Было совершенно темно, и мы не видели друг друга. Мы стояли в противоположных углах комнаты — той же самой комнаты, в которой тогда все произошло. Так мне хотелось!.. Он заговорил спокойным, хотя и дрожащим сначала голосом. Он говорил о том, как он любит, говорил безнадежно и прекрасно. Безнадежные и прекрасные слова раздавались в тишине, и я плакала. Он сказал, что три дня тому назад, когда ему показалось, будто он может полюбить, это было бесовское наваждение. Теперь оно спало, и уже совершенно ясно, что это невозможно. Он попросил извинить ему мерзость его слов и намерений. Потом он сказал, что это неправда, что и сейчас, лишившись иллюзий и зная, что счастье запрещено ему, он готов снова и снова признаваться в любви. И вдруг он стал вспоминать.

«А помнишь, мы шли по пустой вечерней улице и мимо проехала в маленькой коляске печальная дама с большой рыжей собакой у ног?» И дальше, и дальше. Ничего этого я помнить не могла, этого не было, но как только он произносил: «А помнишь...», это уже и было. Вдруг он сказал: «А помнишь, юная девушка стояла возле пылавшей жарко печки и дряхлый старик шаркал к ней через комнату?» Он замолчал и двинулся ко мне. Я стояла ни жива ни мертва. Он тронул рукой мои волосы, и потянул за пальцы, и нежно обнял. Он зашептал мне что-то, и, хотя я была как в забытьи и не понимала ни слова, я знала, что это те самые слова, которые я не могла забыть и не чаяла услышать. И потом... И потом — я *засмеялась!*

Он задрожал, со страшной силой сжал мою руку и проговорил ясным голосом: «Я — погиб!» В это время раздался грохот, что-то огромное промчалось в полуметре от меня, ударило его, и он исчез.

Тотчас все стихло. Я подождала несколько минут, потом нащупала ногой провал. Вдоль стены я пробралась к двери и спустилась вниз. Тут только я вспомнила, что взяла с собой спички.

Это была статуя, она пробила также настил первого этажа и прямо пригвоздила его к земле железным штырем, на котором держалась за крышу. Краповщик потом на суде только повторял: «Что-то будто толкало: пойди да сбрось, пойди да сбрось... С вечера все на завтра приготовил, а до утра дожждаться не мог». Голова его была засыпана бревнами, так что Санчо на опознании заявил, что признает только по одежде. В кармане у него я нашла вот это.

Она протянула мне клочок бумаги, на нем было четверостишие.

Конечно! — Он простонал.—  
Господи! Анна! Я гибну!  
.....финал  
.....гимна!

Еще несколько слов были непроницаемо зачеркнуты.

Она попросила морфия и больше уже в сознание не приходила.

*Октябрь 1975*



## Даже молча мы кричим...

**Я** представил себе, как в пещере нашли древнюю книгу и первый же прочитавший прозрел.

Вдруг мне стало очевидно, что такая находка была бы невозможна: что бы ни было написано, если это важная для нас правда, то она так или иначе уже с нами.

Откровение — это не зерно, упавшее в почву и начавшее расти.

Это удобрение, которое способно делать почву плодородной.

Я вспомнил, что в Константинополе проповеди Иоанна Златоуста собирали толпы христиан. Но вот начались лошадиные бега, и все ушли туда.

Пусть мы заведомо предпочитаем бега — мы все равно уже не те, что были.

Я увидел себя среди всех: занятые разными мыслями, мы время от времени поглядываем на небо — и так устроены, что ожидаем Благоую Весть.

Среди возникших в детстве вопросов, связанных с необходимостью сосуществовать с идеей смерти, один вел себя странно в моей голове: я никому его не задавал, как бы и не нуждаясь в немедленном ответе. Я сам возвращался к нему время от времени и терпеливо ждал, что решение появится.

Формулировка вопроса видоизменялась со временем и зависела от силы текущих впечатлений.

Все началось с любопытства: что лежит в могилах?

По мере внедрения в психику атомистических идей меня начало интересоваться, сколько молекул воздуха, которым я дышу, побывало в легких моих предков, включая динозавров: есть ли хотя бы одна?

Сведения об изотопах привели меня к воображаемым экспериментам, которые позволили бы узнать, сколько во мне от кого.

Соответствующие размышления упирались какое-то время в систему парадоксов вроде того бегуна в вечной погоне за черепахой. К примеру, я полагал, что если нагреть комнату и дать остывать, то почему бы ей навсегда не остаться чуть теплее соседних комнат?

Все эти соображения, как я теперь понимаю, были подсознательной попыткой обрести надежду в мистике вечных следов.

Парадокс разрешился, когда я стал изучать физику и у меня сложилась картина всеобщего микроскопического дрожания, выражающегося в температуре вещей. Оказалось совсем нетрудно представить, как дрожь молекул остывающего тела становится почти, а потом и совсем неотличимой от дрожи молекул окружающего мира. Весь фокус в том, что *всё* дрожит.

Путь к надежде оказался ложным, однако прохладный трепет страха смерти потеснился, чтобы с тех пор соседствовать с более теплым ощущением себя как части вечного всего.

Вселенная перестает быть холодной, а ледники Антарктиды вопреки законам природы прекращают свое сулящее гибель таяние, когда звучат хор и оркестр.

Перед фактом столь очевидной божественности сотрясений воздуха я еще в детстве удивлялся парадоксу условности нашего существования в сравнительно тонком слое атмосферы.

Меня повергал в смятение мысленный эксперимент общения с глухими пришельцами, когда было так легко найти общий язык, используя предметы и символы, — а музыка как бы и не существовала.

Теперь этот эксперимент уже не угрожает сведением музыки до уровня специфически людской частности. Теперь он указывает на существование чего-то еще — пусть будет понаучнее, к примеру — МЕТАЯЗЫКА.

Потому что я представляю себе, что и у глухих пришельцев были вдохновение построить корабль и тоска в пути.

Вспоминая виденный в кино глаз акулы, я понимаю, что мои представления принадлежат вере, потому что всё может быть совсем иначе: глядящий на нас глаз может и не знать, что такое тоска.

Возражением служит то, что пришельцы так же, как и мы, — дети Большого Взрыва: происходят из *одной точки*, при всей неопределенности этого понятия. При столь совершенно общем корне почему бы и сознаниям не быть идентичными: «Звездное небо над нами, Царство Божие внутри нас».

Возражение возражению формулируется просто: Бога нет.

Мы и Они — сами себе черти, прогресс — полеты на метле.

Доброта — экономия тревоги. Как только стая усложнилась настолько, что подчиненность стала неоднозначной, терпимость к ближнему оказалась выгодной: лучше тратить силы на охоту, чем оберегать холку от брата.

Мимо жизни протекаешь. Понятия остаются в памяти, оставляют там темный или светлый, холодный или теплый след. Но между тобой и ими — расстояние, вот ты, а вон — всё остальное.

Только мимо Бога не протечешь при полном объявленном неверии. Дело тут не только в страхе смерти. Запрещен соблазн: а вдруг бы поверить — и вот, вся твоя воля есть *его* Воля, а ты только проводник.

Удесятерились бы силы — и, говоря красиво, цвела бы даже осенью надежда.

Вот и оркестр готов к выступлению, дирижерская палочка взмыла вверх, сейчас она начнет движение, и мы все — и оркестранты и слушатели — станем единым целым, восприимчивым к метаязыку.

Интересно, что в репертуаре?

Мне приснилось, что я зашел в роскошный магазин, чтобы купить часы. И увидел абсурдную картину: продавцы проверяют у покупателей зрение.

Сон напомнил мне о Большом Взрыве и об общей исходной точке, из которой всё, в том числе и время, *пошло*.

Мне захотелось снова вернуться в эту точку.

Мне показалось, что это именно тот путь, на котором, оставшись собою, можно стать одновременно всеми и всем.

А тут еще и приятель-физик рассказал мне, что есть теория, согласно которой Больших Взрывов и Вселенных множество.

Мне стало понятно, что Наука и Бог неразделимы.

И в самом деле, предположим, что Большой Взрыв — уникальное событие.

— Бог, Бог! — восторгаемся мы, потому что Уникальность — это уже не статистика.

Предположим, что измерений и взрывов не счесть. Тогда проблема задвигается в бесконечный ящик.

И мое разнузданное воображение, возникшее у обезьяны в результате многотысячелетнего трудового воспитания, а теперь позволяющее себе мной командо-

вать, немедленно превращает бесконечный ящик в сверкающий тоннель, да с такой четкостью изображения, что хочется немедленно лечь под березу.

Бестелесный «Я» всплакнул бы на собственных похоронах, жалея близких, всё еще верящих и не верящих в то, в чем я уже пребываю.

Вот и тоннель, вот и захватывающее чувство скорости, которое мы в жизни так обожаем — может, как раз в предчувствии тоннеля.

Вот и встреча с Божеством или скорее — и особенно если Взрывов много — с его представителем.

Ведь есть же в нас и эта мечта! — чтоб только Любовь, никакой Борьбы.

Когда отсутствие борьбы не означает отсутствия желаний потому, что ни желаний, ни борьбы просто нет.

Дворовая псина в дачном поселке форменным образом улыбается при встрече со знакомыми людьми, задирая верхнюю губу. Глядя на нее, нетрудно себе представить, что она испытала прозрение, переняв улыбку у людей. Ей вряд ли суждено оставить потенциально умное потомство, поскольку местная дама принимает в суке деятельное участие и оберегает от случайных связей.

Сейчас улыбчивая сука пустует, и Дама-охранительница водит ее на поводке. Вот они вошли к себе во двор, и Дама прикрыла калитку. На правах соседа я знаю: если калитку потянуть с улицы на себя, она откроется. Но этого не знает преследовавший дам кобель. Он бросается лапами на решетку и скулит.

— Бедный Дух,— говорю я.

Мне не хватает духу назвать эту маленькую трагедию свидетельством глупости. Я мечтаю быть свидетелем прозрения, когда лапа вошла бы между прутьями и сделала нужное движение.

Движение лапы было бы случайным, но, прежде чем ринуться к цели, пес недоуменно взглянул бы на нее и что-то понял.

Нет, конечно же, нет, всё будет потом — сию минуту, кроме цели, ничто не существует. Зато потом, в компенсационных грезах беспокойного сна, он будет снова и снова поддевать лапой прутья решетки и ощущать блаженство исчезновения преграды.

Всеобщее Духовное Единство показалось мне очевидным.

Единство поедаемой жертвы и хищника, рвущего ее мясо, показалось просто еще одним словом метаязыка.

Одновременно я понял, что в метаязыке нет ни слова *нет*, ни слова *да*.

Одновременно я понял, что не прав, что эти слова есть — и еще как есть, только слово метаязыка — это Мы плюс Слово.

В силу своей малости и мимолетности я уже почти готов принять доставшийся мне набор земных радостей как вполне приличную судьбу. Я благословляю бессмертие потомков, и только один вопрос не дает мне покоя: ввиду бесконечности Вселенной и панспермичности<sup>1</sup> нашей природы неужели же — и почему?! — до сих пор до нас так никто и не добрался?

В молодости я прочел у Паскаля (цитирую по смыслу):

«Если так много людей верит в чудеса, значит, чудес не могло не быть».

И еще:

«Почему сейчас так мало чудес? Потому что вера уже укоренилась — они больше не нужны».

Прочтя, я поразился безусловности веры, но наивность тогдашних людей была для меня очевидна. Высказывания показались вполне соответствующими временам, когда отсутствовали электричество, а также телефон и автомобиль.

Прошло время, и вот мне уже неудобно за свою тогдашнюю наивность.

Привет Паскалю, а также всем — и там, и тут.

<sup>1</sup> Согласно гипотезе *панспермии*, жизнь занесена на Землю из космоса.

В Египте, в Долине Царей, я увидел, как весело раскрашены иероглифы и рисунки на стенах гробниц. Я подумал, что это был медовый месяц личности со словом, только-только отделившимся от губ, начинающим свой путь к бесплотности.

Понятия не спешат утратить плоть, но уже не вполне принадлежат людям, так что некоторые из них в игре воображения меняют, к примеру, голову и становятся Богами, потому что людей с птичьей головой нет.

От имени — к рисунку, от рисунка — к иероглифу.

Имя птицы, присвоенное человеку, — это уже не птица, которую можно поймать, убить или нарисовать.

Имя Фараона — это не просто он, гордо восседающий на троне с белокожей нею. Это и повергнутые враги, и завоеванные земли, и весело раскрашенная гробница, вместившая гордость, а не только прах.

«Игра в куклы», — сказал бы я о тогдашних ухищрениях по сохранению праха, если бы вполне был уверен в безнадежности такого подхода к вечной жизни.

Это ведь только мои догадки, что бессмертие пока недостижимо.

Я-то знаю, как хочу быть не прав.

Я, может, потому и высказываюсь, что знаю, как часто бываю не прав.

«Чур меня, чур», — говорю себе и внутренне заискиваю перед жрецами Древнего Египта, хранителями предания об одной из побед на пути к метаязыку.

— Метаязык, что это такое? — спрашиваешь ты меня, и я ценю мягкость иронии.

— Это как море, — говорю что попало, потому что нет у меня настоящего ответа, а море благо перед нами: равнина до горизонта, и оно же — бушующая стихия до горизонта, заявляет о себе шипящим грохотом прибоя, сейчас и всегда, мне и тебе, без меня и без тебя. Но я сейчас о другом море. Я о тихой подводной буколке кораллового рифа. Разные формы и расцветки похожих на бабочек рыб не мешают им быть единой стаей. Она окружает тебя подрагивающим облаком тел.

Стая как бы готова принять тебя к себе.

Очевидно, что это не тишина, а твоя глухота.

В тишине глухоты — вот бы услышать новое слово!

Я думаю, что был послан недавно плыть по Нилу именно для того, чтобы очию увидеть феллаха, который оставил пару своих буйволов и творит молитву на коленях, лицом к Востоку. Корабль плывет вниз по течению, но течение в этом месте не строго на Север, поэтому я вижу феллаха почти в профиль. Он у границы своего поля, в тени больших финиковых пальм.

Я совершенно не сомневаюсь в том, что, закончив молитву, феллах встанет и вернется к буйволам, чтобы продолжить вспашку. Но я уплыл прежде, чем это произошло, и поэтому остаюсь под пальмой и продолжаю молиться.

Моя молитва без слов, хотя разве мне нечего просить?

Я молюсь без слов не из скромности, а как раз из-за гордыни.

Я молюсь о том, что с равной четкостью вижу и свою черную Землю — и граничащую с желтыми холмами пустыни долину Нила.

Я молюсь чуду видеть не глядя, хотя и не знаю, меньшее ли чудо смотреть и видеть.

Вдруг становится понятным, что такое метаязык: это воображаемый язык, с помощью которого можно общаться во внутреннем мире.

«Забудь об одиночестве», — звучало бы напутствие Учителя метаязыка, потому что в той бесконечности, что у тебя внутри, ты был до сих пор по-настоящему одинок.

«Что ты написал? — спрашиваю я себя. — Воображаемый язык? И что же ты о нем воображаешь?»

Как застигнутый на месте преступления, я лихорадочно ищу выход из своего трагического положения, потому что как никогда мое предприятие представляется близким к краху. Пусть я потом уже утешусь чем-то вроде: «Нашел тропинку, ведущую вверх, стал по ней подниматься, уже почувствовал себя на некоторой высоте, но тропинка становилась все уже, справа была скала (я бы настаивал, что именно справа), а пропасть была слева, и вот одно неверное движение...»

Но нет, я еще там, где я есть, и чувствую сейчас невидимую поддержку, словно те живые, которым предстоит меня понять, объединились с теми мертвыми, кто хотели, чтобы я понял, и вот я уже в нетолкотливой толпе, со всех сторон братья и сестры, так что падать некуда.

«Мы заговорим!» — воскликнул бы я, если бы нарушение тишины было уместным.

Тут мне вспомнилось огромное и странное строение. Несмотря на серый цвет, его нельзя назвать мертвым, оно словно выросло из земли и продолжает теперь свой вечный рост, его и вправду всё еще строят.

Меж башнями строения поставлено дерево, и, хотя это всего лишь зеленая метафора, верится, что сидящие на дереве керамические голуби только что вылетели из окон голубятен-башен. Мне возмечталось, чтоб еще один голубь висел в пространстве. Чтoб, удерживаемый непонятной силой, он был в вечном — как строительство — полете.

Мне вдруг поверилось, что об этом же мечтал, пока не погиб под трамваем, и архитектор.

Мне показалось, что мы знаем друг друга.

Мне показалось, что где-то тут спасение от одиночества и освобождение от слов.

Sagrada Familia — так называется этот странный, вечно строящийся собор, увидев который я сразу же отвел взгляд. Совсем не потому, что боялся ослепнуть. Мне не нужно было смотреть, было ясно, что *главное* я уже увидел — и оно во мне.

Потом, чуть позже, я присмотрюсь и увижу голубей на дереве и многое другое. Я не хочу фантазировать и говорить, что где-то есть целый другой мир, в котором, если вести карандашом по бумаге прямо, линия получается как волна.

Я не стану утверждать и того, что в понятном мне слове Sagrada заключен неведомый моему сознанию и потому *потаянный* смысл.

Поскольку я раб слов, то продолжаю их перебирать. Мне почему-то вспоминается ритуал ранних любителей полетов при запуске двигателя:

— Контакт!

— Есть контакт!

«Жизнь — далеко не праздник», — говорю себе с легким сердцем, потому что сейчас мне кажется, что это поправимо.

Удары басовитого колокола следуют с многосекундным периодом.

Поэтому каждый удар звучит как бы внезапно — в этом, видимо, и состоит ожидаемый эффект. Скоро большая колокольня начнет перезвон, призывая к заутрене. Случайно я оказался неподалеку.

Меня потянуло поближе, чтобы слышать громче, — и вот перезвон начался как раз, когда я подошел к колокольне.

Я вспоминаю о прозрении, которое пришло ко мне не так давно: в процессе жизни *сейчас* превращается во *всегда*, а *здесь* оказывается *везде*. С тех пор время от времени меня посещает неясный образ паука, сидящего на Вселенной, как на паутине, и чувствующего все ее колебания.

Отсутствие у меня настоящей Веры дает себя знать. Мое воображение представляет Бога, который не может нарушить установленные им правила им же нача-

той игры. Сотворив нас, Он не может нас убить, но не может и спасти, если, к примеру, к нам направится астероид. А мы уже достаточно умны, чтобы узнать об опасности, и еще недостаточно могущественны, чтобы от нее спастись.

Он будет с нами в момент краха.

Он будет оплакивать свое вновь обретенное одиночество, если у Него есть слезы.

Он скажет, что на нас надеялся, если у Него есть слова, только я уверен, что думает Он не словами.

Слово дано нам, чтобы мы начали учиться думать.

Чтобы в конце процесса у Него случился собеседник.

Если не успеем научиться, пыль снова станет пылью.

Я представил себя бредущим в одиночку к Северному полюсу — может, на Марсе, может, на Земле.

Я представил себе, что, сидя сейчас в тепле у компьютера, я столь же безнадежно одинок и в такой же опасности, разве что не столь непосредственно грозящей. А хотя кто знает?

И вдруг мне стало совершенно ясно, что всё совсем не так, что всё не может быть так. Теплота моих рук наполнила меня надеждой, что меня придумал Бог, и пусть Он ни во что не хочет вмешиваться, в любом случае я могу, если хочу, действовать *как задумано*.

Если пойму, как.

Я вспомнил, как прекрасен запах сирени.

Я вспомнил, что этот запах прекрасен с первого предъявления, а на красивое лицо хочется смотреть, хотя далеко не все в восторге, например, от авокадо.

Я вспомнил, что движение по реке организовано с помощью различных знаков. Большинство из них снабжено фонарями, чтобы светить, когда темно.

Тем временем зима, зима...

Но я сказал бы: не в душе. Потому что заснеженные деревья создают предчувствие Рождества.

Неспособные ощущать странность своего существования, привыкшие к самим себе, мы ждем Нового года с ничем не обоснованной, но от этого не менее приятной надеждой.

Я сочувствую тем, у кого надежды нет.

Мне кажется, что в тех местах, где на Рождество нет снега, праздник не может быть таким же радостным, как у нас.

Я знаю, что это неправда, но правда мне тут не то чтобы не нужна, просто Правда и Неправда мирно сосуществуют в моей душе, которая росла, играя в снежки. Правда и Неправда носят в моей душе другие, совершенно равноправные — ни одно из них не обидно — имена.

Я хотел бы думать, что они тоже из метаязыка.

Если те, кому предстоит освоить метаязык, не сверхлюди, тогда это мы, тогда в нас должны быть его зачатки, их можно найти.

Сегодня мне приснилось, что мы научились по-настоящему общаться с собаками. К сожалению, мне не приснился сам язык.

В небольшом и далеко не роскошном амфитеатре люди и собаки занимались, по всему видно, обыденным делом. Я запомнил только один из практиковавшихся приемов: группа собак чинно, гуськом спускалась в яму, которую затем пара людей закрывала крышкой. Следующая группа собак сидела с задумчивым видом и ждала своей очереди.

Я понял так, что в темноте ямы собаки преодолевали комплекс нашей для них непредсказуемости: они учились быть уверенными, что крышку откроют.

Мое отношение к собакам, когда я проходил мимо, отличалось от обычного: я знал, что это предсказуемые существа — как и я. И что мы знаем это друг о друге.

Не стану врать, улыбочивой суки среди них не было.



У меня появилось щемящее чувство, что, выйдя из амфитеатра, я попаду в новый мир — причем я точно знал, что он новый, только не знал, какой. Это было очень странное чувство, будто я сам себе слепой и поводырь. Это было очень странное чувство, которое я могу передать только абсурдным набором слов: вот сейчас я выйду в старый мир, но он будет новым. Я почувствую, наконец, запах вездесущей субстанции, которую мы не замечаем, потому что к ней привыкли, и вот не замечаем что-то настолько важное, что его можно назвать *самым важным*.

Попасть в новый мир не удалось.

Только осталось воспоминание, как будто на краткий миг открылись глаза, а может, прочистился нос.

Воспоминание омрачено тем, что миг был краток.

Мне хотелось увидеть свой город новым — или, может, наоборот, старым — как он будет смотреться через N лет.

Однако, если не считать молчаливых и просветленных собак, сейчас я вспомнил: они были как после ночи неистовой борьбы за суку — кроме собак, увидеть я вообще ничего не успел.

То, что осталось, я могу воспроизвести в качестве догадки, что даже молча мы кричим.

Причем крик в виде красного пальто не обязательно громче крика с помощью черной шляпы.

Я вдруг понял, что вездесущая субстанция — это поле непрерывного бессловесного общения.

Поле включает и слова, но только слова передают вовсе не то, что означают. Ассоциативный ряд немедленно преподнес мне узелковое письмо индейцев, но ассоциация была отвергнута, потому что узелки — это все равно слова, «узелки на память».

Я вдруг понял, что «непрерывное общение» не только бессловесно, но и бессознательно.

Ассоциации снова ведут меня в кажущуюся тишину коралловых рифов и в оглушительное птичье-лягушачье пространство джунглей, ведут с требованием, чтоб я осознал очевидность неочевидного: где громче шум — еще вопрос.

Может, тогда мне будет легче понять, какова связь между номером столетия, именем Бога, формой окон и способностью на поступок?

Стоя у пирамиды, я восхищался храбростью разграбивших ее воров.

Я сказал бы, что это больше, чем храбрость. Это Сила Духа, сломить которую мог бы только повисший без видимой причины голубь.

Тут же мне стало ясно, что лицезрение чуда скорей убьет, чем покорит.

Я уже несколько раз приходил к выводу, что метаязык с нами, но только сейчас понял, что мы с ним неразделимы.

Последовательность эпох и стилей кажется мне не только не прочитанным, но пока даже не читаемым посланием на этом языке.

Мы его не понимаем как раз в силу нашей с ним неразделимости.

Я вспомнил, что сознательным усилием воли не могу заставить сердце биться быстрее.

Я подумал, что точно так же недоступен моему сознанию и метаязык.

Однако мне известен надежный способ, как ускорить сердечный ритм.

Для этого я должен, к примеру, побежать.

Я подумал, что мне предстоит прозреть так же, как прозрела собака, когда она сумела улыбнуться.

Пока я не умер, я надеюсь, что прозреть предстоит мне.

Сложение слов выбросило меня на берег.

Я на острове, не пригодном для продолжительного пребывания.

Это один из маленьких островов, примыкающих к живому коралловому рифу, но его можно назвать островом смерти.

Потому что поверхность состоит наполовину из песка, а на другую половину — из известковых скелетов мертвых кораллов и моллюсков.

Ненадолго остров оседлал живой я.

Я присел — и скоро уплыву.

Между мной и Солнцем — только атмосфера и пустота.

Поверхность колет, так что моему заду нельзя расслабиться даже на те несколько минут, что отделяют мою кожу от солнечного ожога. Пусто надо мной и пусто вокруг. Я уверен, что хоть какая-то часть будущего времени — в полной моей власти: ко мне никто не обратится, никто не прервет меня в моих мыслях.

Так что же я обо всем происходящем думаю?

Что я думаю об этом сознаваемом мире — и об этой сознаваемой жизни — и об этой тоже сознаваемой и пугающей необходимости уйти?

Сейчас, когда мое пребывание на острове — малая модель моего пребывания на Земле и уже скоро уходить, я думаю о Стороже внутри меня.

Он неустанно ищет для меня спасения.

«Больше бояться не буду!» — обещаю я Сторожу, зная, что вру.

Я подумал о первых людях.

Каждый день своей трудной и опасной жизни они должны были найти или добыть пищу без всяких гарантий Бога Охоты.

Я подумал: неужели среди них были такие же дураки, какие встречаются среди благополучных нас?

Вдруг я вспомнил, что один из глупцов, кого я знаю, прекрасно ловит рыбу.

Я вспомнил, что раньше и себя считал неплохим рыбаком. Но потом рыбы в реке убавилось. Разуверившись в возможности успеха, я бросил это дело.

Между прочим, дела «глупого» рыбака по-прежнему неплохи.

Богу Охоты приносили жертвы. Я никогда не спрашивал «глупого» рыбака, не приносит ли жертвы и он.

Если я его спрошу об этом, он примет вопрос за шутку.

Но это совсем не будет означать, что он ничем не пожертвовал явно небезразличному для него Божеству.

Если в реке совсем не будет рыбы, он ничего не поймает. Как и я.

Мне становится понятно, что, если рассказывать потомкам, как ловить рыбу, можно их сильно обмануть.

Я думал, что этот текст будет поводом для вдохновения — и отчетом о тех не очень частых моментах, когда я вдохновение испытываю.

Я рассчитывал, что вдохновение напитает положительными эмоциями мою душу — и я стану счастливей.

Мой расчет не оправдался. Наверное, зря я пытался шутить с богами, полагая, что в свободе мыслей меня не ограничивает ничто, кроме очевидной Стены, из-за которой мысли приходят, как в школьном диктанте, и еще остается надежда на своевременную подсказку.

Я представлял Стену границей, отделяющей каждого из нас от себя и от других, а всех вместе — от Бога.

Я исходил из того, что, сделав Стену проницаемой — «открыв Окно», а если кому больше нравится не летать, а ходить, то можно говорить вместо Окна о Двери, так вот, если в Стене появится выход, это и будет, я думал, выход из нашего Царства в Царство Божие — альтернативный смерти путь в Мир иной.

Я испугался написанному, потому что из него следует безысходность. Я сразу представил себе, что уже больше никогда не увижу ни зелени, ни солнца, потому что всегда будет туман над снегами — как сейчас.

Потому что если в душе останутся туман и снег, то не поможет и приход весны. «Как это?» — в растерянности спрашиваю я себя, и, наверное, моя растерянность и вправду велика, наверное, я и впрямь загнан в угол и отступать мне некуда, потому что ответ готов. Вот он:

«Никто никуда не выйдет. Другие существа населят другой мир».

Случайно ли ощущение счастья, когда из окружающего мира приходит квитанция в том, что ты в своей вере прав?

Этот риторический вопрос указывает на связь между множеством вещей и явлений, среди которых запах сирени, грехи осязания, шуршание опадающих листьев и счастье.

Мне этот вопрос напоминает о том чувстве хотя бы временной, но временно более чем достаточной компенсации за необходимость уйти. Когда пусть и молчишь, а, как правило, молчишь хотя бы для того, чтобы прекрасное мгновение *не сглазить*, ты горд и счастлив.

Я предвижу, что слово метаязыка, которым когда-то обозначат соответствующий комплект образов и чувств, окажется одним из слов *пароля*.

«В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик», — пел Шаляпин почти сто лет назад.

Эта песня могла вспомниться мне потому, что в ней есть слово «пароль».

Но я убежден, что не только в этом слове дело.

Речь идет о Наполеоне, принимающем парад своих войск, вставших для парада ночью, когда только и возможно такое *событие*.

Ночью мир действия спит и над спящим миром, жалея его и мечтая о своем будущем Царстве, пробует голос метаязык.

«Франция» — это пароль, лозунг — «Святая Елена».

Я уже говорил, что движение по реке организовано с помощью знаков, которые светят, когда темно. У меня нет сил *предметно* мечтать о той ночи, когда не только гвардия встанет из могил. Однако просится из чувств в слова мечта, как если бы ночная река озарилась салютом, и, хотя тьма не пропала, вокруг, как и прежде, ночь, но на реке стало *счастливо* и точно видно, что вон поворот и ты знаешь, что счастливо и за поворотом.

Легко быть на короткой ноге с Императором, если он уже умер. Так что мне хватает смелости засвидетельствовать ему свое почтение. Согласно моей модели, у него были громадные успехи в *диктанте*. Если Окно широко открыто и подсказки прекрасно слышны, нетрудно себе представить, что это всё ты сам, а не Божество твоими устами.

И тогда ты начинаешь верить, что и впрямь:

«Это Божество моими устами!»

И тогда, если не сойти с ума, можно стать, например, Наполеоном.

Первые люди не были уверены в том, что думают при помощи головы.

Даже гораздо позже, овладев письмом, предки продолжали сомневаться и свои сомнения передали нам.

Новые знания, попадая в Накопленное Настоящее, новы только для нас.

Я понимаю весьма ограниченную ценность этого утверждения. Но оно занято своей несомненной истинностью.

Если нас некому было придумывать, то, кроме нас, никто о нас ничего не знает.

Если нас придумали, то Создатель по определению знает о нас всё. В частности, он прекрасно разбирается в генной инженерии, хотя наверняка по-другому называет область своей деятельности, которая связана с созданием Жизни.

Еще в начале текста я удивлялся противоречию между мелочностью моих мыслей и невообразимой сложностью моего же устройства. Сейчас я понимаю, что, если цель жизни личности состоит в сохранении вида, никакого противоречия здесь нет.

Небеса молчат. Не будешь же считать сообщением, например, реликтовое излучение, давшее нам информацию о Большом Взрыве.

Поэтому мы ищем правду сами.

Вместе трудимся, чтоб узнать о себе больше, а предвидеть дальше.

Наша общественная природа выражается в нетерпимости к одиночеству, в желаниии если не быть, то бывать вместе.

Занятым и комичным (чтобы не сказать «поистине трагичным») образом это желание совмещается в душе с сильным, как страсть, стремлением к независимости, стремлением охранить и вырастить свое единственно доступное — потому единственное — потому бесценное «Я».

Я подумал, что бессмертие души — безусловная чепуха.

«Выдумка для трусов», — храбро говорю я спокойным утром, когда знаю, что в ближайшие часы мне вряд ли что-нибудь грозит.

Мне представилось, как идея, выраженная не последовательностью слов, а последовательностью сцепленных молекул, имеющих волшебное даже в словесном выражении свойство самовоспроизводиться, как эта идея ищет возможность укрепиться в Вечности.

Разменная монета, которой молекулярная идея платит за собственное сохранение, — рождение и смерть ее собственных воплощений.

Животное Царство строго следит за бюджетом и борется с инфляцией.

Возможно, когда-то нам станет понятно, как и почему происходила смена Царств.

Если речь идет о сохранении жизни, то появление нас, способных к сознательному обучению и предвидению, — совершенно логичный ход событий.

Если смотреть правде в глаза, то следует признать, что либо Создателя нет, либо он не с самого начала знал, чего хочет: почему бы не вдохнуть разум уже в динозавров — среди них были даже ходившие на двух ногах.

Забавны штампы языка: *смотреть в глаза правде*.

Мне вдруг представилось, что Молекулярная Идея подбирала себе глаза, чтобы видеть мир в согласии с Собой — *красивым*.

Выбор пал на нас — и вот никто, кроме нас, не способен понять, что, глядя в зеркало, смотрит на себя.

Вдруг я понял, что Свобода — совершенно фиктивное слово. Свобода — это то, чего нет. Потому что ощущается как степень своего отсутствия, как мера несвободы. Полная Свобода — это Смерть.

Мне всё равно сейчас, в какой степени я повторяюсь и кого цитирую по беспмятству, а кого — к примеру, Гаутаму — перепеваю вполне сознательно.

Потому что всё равно несвободен.

Потому что текст идет к концу, да не кончается, и хуже всего то, что я не знаю, ни чем, ни когда закончу.

Может, так и останется — текст без конца.

Просвещенный приятель божится, что ему встречалось высказывание Чехова, будто «в конце все мы врем».

Я этого тоже побаиваюсь, а тем временем, пользуясь случаем, передаю Антону Павловичу привет.

Я не боюсь, что надо мной с моими приветамии посмеются — «во дурак!».

Потому что уверен: главное в человеческой жизни — легкость и простота обще-

ния. Говоря современным языком — совершенство средств коммуникации. Уж коль скоро мы существа общественные — расставим точки над *i* и не будем создавать кумира из личности, поскольку сами чувствуем свою ограниченность и молимся.

А если я допускаю, что моя молитва не безадресна, значит, если захотелось, должен передать привет. Потому что кто-то может знать, что я хотел передать, но не передал, и может обидеться.

Вдруг мне показалось, что я увидел дорожный указатель, на котором написано:

### К ПЕНИЮ ПТИЦ

У меня сейчас такое настроение, что если бы текст писал я, то написал бы «к пеню птичек». Чтобы подчеркнуть, что в жизни, может, и много несмешного, но очень мало серьезного — ввиду столь текуче-неустойчивых, сохраняющих себя только ценой непрерывного своего волнения жизненных реалий.

Мне снилось недавно, что в беззаботной компании мы плаваем в ночной Реке. Небо было темным. Дорожки света тянулись не от Луны, а от огней пристани ниже по течению. Река была дружелюбной. Представлялось совершенно очевидным, что в ней нельзя ни утонуть, ни пораниться. С замечательной легкостью и быстротой мы переплывали от берега к берегу, и я чувствовал только легкое томление от того, что сомневался, на каком берегу мой дом, куда мне предстоит вернуться. А спросить почему-то опасался.

Когда мне снится, что я плаваю, чаще всего это значит, что я заболеваю. Так случилось и на этот раз. Несколько дней я думал, что болен очень серьезно, однако оказалось, что трагедии пока нет. Простое продолжение жизни, текущей в известном направлении. Стало, впрочем, ясно, что мое тело уже не останется таким, как до болезни: его возможности ограничились. Душа не могла с этим сразу примириться и сейчас еще заставляет меня время от времени бояться.

Пытаюсь найти точку зрения, чтобы взглянуть на Душу со стороны.

Пытаюсь понять, каким станет страх, когда упадет Стена.

«А можно ли будет, — спрашиваю себя, — как и раньше, прятаться от страха в выдуманном мире? Останется ли с нами наш выдуманный мир? А может, и страха вообще не будет?»

Мне захотелось обратно в сон, снова в Реку. Мне показалось, что все жившие прежде меня в ней растворились, образовав ее течение, и ждут теперь, пока мы, новые пловцы, не отплаваем свое. Я подумал, что другое название Реки Времени — *жизнь*.

Я представил себе, как на одной из стадий приближения к метаязыку люди перестанут говорить, а станут петь.

Вспомнив, что в каждой цивилизованной стране у каждого из нас, кроме имени, есть номер, я понял, что этого не будет.

Я видел недавно рекламу, где желтолицый брат, надев на голову шлем, управлял компьютером с помощью мысли.

Уже очень скоро, пожимая друг другу руки, мы будем — при осознанном желании — обмениваться записанной цифрами информацией. Никаких чудес, просто техническое использование даже не вчера полученных знаний, но разве не другой, по отношению к нашему, мир?

Мне всё еще жаль так и не родившегося мира, в котором мы друг другу бы пели. Однако нет времени на жалость, как нет времени пахать волами. Порядок выражается в том, что всё больше людей на год вперед знают, чем будут заняты каждый день, и при этом убеждены, что, если поискать свободных граждан, так это они и есть.

В скором будущем профессиональный идиотизм станет тотальным и еще до прихода метаязыка потомки перестанут понимать тексты, даже столь примитивные, как этот.

В трехмерной виртуальной реальности, скажем, Лувра, я слышу пришептывающий голос. Он шепчет что-то интригующее и неожиданное, не знаю, о ком, может, о Моне Лизе. Голос шепчет мне во сне, я хочу вслушаться в слова, мне кажется, что я вот-вот их пойму, как вдруг становится ясно, что понимать нечего. Ничей это не голос, просто шум ветра, играющего то ли охапками упавших листьев, то ли пучками пожелтевшей травы. И если я выбрал ветер, то и с чем ему играть — это, на самом деле, тоже мой выбор, потому что голос виртуален, как и всё остальное в моей Душе.

Через посредство совсем не сложных датчиков в шлеме я осуществляю сознательную и подсознательную обратную связь. Хочу — с собой, хочу — с другими. *Вызванные потенциалы мозга*, используемые в диагностике болезней и в детекторе лжи, а вот сейчас — еще и для управления компьютером, готовы стать дополнительным средством общения.

Прощай, привычка мыслить именами существительными и прилагательными, оживляя застывшие картины с помощью глаголов.

Прощайте, писатели и кинорежиссеры! Откуда мне знать, как будут называться новые повелители умов?

Впервые я попал во Флоренцию на один день, и это был тот день недели, когда закрыты музеи. Уже к обеду я был даже рад этому обстоятельству. Собор снаружи и Баптистерия изнутри привели мои чувства в умиление. Чтобы насладиться, я забрел в небольшой тенистый парк, заполняющий квадратную площадь.

Испытывая блаженство от прохлады, я присел. На соседней скамейке красивый бородач лет двадцати читал книгу. Вот он встал и пошел к телефону, а я подумал, ввиду легкости его походки, небрежно-изящной одежды, умного взгляда больших глаз, брошенного на меня из-за золоченой оправы, еще когда я подходил, я подумал, что вот он, Европеид, достойный наследник Накопленного Настоящего, флорентийский сгусток которого стоит сейчас в моем сердце.

Что же ты читаешь?

Открытая книга лежит на скамейке. Пока человек будущего, спиной ко мне, разговаривает по телефону, я привстаю и вижу комиксы.

Безусловно, я был изумлен в силу собственной ограниченности.

Потому что мой alter ego увидел в красавце-бородаче не молодого дуралея, а жизнелюбивый росток в новый мир — в тот мир, где самый мощный природный канал информации не будет занят неэффективным «последовательным кодом», то есть последовательностью слов.

А пока, вот тут и сейчас, я стараюсь сшить белыми нитками листы совсем разных историй в продолжающейся попытке понять.

Тем самым отдаю должное страсти безусловно врожденной и повинной в том, что мы движемся с листа истории на лист, изменяясь так же непостижимо, как изменялись виды.

Сжатие миллионов лет в срез осадочных пород предоставило нам возможность увидеть смену Царств.

Теперешняя революция происходит с такой скоростью, что, если судить по обилию отходов в срезе культурного слоя, один нынешний год, говорят, эквивалентен миллиону древних.

Закусив удила, богатая часть человечества мчится в компьютерный мир, в немируемое Царство Глаза.

Движение носит характер обвала.

Неизвестность — не самое легкое из испытаний. Поэтому пусть и Обвал, но очень хочется хоть как-то себе представить — куда. Куда?

Я вспомнил, как точно понимает собака настроение, передаваемое словами, и как странно при этом, что она не может понять простой смысл слов.

То же самое происходит со мной, когда я слушаю музыку.

Я вспомнил, что музыка изменяется вместе с Временами. Всякий раз, когда приходит новая, ее сначала не понимают, а потом нельзя себе представить, как можно было не понимать.

Кстати, что это, как не свидетельство того, что мы изменяемся непостижимым для себя способом?

Я подумал: а вот бы эти изменения стали происходить по тайному сговору наших Душ, живущих с нами, хотя и в несколько ином мире. Была бы забавной история, как они тоже испугались Обвала и, сговорившись, захватили власть.

*Можно ли сочинить такую историю, используя слова?*

Я вспомнил, что само слово *сговор* предполагает обмен словами, и понял, что хожу по тонкому льду.

Очень тонкий лед в пределе, как сказал бы математик, — это отсутствие льда. И ничто мне не мешает представлять себе всё, что я могу себе представить.

Несмотря на это, остается совершенно очевидным различие, к примеру, между сном придуманным и настоящим. Это различие состоит в том, что настоящий сон я видел, а придуманный — мог себе представить.

Наука говорит, что внутри каждого из нас живут как минимум двое — по числу полушарий мозга. Впрочем, в себе я нахожу троих. Сколько бы нас ни было, мы — Братья.

Мне показалась красивой история о том, что сны — это письма *от Брата к Брату*. Еще более красивой мне показалась история о том, что иногда мы собираемся вместе.

Я подумал: вот была бы красота, если бы это случалось в те моменты, когда «Я» чувствует, что ему диктуют, когда безгласно присутствует мысль, что сейчас диктант закончится и можно будет прочесть, что написано, и стать счастливым, и уже никогда не сомневаться, что это правильно — молиться на ночь.

Я замечтался: а вот бы всё, что я написал, было правдой — и Стена, и Окно, и Сторож — и даже число и имена Братьев.

А еще: вот бы ночью, во сне, меня взяли, чтобы показать тот мир, в котором мы живем, чтобы я наконец увидел, где живу.

Я бы поклялся сохранить тайну.

Я готов и поклясться и, если надо, увидев, умереть.

А может, для сохранения тайны умирать и не надо?

Потому что если я пойму смысл музыки, если я, снова взглянув на Мону Лизу, прозрею, то чем могут оказаться эти *пойму* и *прозрею*, кроме как *почувствую* и *поверю*?

Если только я, такой как есть, понять и прозреть способен.

Мне это не приснилось, так что не обязательно мне верить, будто я вернулся и стал счастливой говорящей собакой.

Захотелось, пока не поздно, произвести инвентаризацию: что же в этом мире действительно мое?

Мне стало жаль, что я уже стар и что поэтому ответ на мой вопрос не так прост, как если бы я сидел в песочнице — и все мои сокровища были наперечет — и я точно бы знал, от кого их надо оберегать, а с кем не мешало бы поменяться.

Вдруг я понял, что поскольку я уже стар, то ответ на мой вопрос еще проще: мое — всё, что я увидел, узнал и почувствовал.

Я мог бы ответить просто:

«Всё», — но такой ответ философски тенденциозен, а мне не хочется ни с кем спорить, тем более что я знаю, *как* мне возразят.

Вместо «всё» они скажут:

«Ничего».

И самое смешное, что тоже будут правы.

Я хочу себе поклясться, что остаток жизни ни с кем не буду спорить.

Я хочу себе поклясться, что буду только слушать, а если говорить, то только для того, чтобы в ответ услышать.

Поскольку я уже понял, что в этой жизни почему, то мне известно, что нет ничего дороже, чем опыт познания.

Начиная с какого-то момента он превращается в опыт самосознания.

И мне кажется, что я способен испытать настоящую любовь только теперь.

Вот только теперь полюбить страшно — думаешь: а вдруг любимая умрет раньше?

И вдруг мне становится понятной странность моего существования: я свободен на поводке.

Поводок — это отнюдь не метафора тесноты в муравейнике, а элемент встро-енной в меня Системы Счастья.

Она награждает и наказывает неумолимо и неминуемо.

Ее возможности несравнимы с возможностями даже самого тираничного из когда-либо существовавших государств.

Вот и сейчас я дошел до доступного мне края, поводок натянулся, и я подумал о любви.

Потому что на самом деле

*не о чем больше думать!!!*

Мечта некоего автора состояла в том, чтобы натянуть поводок как только можно и, рискуя навлечь гнев Хозяина, оставить на Стене пахучую метку.

Зачем Хозяину хлопоты с поводком? Почему бы не отпустить нас на волю?

Вдруг во мне рождается подобострастная к нему жалость.

«Хозяин, где ты?»

Мой ум окидывает доступную реальность в поисках объекта.

Я ищу Его, он должен быть скромным, честным и трудолюбивым.

Прижатый к земле текучкой жизни, смиренно и с достоинством несущим ежедневную заботу о своем стаде.

Я ищу Его, потому что не могу же я пожалеть Идею!

Я буду сумасшедшим придурком, если стану жалеть Молекулу.

Даже если сочиню комикс, как Молекула прилетела на Мертвую Планету и упала в Стерильный Океан.

И, как оказалось, достаточно одной программы самовоспроизводства, чтобы в наборе простейших желаний материализовалась Воля.

Я не стану фантазировать, как желание съесть превратилось в мечту увидеть — и появился Глаз.

Потому что другие посмеются надо мной и вынут Глаз из глубин потерявшего стерильность Океана, где, как и на безжизненном пока острове, тоже есть свет и тень и где выжили те из молекул, в которых *случайно* образовался код постройки прибора, отличающего свет от тени.

Для оживления картины я мог бы поместить на Острове Робинзона, чтобы тот не терял времени, сидя на берегу, а принялся считать все эти случайные изобретения, как только монстры начнут тянуться из Вод на Сушу.



Комикс без Робинзона будет скучен, потому что согласно нашему бессознательному убеждению на этом свете что-то происходит, только попадая в чей-нибудь внутренний мир.

Мне не просто чужда картина, согласно которой сознательное «Я» — вместилище для бессознательной Молекулы. Признавая за такой картиной научность, «Я» знает, что картина неверна.

Сладкая пытка, которой я подвергся, начав писать этот текст, обострилась и в сладости и в мучении.

Вчера я закончил писать в эйфории свершения и сегодня утром не изменил во вчера написанном ни единого слова.

Это не по той причине, что я считаю написанное совершенным, а просто потому, что, заменив слово или два, уточнив или обострив выраженную мысль, я все равно ничего не изменю *по сути*, а с сутью я и на свежую голову согласен. Суть состоит в том, что я не хочу в очередной раз клясться, что я не автор этого текста, поскольку текст развивается сам по себе, а я — доживаю тоже сам.

До того, как начать стариться и болеть, я родился, рос, тоже болел, и всё это было помимо моего желания, а значит — и не вполне при моем участии: это происходило *со мной* в то самое время, когда я сам жил и желал.

Живу и желаю.

Пока жив, я желаю хоть что-нибудь понять из того, что в действительности со мной происходит. И как только задумаюсь глубже какого-то предела, тут же чувствую себя на поводке.

Те, кто об этом думал и счел нужным своими мыслями поделиться, приходили к выводу, что для внутреннего спокойствия необходимо либо смириться с неизвестностью, либо принять идею Бога.

Читая умные книги на эту тему, я, как правило, не мог избавиться от ощущения, что те, кто убеждает меня в своей Вере, сами *не уверены* — и хотят поверить, убедив меня.

Суммируя свой опыт с доступным мне опытом других людей, я прихожу к мрачному выводу: чтобы поверить, нужно специфическим образом поглупеть.

Я вспомнил колокольный звон, удары которого были так редки, что после каждого из них жизнь успевала превратиться в ожидание следующего удара.

Мысленно я вернулся к церкви, где как раз собираются люди, и стою у входа.

Церкви больше семисот лет, так что камни кладки побывали во внутренней бесконечности многих поколений, и я испытываю общность с предками.

Их постройки я вижу, их музыку понимаю.

Точно так же я понимаю, чем вызвана непривычная, иногда непонятная, научившаяся быть громкой даже в тишине между приступами звука музыка тех, кто живет одновременно со мной.

Ее вызвали к жизни новые реалии, с которыми пока еще трудно примириться.

Я подумал, сколько чудес мы могли бы отвезти предкам на тот берег или — при наличии машины времени — вверх по течению Реки. С новостями мы сживаемся постепенно. Если они неприятны или непонятны, стараемся их не замечать. Услышав суровый приговор, разве не естественно думать об апелляции или мечтать о побеге?

Читая подшивки старых газет, я испытываю набор сменяющих друг друга странных чувств.

Вначале появляется ощущение, как если бы я подглядывал в окно за чужой жизнью.

Потом я оказываюсь умным, и мне становится жаль прошлых людей, потому что они оказались неспособными предвидеть.

А потом мне становится страшно. Я прозреваю: все мы нынешние — тоже дураки.

Простейший анализ событий моей жизни показывает, что предвидеть неприятности было в большинстве случаев проще простого.

В истории я не эксперт, но и там, судя по всему, примеров политической близорукости несравнимо больше, чем провидческих решений.

Прихожу к выводу, что неспособность предвидеть будущее произрастает из страха увидеть жестокою правду настоящего.

«Друг мой, — говорю я себе, — ты действительно дурак».

Говорю из досады, что правда так жестока, а диагноз столь тривиален: у нас предохранительная слепота. Только она и позволяет жить, а иногда даже веселиться.

Начиная свое исследование, я рассчитывал облегчить доступ к Счастью. Я хотел заниматься этим свободно и весело, чтобы исследование вышло веселым. Потому что невеселый текст о самом себе я и сам бы не читал. А в силу липкости Души хочется, чтобы тебя читали.

Я думал и записал, что «в свободе мыслей меня не ограничивает ничто, кроме Стены».

Теперь я вижу, что эта точка зрения была наивной, и потому текст не получается веселым.

Потому что очевидными стали некоторые особенности моего устройства.

Я родился с инструкцией в мозгу, как управлять моим телом.

Мозг делает это бессознательно, то есть без меня.

Инструкция предписала открыть глаза и смотреть, а уши достались мне постоянно открытыми, чтобы я слышал.

Я попал в мир и почувствовал свободу выбирать, на что смотреть, что и кого слушать. Мне показалось, что я могу выбирать, *чего хотеть*.

Из этого я сделал вывод о свободе моей Воли.

Я наивно повторял за другими, что можно пленить тело, но не Душу, понимая под Душой свое «Я».

Вошедший в меня Мир казался мне истинно моим достоянием. Несколько страниц тому назад я искренне заявлял, что всё, что мне удалось за свою жизнь в себя вместить, — уж точно мое.

Где, как не в своем мире, я *волен* быть свободным?

Теперь я понимаю, что правильным ответом на этот кажущийся риторическим вопрос будет:

«Нет, и там не волен!»

И даже поводок тут ни при чем, потому что я не волен всегда и везде.

Потому что Инструкция предписывает не только, *как смотреть*, но и *что видеть* и что при этом ощущать.

Потому что предохранительная слепота — это лишь малая часть избирательной зоркости, когда из всего увиденного выбираешь, а из избранного составляешь, — и тут становится понятной условность диктанта, потому что без метаязыка ни образ, ни запах не продиктуешь.

Напоминаю, что и запах сирени, и определенные черты лица особенны при первом предъявлении. Чтобы «Я» могло разложить всё по полкам, недостает только слова «красиво».

Я могу напомнить и про врожденный страх перед зубастой пастью. Сейчас самое время возникнуть кому-то бородатому и в очках, да только это будет не читатель комиксов, а почитатель Юнга. Он скажет слово «архетип».

Пользуясь случаем, передаю привет Профессору, которого бесконечно уважаю. Я уверен, что, встретившись, мы не поссоримся. Он мне скажет, что я перепеваю его песни, но я уверен, что всё же похлопает меня при этом по виртуальному плечу и дальнейшая беседа будет дружеской и содержательной.

«Чем ближе, тем страшнее», — пожалуйюсь я ему.

Я буду жаловаться как свидетель процесса, который он предвидел.

В детстве я любил бродить по оврагам. Постучав твердым камнем по рассыпчатым белым камням отвесного склона, я находил на обломках отпечатки моллюсков, а иногда — зубы рыб.

«Когда-то тут был океан», — объяснил мне Отец.

Я понял, в чем смысл Стены и Поводка: за Стену я не только не могу попасть, но даже заглянуть. Я могу лишь догадываться о существовании недоступного для меня мира.

Поводок — мера свободы. Он не позволяет сделать лишнее в мире, отпущенном мне для освоения.

Поэтому не исключено и даже очень похоже, что Поводок — это повод для оптимизма. Как и Окно, из которого я получаю пищу для догадок, он позволяет надеяться, что за мной наблюдают.

Я не хочу расслабляться и предлагать теорию, что не просто наблюдают, но и заботятся. В эту сказку я не верю — и не могу не верить.

Я не люблю мелодраму и поэтому отвергаю возможность того, что Счастье служит наградой за хорошее поведение улыбочным и разумным Рабам Божьим. «Человек создан для счастья, как птица для полета», — бросил крылатую фразу классик. Если поразмыслить, зачем летает птица, с этим можно согласиться.

Мотивация — рабыня светлячка эмоций, а я — раб мотивации.

Свет эмоций поддерживался вопросом, который стал вызовом для заканчивающего жизнь меня.

Как быть счастливым? — звучал этот вопрос. Мне он казался вполне оправданным и посильным, потому что иногда я мог сказать о себе:

«Я счастлив».

Значит, во мне есть Механизм Счастья, важно лишь обеспечить хорошую его работу.

Вместо ответа я нашел новые вопросы, и утешением может служить лишь практический опыт жизни, который свидетельствует, что новые вопросы возникают при умножении знаний.

Вывод, сделанный по этому поводу в Книге, звучит так:

«Сердце мудреца в доме скорби».

Отвечаю смирением на этот призыв к мудрости.

Я готов принять и поверить, что на многие вопросы ответить может только смерть.

Однако это не означает, что надо оставить всё предприятие в беспорядке.

Просто пора подвести итог.

Я испытываю судьбу, сознательно считая себя готовым к дальнейшему восприятию диктанта.

Мне кажется сейчас, что нет никакого текста позади, мне кажется, что я только сейчас начинаю, и я спрашиваю:

«Неужели вся изощренная сложность устройства Жизни только для того, чтобы «Я» было способно думать и сознать?»

Придет ли то, что я предчувствовал в качестве ответа, но что не стало словами, потому что осталось за Стеной?

«Вначале было Слово... И Слово было Бог».

Я бесконечно далек от того, чтобы комментировать Книгу, но все метафоры — оттуда, так что нам остается только Книгу перепевать, хотя смысл песен непрерывно меняется, и скрытое от слов Чудо — в постоянстве взаимоотношений между Книгой и всегда *по-старому новой* жизнью.

Короче говоря, «ничто не ново под луной».

Вот и я еще раз перепою:

«Все началось со Слова».

Только я имею в виду не сотворение Мира, а сотворение Внутреннего Мира, когда Контролер Проб и Ошибок, гордый способностью совершить акт охоты в воображаемых Времени и Пространстве, вдруг осознал также и способность сознавать гордость — и сказал себе: «Я».

Мне показалось, а может, наяву приснилось, как Контролер, принадлежащий другому миру, услышав это «Я», обрадовался, а может, даже почувствовал себя счастливым.

И вот странная совокупность мыслящих существ осознала себя в животном Царстве и подмяла это Царство под себя.

Раскопки показывают, что всё шло к тому: почти сразу возникло несколько ветвей человекоподобных обезьян. На одной из них возникли мы.

Говорят, что, когда Наполеон был еще генералом, два других молодых генерала тоже подавали большие надежды, но были убиты.

Мне боязно фантазировать на тему: «Что всё это значит?».

Потому что время — решающий фактор во всех действиях и ожиданиях моей смертной сущности.

Едва я говорю «ожидание», как тут же из внутреннего тезауруса выпрыгивает «нетерпение».

Что же общего у меня с Контролером, который мог ожидать моего появления долгие миллионы лет?

Я прихожу к выводу, что такой Контролер ожидает не меня.

Я вынужден сообщить продолжающим молиться братьям и сестрам:

«Ожидают не Вас».

Не могу сказать, что я так уж готов не только стать ничем, но и ощущать, пока живу, свою никчемность.

Не могу сказать, что я совсем свободен от ревности к Тем, кого ожидают.

Поэтому то, что я пишу, — послание не только к братьям и сестрам, но и к Ним. Туда.

Я уверен, что, когда исчезнет нужда, а значит, и способность читать тексты, некоторые из них будут переведены на метаязык.

Это, я надеюсь, будет нужно в силу необходимости изучать русло Реки Времени. Моя *mania grandiosa* не столь фатальна, чтоб я задумался в связи с этим текстом о Новом Росетском Камне.

Но я чувствую в себе силы и хотел бы взглянуть на перевод.

Мне никто не предлагает, поэтому я храбро заявляю, что готов ради этого немедленно умереть.

Впрочем, кто знает, как бы я себя повел, если бы действительно предложили.

«Может, и впрямь был бы готов», — написал я и стер — и вот написал вновь, потому что понял: в ту же секунду, когда мне предложат, я стану другим.

Потому что это будет равноценно тому, что над собором повис голубь.

А это значило бы, что

«ЕСТЬ!»

И несмотря на то, что если *есть*, то кто знает, может, и жизнь покажется смертью, но все равно возможность запаха весной. Этот запах не обязательно входит в нос, но всегда проникает в кровь.

Каждый знает, что при этом происходит с кровью.

После всего сказанного я буду просто никчемным пустозвоном, если уйду от вопроса:

«Кого же ждут, если не нас?»

Пусть ограниченная Поводком, пусть выгороженная Стеной, пусть только представляющаяся своей, всё же у нас есть Воля. Так разве нам нечем гордиться?

Поэтому скажу иначе:

«Если не Мы, то кто же? Пусть другие, но Мы».

Я не знаю, почему случается смена Царств.

Для меня тайна, почему у динозавров не получился Разум.

Я не знаю, почему понадобились миллионы лет, чтобы появились Мы.

Я не знаю, нужны ли Мы кому-то.

Процедура охоты, если судить по данным раскопок, оставалась без качественных изменений почти сто тысяч лет. Мне совершенно непонятно, почему мы так долго спали, а теперь проснулись.

Меня удивляет, между прочим, почему Архимед не придумал, к примеру, пароход.

Так что сейчас мы уже не спим. Миллионы братьев и сестер заняты наукой.

Количество знаний растет с такой скоростью, что точно так же, как пришлось придумать самолет, чтобы летать, точно так же пришлось придумать компьютер, чтобы с его помощью думать.

Но и компьютер уже не спасает брата, если тот хочет быть не то чтобы выдающимся, но просто честным профессионалом. Компьютер не спасает его от профессионального идиотизма.

Я вижу старого Профессора, по привычке пришедшего в оставленную для него в подвале факультета Христа ради каморку. Он садится за стол и включает компьютер — не только по привычке, но и чтобы осуществить связь с мировой паутиной, проверить электронную почту: там будет послание от такого же, как он, Джона. И хорошо, если оно не будет сообщением о том, что умер Питер.

Профессор много знает. Но он уже не может быть уверен в том, что его знание по-прежнему истинно.

Чтобы знать достаточно, была положена вся жизнь — и больше ни на что не осталось времени. Если уж быть до конца честным, то даже на то, чтобы узнать достаточно, времени не хватило.

Неосознанная — а кто знает, может, и осознанная — трагедия Профессора в том, что ему пришлось жить в конце листа истории, когда перемены уже назрели, но еще не пришли.

У нас с Профессором — общая трагедия. Мы уйдем на тот Берег до того, как перевернется лист.

Если уж я заговорил о Береге, то почему не вспомнить о Реке, которую придется переплыть, чтоб оставить в ней груз нынешних забот. Переплывая, я увижу — да что там, кажется, я уже вижу — тот самый поворот, за которым вслед за общим Внешним Миром таким же общим станет и Внутренний Мир: думать станем вместе.

Вдруг я понял, почему всё происходящее так ускорилось. Диктант заставляет меня обратиться к Вам, Братья и Сестры, с сообщением:

«Мы — свидетели новой смены Царств».

Я задумался о том, как странно всё складывается.

Мне не хочется даже говорить, что всё это складывается в моей голове.

Потому что я предчувствую появление неприемлемой картины.

Я рад, что мне диктуют и что я тут ни при чем.

Если быть совершенно честным, то я действительно не знаю степени своего участия.

То, что я сейчас скажу, написано давно. Я счел мысль тривиальной и отправил ее в коллекцию выброшенных фраз. И вот, не приемля самого себя, вынужден констатировать:

«Личности конец».

Я думал о профессиональном идиотизме, неизбежном для всех специалистов вследствие перегрузки специальным знанием.

Я еще не знал, что это хотя и не шутка, но если посмотреть с высоты птичьего полета — мелочи жизни.

Я еще не знал тогда, к какому выводу буду приведен.

Мне казалось, что повисший без видимой причины над собором голубь явил бы собою чудо. Сейчас я понимаю, что если бы это действительно случилось, то мигом бы нашлось объяснение.

Я имею в виду, что мы так устроены, что к настоящим чудесам не восприимчивы.

Мы готовы к восприятию только таких чудес, которые не противоречат игре в Свободу Воли. Чтобы можно было верить и не верить.

Возможно, мы хотели верить, но мы точно не хотели подчиняться.

Последняя фраза написана в прошедшем времени, потому что:

«Роскоши выбора тоже конец».

Тем самым я заявляю, что понял, почему *пришедшее новое* означает не только смену Царств, но еще и конец Свободе Воли, а значит — и конец Личности.

«Потому что наше знание стало опасным для эгоистической Молекулы».

Побуждение записывать, которое я до сих пор испытывал, исходило изнутри. Я, конечно, участвовал в мероприятии, но вел себя смирно, а в часы диктанта вообще прятался. Сейчас, когда дело идет к концу, я стремлюсь вмешаться, потому что мне кажется, что я понял сюжет.

Неужели предстоит борьба с самим собой? Я оглядываюсь вокруг в поисках поддержки и вижу последний момент покоя перед весной.

Обнажившаяся зелень травы еще не восстала. И если говорить о *сегодня и сейчас*, то я не слышу ни одного птичьего голоса.

Впрочем, я сижу у маленькой горной реки, и она шумит.

Я испугался, что у меня, может, и не будет шанса узнать, поют ли птицы у шумных горных рек, потому что завтра меня тут уже не будет. С одной стороны, я уверен, что поют, а с другой — я знаю, что уверенность — это еще не правда.

Итак, мое «Я» проявилось, потому что ему перестало быть страшно за успех предприятия. Даже если диктант закончен, ему ясно, к чему всё идет:

«Молекула боится, что мы понаделаем монстров и погубим всё, для чего нас растили миллионы лет».

Не могу решить, как назвать то существо, которым я себя ощутил. Не буду настаивать, что так уж обязательно *оно* похоже на червя, но вот с муравьем, сомневающимся, каким из множества ходов, ведущих в муравейник, воспользоваться, общее точно есть.

Я показался себе частью чего-то настоящего, потому что оно существует помимо меня.

Немного отойдя от реки, еще слыша ее шум, я уже услышал и птиц.

Вдруг я потерял уверенность, в каком мире я иду — во внешнем или во внутреннем. И поразительным образом моя неуверенность убедила меня, что хоть я и не могу сказать, что такое «Я», но живу вместе с Пониманием.

Если бы я прозрел к метаязыку, может, я смог бы сделать обратный перевод и

написать вот сейчас, что же я такое *понимаю*. Да только кто бы подтвердил, что мне это не кажется, что я на метаязыке всё же лепечу или, может, улыбаюсь, хоть мгновениями, хоть иногда?

Поэтому скажу, как умею:

«Я — живая кукла. Мой Кукловод — во мне. Работает даже не на полставки, потому что Я — не главная его забота».

«Хранитель Предания» — так я пытаюсь определить Кукловода без страха быть опровергнутым, но и без надежды на похвалу.

Вдруг мне становится понятной — что бы вы думали? — тайна Моны Лизы.

Мало того, я сейчас эту тайну обнаружую:

«Ее взглядом Кукловод выглядывает из нас и на нас смотрит».

Мир показался черным, но видимым.

«Щемящее желание иметь детей», — произношу я не относящуюся к делу, просто щемящую фразу.

«Что там кричало громче — красное пальто или черная шляпка?» — возникает вопрос по тексту.

Не могу сказать, что мне страшно в черном мире. Не страшно, а чудно!

Потому что, несмотря на черноту, стало как никогда прежде ясно, что среди нас происходят другая жизнь и другое общение, в котором враги — не враги, а друзья — не друзья, потому что нет там ни таких слов, ни даже таких понятий.

«И все-таки странно», — не могу я удержаться от антропоцентрического замечания.

Но, невзирая на странность, я уверен, что если и не прикоснулся к тому *настоящему*, виртуальной частью которого являюсь, оно существует, а значит, прикосновение возможно.

«Та самая уверенность, что не обязательно обернется правдой», — повторил бы я себе, но сейчас не время выламываться. Я у своего предела, и мне всё равно, жить или умереть.

Недолгая секунда блаженного равнодушия, к сожалению, пройдет. Вот уже и прошла, но она *была*, и я знаю, откуда приходила: Кукловод передал привет — секунды ему для меня не жалко.

Я знаю, что Кукловод не признается в своем существовании, он до самой моей смерти будет сохранять за мной священное право верить и не верить.

«И умрет вместе со мной», — говорю я в попытке хоть как-то самоутвердиться.

Мне показалось, что главное имя Кукловода — Воля.

Мне показалось, что это — не Его и не Наша с Ним Воля.

Не Его, потому что предназначена стать Нашей, но и не Наша, потому что не Наша *еще*.

«Дамы и Господа», — обращаюсь я к Сестрам и Братьям. Поскольку я делаю это молча и в одиночестве, то никакой ответственности за свои слова не несу:

«Дамы и Господа, не ищите иронии в моем обращении, я такая же живая кукла, как и Вы».

Я вспоминаю чувство, с которым в детстве разглядывал карту мира, но знаю, что научиться эмоциям невозможно, их надо *испытать*.

Если костер гаснет, недостаточно дуть на уголья, надо положить новые дрова.

Наверное, я ухожу в уголья. Видимо, я уже достаточно наговорился, так что сейчас для меня наступил момент «арифметической» истины, когда я должен подвести итог и простыми словами сказать, что же такое *метаязык*:

«Это средство общения, которое передает образы, а не сообщения об образах, эмоции, а не свидетельства эмоций».

Образы и эмоции станут общим достоянием. Объединенный ум вырвется из трехмерной клетки и сумеет представить, как же устроен истинный, говорят, *десятимерный* мир.

Я могу мечтать, *как всё будет* — и какими станем новые мы — и каким окажется новый — *общий* — мир. Светлые фантазии — разве это не радость?

И вот, мой потомок никогда не будет одинок в своем несчастье, и никто уже не сможет — *даже если очень захочет* — испытать Одиночество На Кресте.

Я только не знаю, почему радости нет.

Не дает покоя карта мира.

Снова стою перед ней, как в детстве, и не могу отвлечься, словно это картина-загадка, в которой кого-то или что-то надо найти.

Вот что не дает мне покоя: на карте все реки — рано или поздно — впадают в Воды.

Вдруг суша показалась мне островом, а я себе — одиноким Робинзоном.

Мне хочется думать о том, как спеют на острове, набираясь соку из общего корня, гроздья винограда, открытые для Солнца, заполняющего каждую ягоду светом. Я готов стать счастливым от этих мыслей, но меня отвлекает необходимость считать монстров, начавших возвращаться с Суши обратно в Воды. Один из них остановился и окидывает остров прощальным взглядом.

Вот он смотрит на меня, и дай Бог, чтоб это был сон, потому что он смотрит глазом акулы.





## «Если бы можно было иметь ключ от сердца...»

ПЕРЕПИСКА АЛЕКСЕЯ ЛОСЕВА С ОЛЬГОЙ ПОЗДНЕЕВОЙ\*

Эти письма были найдены случайно. В 1997 г. в старом доме на Арбате второй год длился капитальный ремонт. Подошла очередь ремонтировать и квартиру, где прожил более сорока лет А. Ф. Лосев. В другую часть дома стали переносить вещи, книги. Последним из дальнего угла кладовки переехал на временное жилье и маленький железный сейф М. В. Соколова, лосевского тестя. В этом сейфе вместе с документами самого М. В. Соколова нашли мы с Виктором Троицким пять небольших, в ладонь, книжечек-блокнотов, исписанных карандашом. Это несколько месяцев переписки — с осени 1909 г. до весны 1910 г. Ученик седьмого класса Платовской гимназии шестнадцатилетний Алексей Лосев раскрывается с самой интимной стороны — в своей любви.

Когда в 1914 г. Лосев решает подвести в дневнике\*\* некоторые итоги прожитого и пережитого, он вспоминает тех, кем был когда-либо увлечен — серьезно или мимоходом. Перечень длинный — целых 42 «номера». Это не список одержанных любовных побед, это список тех, кто затронул его сердце, кто заставил его почувствовать, «что надо любить и забыться в любви, чтобы быть абсолютно счастливым». Часто сам Лосев не знал, ни кто они, ни как их зовут, он просто помнил прекрасные девичьи и женские лица, случайно выхваченные взглядом из толпы. И вот в этом списке под «номером» 21 стоит имя Ольги Позднеевой с пометой «15 ноября 1909 — 24 марта 1910». По списку двадцать первая любовь, а в сущности, первая, потому что только теперь чувство любви перестало быть тайной одинокого мечтателя. «До вашего знакомства я не жил сердцем, я жил только умом. У меня была предметом обожания только наука, наука и наука, вы же первая пробудили во мне сердце, и вы первая стали тем предметом, к которому можно было возноситься сердцем», — писал Лосев в «одном из писем к Ольге Позднеевой».

Кто же она, Ольга Позднеева?

Свои казачьи корни Позднеевы прослеживали начиная с 1610 г., с казака Ивана из села Промклев на Дону. Отец Ольги — Владимир Матвеевич Позднеев — был учителем духовной семинарии, преподавал и в епархиальном училище. Дядюшка, брат отца, А. М. Позднеев, доктор монгольской и калмыцкой словесности, жил в Петербурге, был почетным членом Императорского общества востоковедения, а с 1903-го по 1917 г. член Совета Министра Народного Просвещения. У Ольги было два старших брата-погодка Александр и Матвей. Духовная атмосфера в семье была прекрасная. В доме была хорошая библиотека. Вечерами устраивались концерты. Отец играл на скрипке, мать аккомпанировала на рояле. Старший брат — Александр (впоследствии профессор, доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе) организовал скрипичный квартет, куда, кроме него самого, вошли его товарищи — гимназист А. Манохин и два семинариста — В. Афанасенко и Г. Попов. Они выступали в гимназии, в семьях гимназистов и в доме Позднеевых. В 1909—1910 гг. квартет собирался пятьдесят семь раз. Играли Моцарта, Бетховена, Чайковского, Бородина.

Дом Позднеевых находился напротив мужской Платовской гимназии — большого двухэтажного здания, растянувшегося на целый квартал, перед фасадом которого росли громадные пирамидальные тополя. Гимназическая церковь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была открыта для всех, кто жил по соседству. Возможно, именно здесь, в этой церкви, впервые и увидел Алексей Лосев Ольгу Позднееву.

Брат Ольги, Матвей, поступил в гимназию в 1903 г. вместе с Лосевым, был одним из ближайших его друзей. В то же время Лосев брал, как и другой ее брат, Александр, уроки скрипки у Ф. Стаджи. Просить Матвея Позднеева о знакомстве с его сестрой Лосев не решался, но долго таить свое чувство тоже не было сил.

\* Публикуется в сокращенном виде.

\*\* Фрагменты дневников 1911—1917 гг., см. «Октябрь», 1998, № 10.

И он начал писать. Сначала это были робкие пометки в школьных дневниках Матвея напротив имени Оли. Затем он рискнул послать ей письмо по почте. Потом, уже по взаимному согласию, появилась первая маленькая книжечка-блокнот для переписки, которую можно передавать друг другу через Матвея — в его благородстве, в неспособности читать чужие письма не сомневалась ни одна из сторон. Только когда все признания и объяснения в любви были сделаны, была назначена первая встреча 15 ноября 1909 г. в новочеркасском театре. В антракте Лосев осмелился подойти и заговорить с Олей.

Ольге Владимировне Позднеевой в это время шел пятнадцатый год, и, как сама признавалась в письмах, еще не было и года, как она перестала играть в куклы. Но, читая ее письма к Лосеву, трудно поверить, что их пишет еще почти ребенок, — так они страстны, так взрослые. Ольга была существом болезненным, страдающим малокровием и нервами, девочкой, у которой каждую минуту разное настроение, для которой мысли о смерти так же привычны, как желание поерундить. Она любимая дочь, она имеет верного и нежного друга — свою мамочку, но это не избавляет ее от ощущения одиночества. Жизнь героев, пока длится их переписка, вроде бы ничем не примечательна: он учится с утра до вечера, она то болеет, то временно выздоравливает. Она мечтательница и кокетка. Он — неутомимый труженик. Ему шестнадцать, но вот он весь — будущий Лосев — во всей своей цельности, в полной осознанности своего предназначения: «Да, да! всю жизнь писать и читать, читать и писать. Понимаете, детка, всю жизнь! Какой теперь А. Лосев, такой через год, через два, через всю жизнь». Недаром подписывает он одно из писем — «будущий доктор философии А. Лосев».

Как только его милая и дорогая сестрица Оль-Оль вроде бы начинает поддаваться воспитанию, брать с него самого пример и полностью отдаваться учебе и занятиям, как только ожидание взаимности оправдывается и перестает быть для него тайной, так происходит разрыв. Оля Позднеева легко и с какой-то женской естественностью привыкает к любви. А Лосеву нужна душа, не умеющая свykаться с любовью, со счастьем, с сердечной лаской, не устающая радоваться и удивляться чуду взаимной любви и сродства, душа, стремящаяся вдаль, ввысь к лазурному небу, к вечному, к Богу. И такую душу он будет искать. Впереди переписки с Верой Знаменской, с Надей Уваровой, с Евгенией Гайдамович. И каждый раз Лосев понимает — все это не то, все это далеко от идеала, к которому он стремится. Он знает, что для такой любви нужен от женщины «подвиг, а не ощущение, нужна жертва, а не спектакль». И он уверен: «Если не отнимет Господь разум, ни за какие блага не свяжу свою жизнь с чужой без этих родных, святых целей». Только через семь лет после разрыва с Ольгой Позднеевой, в страшный революционный 1917 г. Лосев встретит Валентину Михайловну Соколову. Спустя пять лет, в 1922-м, их обвенчает о. Павел Флоренский. Лосеву нужен был не просто счастливый брак, ему нужен был брак духовный, и этой цели он достиг: в 1929-м чета Лосевых принимает монашеский постриг. Вокруг закрывались монастыри, верующие преследовались как преступники, а они произносили свои обеты, создавали свой монастырь в миру. Так возникали, как писал сам Лосев в письме к жене с Беломорско-Балтийского канала, те «новые и совершенно оригинальные формы жизни, то соединение науки, философии и духовного брака, на которое мало у кого хватало порохов и почти даже не снилось никакому иезуитству из современных ученых, философов, людей брачных и монахов».

Но весной 1910 г. обрывалась первая любовь.

Они, писавшие друг другу горячие признания, спустя год, 20 августа 1911 г., составляют договор в четырех пунктах о разделе пяти книжечек-блокнотов, разделе своего общего прошлого — своей любви. По этому договору перед отъездом из Новочеркасска в Москву, в Московский университет, Лосев получает все пять книжечек-блокнотов. Всякая ли женщина оставит в чужих руках, тем более в руках мужчины, свидетельства своей любви — даже если это и детская любовь, чистая и не омраченная ничем низменным? Не совсем ошибался Лосев в Оле Позднеевой, когда писал ей: «Ваша душа оказалась еще краше, еще чище и еще замечательней, чем ваше лицо...»

Они расстались навсегда и никогда не встречались. Братья Ольги, Матвей и Александр, поддерживали с Лосевым отношения вплоть до своих последних лет. Сама она прожила большую часть жизни по соседству с Лосевым в Москве: он — на Воздвиженке, а затем на Арбате; она — в Мерзляковской переулке, в доме № 13. В Москву Ольгу перевез ее старший брат Александр в 1924 г. В 1918-м она вышла замуж за врача Александра Ушакова. В 1919-м родился сын Владимир, в том же году от тифа умер муж. Большие замуж она не выходила, растила сына. В 1929-м умер ее отец, в 1943-м она похоронила мать. В 1960 г. Ольга Позднеева умерла. Умер и ее сын. В 1988 г. не стало и Лосева.

«И все они умерли, умерли...» Как нравились им обоим, почти детям, эти строки из тургеневского творения в прозе — они выписали его одновременно в одну из первых книжечек-блокнотов.

*В одном из писем к Позднеевой Лосев восклицал: «Или Оля будет моей, или, если чьей-либо другой, я тогда в монастырь». Можно получить ключ от сердца, но получить ключ от судьбы человеку не дано. И эта тайна не становится явью и когда жизнь прожита целиком.*

Елена ТАХО-ГОДИ

### **Лосев — Позднеевой**

Матвей поссорился с Олей.

Но это не помешает тому, чтобы он передавал эту книжку кому надо. *Итак я жду ответа в этой книжке*, которая всецело предназначена для переписки. В «Товарище»\*, кажется, слишком мало места, да там и неудобно. Здесь же свободней.

Р. С. Мотя говорит, что не передает по причине того, что он-де поссорился. Чтобы получить эту книжку, лучше не обращать внимания на ссору с Матвеем.

### **Позднеева — Лосеву**

Какого ответа Вы ждете? На что? Знаете ли, Алеша, я согласна вести переписку в этой книжке, если она будет или Мотина, или моя. Вы так умны, что, вероятно, поймете почему. Да? (Я Вас совершенно не понимаю. У меня Ваши два письма, и оба совершенно противоположные. В одном письме одно, а в другом совсем другое. В последнем Вы кончаете его словами «если Вы... То мы так же скоро разойдемся, как и сошлись». На деле же оказывается другое. Право, напишите, какое письмо надо считать верным?) Еще один *вопрос*: было бы приятно, если бы ответ был утвердительным. «Будете ли Вы учиться танцам и пойдете ли на бал?» Вот и все. Мерси за «спасибо». <...> Ах, как много я написала. Жду ответа *в два раза больше*. Пожалуйста, не пишите ничего философского, а то у меня голова разболится. Ведь Вам, вероятно, Мотя говорил, что мне запрещен всякий труд. Другими словами, полный отдых, книг в руки не брать. И малокровие от усиленных занятий. Не знаю, как 2-го пойду в гимназию. Слабость отчаянная.

*Отвечайте на все.*

### **Лосев — Позднеевой**

Прежде всего я не понимаю, для чего эта книжка должна быть Вашей. Не все ли равно, моя ли она или Ваша?

Ответа от Вас я никакого не жду, а хочу только читать Ваши слова, написанные Вашей беленькой, пухленькой ручкой. <...>

Что же касается Вашего вопроса, какому из моих писем верить, то я на это скажу следующее. Вторым письмом я хотел завести с Вами научную переписку. Это не удалось. Тогда я подумал, можно с Вами переписываться и по другим вопросам. Много тем... Понятно, что нужно теперь признать первое письмо. Да, Олечка. Первое, Олечка! <...>

Слушайте, это что за вопрос? За кого Вы меня считаете? Неужели думаете, что я способен увлекаться пустыми?..

Нет, я не для балов и не для танцев, а для служения науке, для *поклонения прекрасному*.

### **Позднеева — Лосеву**

Право, Алеша, я Ваших писем не понимаю.

Прочтите еще раз свое писание, обратите внимание на поправки и впредь не повторяйте того. И потом, неужели же я спрашивала Вас «пойдете ли на бал», то думала о Вас, что Вы идете только танцевать и в этом роде? Да и мне *теперь* танцы совершенно запрещены, но однако пойду на бал, да и неужели Вы настолько презираете *все*, кроме науки. *Мне очень интересно узнать Ваш характер. Неужели же он весь начинен одними книжками? Неужели Вы никогда не смеетесь?* «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно». А из Ваших писем выходит заключение, что Вы поглощены одной наукой и, кроме нее, для Вас ничего не существует. Странно... <...>

\* Распространенный в те годы тип записной книжки.

Да, еще вот что, не можете ли Вы достать два вальса, конечно, если это для Вас не составит большого труда, «На сопках Маньчжурии» и «Невольные слезы». Если не трудно, то, пожалуйста, а если трудно, то не старайтесь. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

<...> Не понимаю, что мне делать на балу. Ходить, разговаривать? Так это можно делать и дома. Не понимаю, ну что Вы найдете хорошего на балу, Оля? Вы очень жестоки, называя меня «начиненным одними книжками»: ведь я начинен не только ими, но и другим... Чем? Это Вы узнаете впоследствии. Вальсы, которые Вы просили, принесу в понедельник или во вторник. Для фортепиано? Вы играете, Олечка? Она играет! <...>

Простите, что я спешу писать и пишу плохо. Некогда. Ждем попечителя. Сейчас будет письменная по тригонометрии и прочее и прочее, некогда. Написал бы не втрое, а вдесятеро больше, но некогда. Простите, Оль-Оль! «Вечером». <...> Объясните. Только вечером я не хожу никогда. Хожу иногда, раз или два в неделю, в театр, на концерты, на лекции профессоров, в читальню и больше никуда. Ходить на Московскую и гулять с девочками да еще скверными — не в моих правилах. Да! Вы научились подписываться так, как я... И хорошо подписываетесь!.. Ах! Я вас... Так? Поскорей выздоравливайте. Это очень важно для меня. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

<...> Да, новость, вот ведь интересно, когда я читаю Ваши слова, у меня начинают гореть щеки и глаза! Почему? Не понимаю. Ведь и я иногда бываю на Московской, значит, и я... Спасибо, Алеша. Не ожидала от Вас. Пишите больше. Ах, Алеша, как тяжело.

Р. S. Напишите все... *Только правду!*

Вы не поняли моего слова «вечером». Я написала, то есть приписала, это восклицание вечером, а остальное писала днем. Только и всего. Простите, что плохо. Я тоже спешу на Московскую, только за покупками, а потом в церковь. Право, мне тоже некогда. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

Оля! Вы настойчиво требуете, чтобы я написал вам десять страниц. Зачем столько много? Или Вас интересует только количество исписанной бумаги, а не самое содержание письма? Вам, значит, хочется читать, а что читать, для Вас все равно? Тогда лучше взять какую-нибудь толстую книгу и читать, пока не одуреешь. <...>

Итак, я буду писать, что чувствую. Сейчас я только что пришел с театра. Мне более или менее свободно, и вот я сажусь за письмо. Простите, Оль-Оль, что в классе я писал Вам небрежно и грязно, да при том еще и мало. Простите! Ну что можно написать в классе? На переменах все равно не дадут: подойдет то один, то другой, начнет расспрашивать, что да кому пишешь, — какое тут писанье! А на уроках надо преподавателей слушать, чтобы не иметь неприятностей, — вот и судите теперь меня! Уж вот дома так я буду писать, сколько душе моей угодно. <...>

Простите, Оль-Оль! Вы говорили, чтобы я Вам не писал ничего философского, а я вот забылся и начал было повесть своего сердца. Итак, я не могу продолжать дальше говорить то, о чем начал. Ведь Вы же не любите «философского». Узнавайте сами, как хотите, мой характер. О себе я ничего не могу говорить. Со стороны, пожалуй, лучше видно, у кого какой характер. <...>

По поводу слова «вечером». Я называют «скверными тех mademoiselles, которые в ущерб своим занятиям шляются с разными господами, многими гимназистами даже, по разным садам и Московским, которые плохо учатся, плохо ведут себя, которые совершают поступки, непозволительные не только для девицы, но и для каждого человека, которые глупы, тупы, неразвиты. А Вы? Вы редко ходите на Московскую. А если и ходите, то по делам. Вам предписано доктором гулять — это тоже необходимость и гулять Вы должны. Вы учитесь, если не отлично, то достаточно хорошо. Вы прекрасно ведете себя. Следовательно, Вы не из тех... <...>

### *Позднеева — Лосеву*

Да, Алеша, я Вас не понимаю. Я Вас просила написать письмо на десяти листах почтовой бумаги, а Вы написали гораздо меньше и притом в этой книжке. Алеша! *Книжка моя.* <...>

Бросимте этот глупый спор, если Вы хоть *капельку stergō\**, то, конечно, *согласитесь*. Да. Я сейчас только пришла с Московской. Ой, какая там мерзость. Мы с мамой попали как раз в колонну и никак не могли выбраться из нее. Да и интересного ничего абсолютно нет. Все такие скучающие физиономии, что прямо так и хочется спросить, собственно говоря, зачем они пришли сюда. А ну ее, эту Московскую. Поговоримте о чем-нибудь более интересном. <...> Почему Вы так избегаете нашего дома? Ну, скажите, что может случиться с нами?.. Право, ничего. Только покраснеем, опустим глаза, ну а потом... Будем знакомы. Конечно, Вы угадали — во мне нет ни капли той дурацкой гордости, которую я сама так ненавижу, но мое оправдание: во-первых, у меня такая привычка, да и с какой стати мне гордиться? Чем? Что я не похожа на всех этих «скверных». Да я даже представить себе не могу их удовольствия шляться на Московской. <...> Вот ведь Вы знаете, Алеша, у меня нет ни одной подруги, все, по Вашему выражению, «скверные», а вот если бы Вы знали одну мою подругу в Асхабаде, то обязательно влюбились бы в нее. Вот прелесть... что-то долго от нее писем нет. Если бы еще от Вас не было, то хоть вешайся. Ах! какие я стала глупости писать. Вероятно, спать пора, да уже без четверти десять, время принимать железо, а ровно в десять часов в постель. Вот-то ведь мука, тут хочется еще написать кое-что, да время спать. <...>

### Лосев — Позднеевой

Прежде всего, Оль-Оль, извиняюсь за то, что взял домой эту книжку. Право, в классе не напишешь: при столь важном деле, как письмо к вам, нужно быть настолько внимательным, нужно пере чувствовать все, что напишешь. Вы не сердитесь, право же, нельзя как следует написать в классе. <...> До сих пор я никак не могу понять, для чего вам эта книжка. Трудные задачи по математике я решаю, а этого вопроса, хоть убей, не решу. Помогите же, наконец, Оля. Ведь раз она вам нужна, так нужна *для чего-нибудь*, а не просто так, чтобы закинуть. Ответьте на это, Оль-Оль. <...>

Вы любите вашу «подругу из Асхабада». По Вашим словам, и... я бы, да еще «непременно», влюбился в нее. Следовательно, и вы, и я любим одно, стремимся к одному? Отлично. Я счастлив. Это нам будет необходимо... Я вас не упущу из виду... Неужели Вы ложитесь в десять часов? Вот-то добро. А я сижу до двенадцати, а иногда даже дольше. Почти всегда засыпаю в час. Работы, Оль-Оль, работы... Один Бог знает, сколько работы. У меня на столе сейчас лежит по крайней мере до двухсот книг и брошюр, не считая нескольких дестей исписанной бумаги. Все сочинения, рефераты, заметки, выписки из книг. Сейчас у меня, например, два сочинения, которые нужно написать. (Я уже не говорю о сочинении по русскому языку). Одно сочинение такое: «Жан-Жак Руссо и его диссертация: о влиянии наук на нравы». Другое: «Психические различия человека и животных». Работы, в общем, столько, что, сидя ежедневно от четырех часов дня до часу ночи, я не успеваю сделать всего, что хотел. В работе, Оль-Оль, вся цель жизни. Работать над самим собой, учиться и учить. Вот мой идеал. Если к этому прибавите еще и следующее изречение, то Вы, надеюсь, поймете меня. «Если ты молишься, если ты любишь, если ты страдаешь, то ты человек». <...>

### Позднеева — Лосеву

<...> Если бы Вы только знали, Алеша, как мне нехорошо сегодня было. Право, не понимаю, не узнаю себя. Почему-то у меня к вам большее доверие. Не знаю почему, но пишу и буду так продолжать. Поведаю Вам сегодняшнее горе. Я пошла на Московскую (конечно, с горничною) и встретила классную даму. <...> Я здороваюсь, вдруг слышу голос: «Позднеева, на каком основании вы в зимнем, еще не было распоряжения его одевать?» Ведь она знает, что я была больна, а остановила, ведь могли подумать, что мне замечание за что-нибудь плохое делают. Да, так неприятно. Знаете ли, меня за последнее время каждый пустяк волнует. Да, дошла до знакомых, а там так стало обидно, что ни за что выругали, и потеряла сознание, пролежала целый час. Ради Бога простите, может быть, за излишнюю откровенность, но, право, от вас скоро не будет ни одной тайны. Ох! Только прошу вас не ... *злоупотребляйте* этим. <...> Как меня беспокоит ваше усиленное занятие. Вот я занималась до двух и часу, получилось малокровие, как бы и с вами чего не случилось. Ну, пока, всего наилучшего. Да прочитай еще мое предыдущее повнимательнее. Знаете ли, я записалась до половины одиннадцатого, а ведь мне полчаса назад надо было ложиться. А все из-за Вас. Ну, поехала опять с большой буквы, не привыкла. Ну теперь Вы видите, как бы я была нездорова, что бы мне не предстояло, я всегда найду время ответить вам. Ах, Алеша! Если бы Вы знали, какая у меня дивная мама, вот кого я прямо боготворю, хотя и папа меня тоже страшно любит, но к маме я отношусь с большей откровенностью. Вот бы мне, опять svoju разговор на

\* Глагол *stergō* (греч.) указывает на духовную любовь (к родителям, супругам, детям, отечеству и т. д.). Греческие слова здесь и далее даются в латинской транскрипции (ред.).

это, хотелось бы, чтобы вы пришли к нам. Знаете ли, у нее все лучшие черты человека. Ах, вот человек — ангел, доброта, кротость, сострадание, ну вот, как мне кажется, совершенная противоположность мне. А во мне ничего хорошего нет. Ах, как бы мне хотелось иметь столько кротости и терпения, как у мамы. Ну, право, приходите, она такая милая, добрая, что прямо ни с кем не сравнится. А у меня никаких качеств нет. Вот если начну писать о маме, так буду писать и до часу. Но если бы вы только знали, как я ее люблю, то поняли бы меня сейчас же. Прошу вас, не берите домой книжку, а то я прямо с ума сойду ждать ответа больше дня. <...> Почему Вы не кончаете ваших начатых выражений? Заметьте, я написала почти три листа без многоточия. Постарайтесь и вы писать так же. <...>

### Лосев — Позднеевой

Неужели? От вас? Спасибо! Спасибо, дорогая. Я не думал, что вы будете так откровенны! Я в первый раз слышу это слово от равных себе... Но как вы узнали это слово. Разве вы знаете греческий язык? И *stergō* поняли? И отвечаете тоже *stergō*? Боже мой! Неужели это я? Неужели это мне говорит Оль-Оль? Какое счастье! Мы оба нетронутые. Ни вы, ни я еще не знали этого *stergō*, ни вы, ни я не привыкли к этому. И вдруг теперь сошлись два сердца, совершенно нетронутых, совершенно ничего не испытывавшие... Спасибо! <...>

### Позднеева — Лосеву

<...> Но все-таки Вы отвечаете не на все вопросы. На самый главный вы не хотите ответить. Буду выражаться яснее. Да придете ли вы наконец к нам? Право, вы бы послушали дивную музыку. Если это правда, что Вы безумно любите музыку, то это не подлежит сомнению, пришли бы к нам. Ах, как дивно играет мой старший брат. Ну, право, Алеша, приходите. Да. Еще новость. Я иду в первый раз в театр. Конечно, в этом году. Днем на «Трильби». Интересно, пойдете ли Вы? *Тогда мне хотелось бы, чтобы Вы сидели около меня, то есть вблизи.* Я пойду, вероятно, в 6—7—8 ряд. Места, верно, будут. Эта пьеса идет в то воскресенье. <...> Господи! На сколько вперед я загадываю? Да мне кажется, что мы увидимся раньше. *Право, Алеша, приходите к нам!!!* Конечно, если Вы не хотите, тогда я Вас просить больше не стану. Зачем попусту слова терять? Ну, Алеша! Вот и завтра вас не увижу, потому что греческий мешает. Приходите. <...> Сейчас только пришла с Московской, вот-то посмотрели бы на меня. Я несла двенадцать покупок, вот потеха, еле-еле шла. Я пошла с одной знакомой экономкой. Она деньгами заведовала, а я покупками. Так у меня все пальцы занемели, а я подумала: «Вот бы Алеша был, он бы, вероятно, помог мне?» Как Вы думаете, Алеша? <...> Вот, Алеша, как мы во многом сходимся, хотелось бы мне знать, любите ли Вы также свою маму? Как бы мне хотелось узнать все про вас, но стороной спрашивать, во-первых, не честно, а во-вторых, я привыкла всегда действовать открыто! <...> Я ваше последнее письмо перечитала около десяти раз, и если это от чистого сердца, то есть пишете *правду*, то и я могу себя назвать *eudaimōn*\*.

Напишите, поймете ли Вы? Вы все понимаете, что я пишу? Ведь я пишу еле-еле, да еще такими непонятными буквами. И Вы понимаете? Неужели? Значит, серьезно?... Сколько времени еще будет продолжаться это? Мне так же, как и вам, было бы неприятно порвать эту, столь дорогую для меня теперь переписку. Я слишком откровенна, но смотрите на меня как на *philos*\*\*.. <...> Знаете ли, мне хочется по-гречески хорошо писать, а не каракули. Вот ведь слово, верно, все его знают. Почему меня все в классе называют ребенком? Не понимаю. Да! Ведь я уже кончила Вам писать, а хочется писать еще и еще. Вот сейчас опять спать пора, а еще хуже железо пить. Выпейте за меня, Алеша, железо. Оно горькое. Да простите, что я Вам предложила такое горькое лекарство. Ведь я думала, Вы за меня могли бы его выпить. Ведь это письмо давно пора кончать. Искала, искала «до свидания» по-гречески и не нашла, верно, придется прощаться по-русски. Пишите побольше. Домой книжку не берите. <...>

### Лосев — Позднеевой

Простите, Оль-Оль, много писать не могу. Сейчас батюшка производит опыты по психологии. Домой же брать книгу — вы не велели. Дело вот в чем. Вы хотите идти в театр. Я, разумеется, тоже. Еще бы с вами-то? <...> Если пойдете на «Женитьбу», то скажите. Я возьму билеты себе и вам. В среду на будущей неделе идет спектакль в пользу гимназистов. «Новое дело» Немировича-Данченко. Если пойдете, сообщите. Пойду и я. <...>

\* Счастливая. Здесь — счастливой (греч.).

\*\* Друг. Здесь — друга (греч.).

*Позднеева — Лосеву*

Буду ждать ответа на все вопросы. Написала бы, да не в состоянии не только писать, а прямо-таки сидеть на одном месте. Простите, что мало, да ведь Вы знаете, когда могу, всегда пишу, например, в прошлый раз. Чувствую себя отвратительно, самочувствие все доходит до того, что прямо-таки хочется умереть. Право, лучше не писать, а то еще и вас расстрою. Не знаю, почему мне сейчас очень тяжело. Хоть бы вы, право, хоть капельку сочувствовали мне, Алеша. Право, мне кажется, что я скоро умру. Ведь это, может быть, скоро будет. Ваша Оль-Оль.

Хочу читать Ваши слова. Только ваши, Алеша.

*Лосев — Позднеевой*

Что это вы, Оля, в самом деле? Неужели так уж скверно? Бросьте все! Отдохните, будьте добры. Не обращайтесь внимания на свою болезнь, не думайте о ней. Вообразите себя вполне здоровой и счастливой и помаленьку начинайте заниматься. Право, все сойдет. Читайте что-нибудь веселое, шутите сами, смейтесь весело; когда кто-нибудь захочет вас оскорбить, и вы увидите, что все пойдет как по маслу. Сначала, правда, ваша веселость будет искусственна, но вы скоро же станете веселой по-настоящему, и ваше дурное настроение исчезнет, как туман над рекой при лучах утреннего солнца. Право, послушайте меня, Оль-Оль.

Теперь начну исполнять свое обещание — отвечать на все вопросы. Прежде всего о Моте. Вы спрашиваете, в каких я с ним отношениях. Я, право, считаю его своим другом. <...> Он, правда, учится по-среднему, особенного развития не обнаруживает, но в нем есть частичка того, что присуще вам и что заставляет меня обращаться к вам. Это именно прежде всего простота, чистота. Он не горд, честен. Его глаза немного похожи на ваши и брови тоже. Одним словом, я рад бы иметь его своим товарищем. Но он не любит, когда к нему обращаешься с лаской, не любит, чтобы я ему говорил о вас. Да кроме того, когда с ним здороваешься, он очень больно дергает за руку; знает, что мне больно, а между тем каждый день так дергает, что иногда от сотрясения в голове мутится. Я ему говорил об этом, он же продолжает свои злые шутки. Чем же я виноват? Не был ли я ему товарищем? Не давал ли ему задач, переводов, слов по латыни и пр.? Не помогал ли ему заниматься? Не учил ли его читать по-французски? Не писал ли ему ноты? Да я и теперь не отказываюсь ему помогать. <...>

Теперь перейдем к вопросу, кому принадлежит эта книжка. Я говорю, что она моя, а вы говорите, что она ваша. Мне она нужна на память, да, очевидно, и вам для того же. Итак, для кого же предназначена эта книга? Ведь она скоро совсем испишется и должна же у кого-нибудь остаться. Но у кого? Как бы мне ни хотелось ее оставить у себя, а нужно пожертвовать ею. Ведь этого требует Оль-Оль. А Оля достойна того, чтобы ее слушали... Пусть, дорогая, эта книжка будет ваша. Пусть она останется у вас и пусть навсегда будет служить символом вашей первой... к человеку и моей тоже первой... к девушке. Сохраните ее. И когда мы будем взрослыми, когда я кончу университет и буду читать лекции, а вы кончите высшие женские курсы, вы мне эту книжку покажете... <...>

Вы меня спрашиваете о моей маме? спрашиваете: люблю ли я ее? Как же мне ее не любить, как не уважать, если я еще трех месяцев от рождения лишился отца. Моя мама — это единственный человек, кому я нужен, это единственный, кто обо мне постоянно заботился, кто сделал из жалкого, хрупкого дитяти юношу, честно трудящегося и стремящегося оправдать свое название христианина.

Я не помню отца. Мы с мамой теперь живем только двое. Раньше, когда был жив дедушка (протоиерей, священник), мама находила еще себе утешение от любящего отца, но — увьи! — его нет на свете уже девять лет! С этих пор мы остались двое в родительском доме. Мать была воспитана христиански и не любит роскоши; мы перешли в низы, где находится пять комнат, вполне для нас двоих достаточных, и где мы живем и до сих пор.

Скажите, для кого оставалось моей матери жить? Мужа она потеряла давно, мать ее умерла тоже, а за ней и отец, мой дедушка. Для чего ей нужно было жить? Она осталась жить для меня. Я был у ней единственный сын, единственное дитя. И она воспитала меня в христианском духе, научая жить, как велел Христос, и трудиться во благо ближнего. И после всего этого можно ли не любить мать? Можно ли относиться к ней без почтения, если это был мой единственный до сих пор товарищ на жизненном пути, если я стольким ей обязан? Родительский дом принадлежит нам до сих пор. Мы привыкли к нему, и нам жалко с ним расставаться. Живем мы двое да прислуга. У меня небольшая комнатка. Здесь мои книги, мой стол, моя кровать, мои портреты писателей. Здесь я и сейчас сижу, пишу своему другу, Оль-Оль. Вот стоит на столе лампа. Уже скоро двенадцать часов. Мама спит в соседней комнате. А я сижу, пишу и думаю об Оле. Она теперь сладко спит! Тишина у нас в доме, только слышно, как часы безостановочно отбивают — тик-так, тик-так, тик-так. Люблю здесь у себя в комнатке посидеть, погрустить, поплакать в это время, когда везде тишина и когда не сплю лишь я, сидя за столом и чи-

тая книгу. Иногда так грустно станет, так грустно, что берешь перо и думаешь на бумаге вылить то, что чувствует твоя душа. А она борется, отрицает, она живет!!! Простите, миленькая, я совсем забыл, что пишу вам письмо и пошел вылаживать все. Простите! Ведь вы же первая пошли на откровенность.

<...> Вы пишете, что вы соскучились по мне. А я-то, Оленька! Не видно звездочки ясной, закатилась она, сердечная! Когда я вас увижу? Хоть одним глазком! Прийти к вам? Нет... Боюсь... <...>

### Позднеева — Лосеву

Ох, Алеша, как сразу легко на сердце стало, когда я увидела Вас. Да! Верно, сама судьба!!! Никто, никто на свете мне не нравился и не нравится, как Вы. Как мне хорошо, когда я чувствую, что Вы... что вы... Ну, вы должны понимать меня с первого слова. Да! Господи, как мне нравится читать слова, написанные Вами, ох, ведь мне все-таки тяжело, почему не знаю, хочется плакать, или это от счастья. <...> Вот наконец нашелся человек, который, как бы выразиться, подходит быть моим другом. Ваши мысли — мои мысли. Ах, Алеша! Как хорошо чувствовать, что есть человек, который тебя понимает... Знаете ли, я во всем, во всем согласна с Вами, как мне легко делается, когда я читаю Ваши слова, как мне нравится Ваш слог. <...> Ах, как я счастлива, но все-таки не могу оставить вопроса. Почему вы не придете к нам? Ну? Право, Алеша, мне бы гораздо легче было. Ну, решайте скорее? Да и соберитесь к нам, да не к нам, а ко мне, то есть я хочу Вас видеть близко, да подольше, не секунду, когда вы проходите мимо. Знаете ли, я Вам могу писать без конца. <...> Вы не знаете, Алеша, как я ждала от Вас этого ответа, всю ночь думала об вас, за последнее время вы не выходите у меня из головы, и недавно я кого-то из своих Алешей назвала. Боже! Как хорошо жить на свете!!! Знать, что есть человек, который вполне сочувствует тебе, и вот первый раз мне не хочется умирать. <...> Два раза в это время болезни я была при смерти. Только теперь я понимаю, как хорошо на свете. Даже жить только для того, чтобы видеть вас, и то какое счастье. <...>

В театр я могу идти только утром, а вечером, ведь я писала, мне выходить нельзя. Ведь Вы знаете, что для вас я всем готова жертвовать, чтобы хоть капельку облегчить вас, сделать вам хотя маленькое удовольствие. Вот ведь посудите. Сколько я писем получаю, ведь без конца, от молодых людей, как они меня бесят, и хоть бы на одно письмо ответила, а вам... Я готова писать до конца моей жизни, *вот ведь человек...* Боже!

Если бы вы знали, как глубоко я ценю вас за вашу сердечность, а главное, за чистую душу, простоту, ну, словом, за все лучшие качества, которые собраны в вас. Как мне нравятся ваши глаза, которые при встрече хотят как бы прочесть все то, что в моей душе. Неужели же вы опять не видели меня? Мне кажется, что видели. Ох, Алеша. Почему я не мальчик? Почему я не в мужской гимназии? Вот то хорошо было бы, а в нашей гимназии хоть бы одна такая девочка была, как вы. <...> Да, мама заметила вас посреди других гимназистов и каждое воскресенье не нахвалится на вас. Вот сегодня я вас увидела на лестнице. Знаете ли, не знаю почему, но мама очень хочет с вами познакомиться. <...>

*Объясните мне причину* вашей боязни прийти к нам за себя и за меня, у нас вы встретите только *радушный и сердечный прием*. А так мы никогда не встретимся, ведь Вы знаете, что я никуда не выхожу. Право, исполните просьбу своей Оль-Оль и придите к нам. <...>

### Лосев — Позднеевой

И рад бы Вам написать, да места нет. Книжка списалась и незаметно как. Как же мы теперь будем? Ведь не писать же нельзя? Как? <...> Пишите вы. К себе не просите. А. Лосев.

### Позднеева — Лосеву

Что значит Ваше долгое молчание? Неужели же Ваши слова были пустой звук? Неужели же я ошиблась в Вас? И мне придется разочароваться? Нет, мне кажется, Вы верны своему Слову. Вы предоставляете *мне* решить, а я предоставляю *Вам*. Если хотите, начинайте, я буду отвечать. Вы, кажется, писали, что Вам писать некогда? Ведь я не стесняюсь маленьким клочком, пишу же, а вы... Все же предоставляю начать вам. <...>



*Лосев — Позднеевой*

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось, но первый стих остался у меня в памяти. «Как хороши, как свежи были розы!» Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забывшись в угол, а в голове все звенит да звенит: «Как хороши, как свежи были розы...» И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой, а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно, и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как просто-душно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзну заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце! «Как хороши, как свежи были розы...» А в комнате все темней да темней. Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною — и чудится скучный, старческий шепот... «Как хороши, как свежи были розы...» Встают предо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки прислонились друг к другу, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые губки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, в перебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подалее, в глубине уютной комнаты другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старого пианино, и лайнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара... «Как хороши, как свежи были розы...» Свет меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... и все они умерли... умерли.

«Как хороши, как свежи были розы...»

*Позднеева — Лосеву*

<...> Ах, Алеша, если бы Вы только знали, сколько я, прямо-таки не находя слов, пережила, не получая от вас ни строчки. <...>

Вот ведь совпадение: мне совершенно запретили танцевать, а на бал обязательно. То есть доктор сказал, что мне нужны развлечения. Я начинаю следовать советам доктора: иду в театр. Он говорит, когда выслушивал меня: вы были чем-то вчера потрясены. Потому и заболели снова. Но ведь вы знаете причину? Меня поразил ваш сухой ответ в конце той книги. <...>

Я сегодня очень долго думала об вас, когда смотрела на вашу карточку. Вот прелесть! Как она мне нравится!!! Боже! Неужели же это правда? Неужели я слышу восклицание в конце от всего сердца, неужели же я должна верить? Да! Я верю вам!!! Господи! <...>

*Лосев — Позднеевой*

С чего начать? О чем говорить? Ваша мама действительно редкая женщина! Редкая не только как мать, но именно как женщина. Как она беспокоилась о вас? Как боялась, что вы простудитесь! Она даже предупреждала меня, говорила, чтобы я застегнулся, я, человек совершенно ей незнакомый и только что с ней познакомившийся. <...> Да, Оля, это замечательная женщина! А вы, мой голубок, вы занимали меня другим. Что стало со мной, когда я, обернувшись однажды, сидя на месте, увидел вас?... Вы пришли смотреть номера своих мест. Я волновался. Вы пришли и сели... Я — смотрю и жду. Первое действие и антракт. Второе. Вы все сидите то с мамой, то с вашей подругой... Как подойти? Оно неловко подходить, как вы и одна сидите, а тут еще около вас другие сидят... Наконец вы остались одна... <...> Ну, думаю, «вперед без страха и сомнения». Встаю. Страшно! Но делать нечего, уже встал. Иду, краснея. Подхожу. «Здравствуйте, Оля»... Слава тебе Господи! Начал. Пошел разговор. Фу, как гора с плеч. Оля моя, Оля сидит, вижу, поглядывает... Разговор об артистах, а на душе у каждого... Ну дальше вам все известно. <...>

Вы стали для меня, после сегодняшней встречи, еще дороже, еще милее. То, что не мог я рассмотреть у вас при секундных встречах, то рассмотрел теперь, и вы оказались еще краше, еще достойнее. Я-то, уж наверно, ничем не примечателен, но вы... о, вы!.. Скажите, ваша мама знает про нашу переписку? Почему это мне кажется, что она знает? Напишите, как ее звать. Вас она называет «Леля». Меня тоже дома нередко называют «Леля»... <...>

Зачем вы завели сразу две книжки? Письма будут путаться: на то письмо, которое помещено в № 2, ответ будет в № 3 и наоборот. Ведь неудобно же. Мне-то, впрочем, все равно, где написать. Еще лучше, каждый день будете получать письма от Оли. Отлично! Я согласен писать хоть на десяти книжках сразу.

*Позднеева — Лосеву*

Вот-то не ожидала, мне казалось, наоборот, вы разочаровались во мне. Что же еще вы открыли во мне хорошего, чего не замечали прежде? <...>

Хотелось бы увидеть мне вашу маму, мне кажется, что она такая же славная, как и моя, да? <...>

Знаете ли, я сегодня страшно расстроилась в гимназии. Господи! Зачем несчастье на свете? У нас в гимназии учатся две гимназистки Пухляковы, одна маленькая, а другая побольше. Сегодня на большой перемене пришел кто-то из их дома и говорит, что их отец скорострительно скончался. Сказали большой, она потеряла сознание, а маленькой ничего не говорили. Если бы вы только знали, как грустно было смотреть на маленькую, которая ничего не знала, а бегала и хохотала, да, это страшное горе — потерять близкого человека, да еще притом так внезапно. Я сегодня даже заплакала там. Верно, у нас с вами слез много, что мы их всех выплакать не можем. Никогда, никогда не выплачешь всех слез... Вот и теперь, кажется, все хорошо, все люблю тебя, а на душе тяжело. Словно камень какой-то давит, и грустно делается, а между тем знаешь, что если будешь ей предаваться, то никогда не выздоровеешь. А напускная веселость еще хуже. Смеяться, когда в сердце кошки скребут, не особенно приятно... <...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> Почему же вам грустно и скверно на душе? Сами же пишете, что вас любят все и все хорошо. Чего же вам недостает? Напишите мне, своему старому другу. Откройте, что вас беспокоит, быть может, я и помогу вам. А? Да ведь это же я — понимаете? Я — Алексей Лосев, Алеша, слышите? Оля! Напишите мне, почему у вас скверно на сердце (вы даже пишете, что у вас «кошки скребут»). Знайте, что вы будете писать не к кому другому, как к своему Алеше... Ведь я же ни... Я же, кажется, Алексей Лосев. А? Знаю, вы скажете, что и мне грустно бывает, а все же не объясняю вам как следует свою грусть. Да? Вы хотите знать причину моего грустного настроения? О, если бы, Оля, вы могли меня понять. Я человек науки... да чего там писать, ведь вы же сами говорили, чтобы я вам не писал «ничего философского»... Но, чтобы не заставить вас сомневаться, я скажу, что я держусь совершенно воззрений Жуковского. Спросите у Моти или лучше у вашего старшего брата, что такое романтизм... и вам скажут, откуда грусть у романтика... <...> Ведь это мне вовсе не нужно веселиться, я пока что не болен, а вы больны нервами — вам необходимо ухаживать за своими нервами, не поддаваться слишком большой печали. Ведь если вы не хотите ухаживать за собой *ради себя*, то ухаживайте *ради меня*. Ведь я не теряю и не буду терять надежды на вас... и не буду терять до тех пор, пока скажете: «Уйди от меня, нахал!» Разве сами только оттолкнете меня, а я сам никогда от вас не уйду, от вас — целого для меня сокровища. Любящий А. Лосев.

*Позднеева — Лосеву*

<...> Алеша! Милый мой Леля, разве можно прогнать вас, нет, этого никогда не будет, да никогда в жизни. Да? Нет, это немисливо, даже и понять этого не в состоянии. Пока вы со мной, у меня есть друг, близкий мне человек, которого у меня никогда не было, а теперь... Я уверена в вас, больше чем в себе, вам я верю безусловно во всем, и всегда будьте уверены, что у меня язык не повернется прогнать вас. <...>

*Лосев — Позднеевой*

Я только что пришел из гимназии, пообедал и сейчас же сажусь писать вам. У меня радость. К нам приехала одна близко знакомая и вместе с тем мой добрый друг — девица... шестидесяти пяти лет. Да! Она дожила до шестидесяти пяти лет и не вышла замуж! На два месяца она уезжала из Новочеркасска куда-то к своим родным, а теперь приехала и пришла к нам. Добрая женщина! Ведь все старые девы злые, недоброезательные, а она наоборот. Но довольно об этом! Простите! <...> Слушайте, как я провел воскресенье после театра. Сейчас же, как я с вами распрощался, я полетел домой. Вы еще написали, что я гулял по Московской и после вас. Нет! Гулять я не мог, потому что нужно было спешить домой. Уроков я до воскресенья почти не учил, а писал только сочинения. Посудите сами, если бы я еще гулял, то когда же за уроки? Итак, я пришел домой. Тотчас же после обеда велел зажечь себе лампу и сел за латынь. Перевел. За немецкий и французский, потом за физику, а по-русски нечего учить, ибо в понедельник предполагалось сочинение в классе. Позанимавшись часа три, я стал одеваться в театр. Пошел. Да! Была луна! Я смотрел на нее и, быть может, в то же время, что и вы. Пришел в театр. <...> Веселье! Теперь уж я знаю, как ходить в театр по два раза на день! Никогда не пойду. Теперь два раза в один и тот же день! Лег почти в два часа, рано встал на другой день. Уроки, а на пятом извольте сочинение писать. Каково после праздников? <...> Домой пришел половина пятого. Полчаса отдохнул, а в пять часов зажег лам-

пу и до двенадцати. Каково? Сегодня продолжаю писать сочинение о Руссо, свой доклад, который буду читать в классе, наверно, недели через полторы. А завтра опять на работу с шести с половиной часов (греческий язык). <...>

### Позднеева — Лосеву

Давайте поговорим *по душам*... Странно, как только скажу «по душам», мне вспоминаются две старухи, которые говорят именно по душам. Знаете ли, что Оль-Оль сегодня плакала и как... прямо до слез. Вот вы только подумайте. Иду я с прислугой домой, идут какие-то двое, не то офицеры, не то черт знает что. Я перегнала, а они нахально заглянули прямо в лицо и говорят: «Ах, какая хорошенькая». Но если бы вы видели, как они это сказали, а потом начали разбирать особенно мои глаза. Я добежала до одних знакомых и начала плакать. Да так я проплакала полтора часа не переставая. Даже сейчас удивляюсь, откуда у меня столько слез взялось? Вот так штука. Но нет, ведь это прямо нахальство. Правда, мне приходится слышать подобные выражения очень часто, но так. Ой, ведь это ужасно. Знаете, при одном воспоминании мороз по коже дерет, удивительно — три печки топятся. <...> Если бы я обращала внимание на свое настроение, то, вероятно бы, не только платков, но и полотенцев не хватило бы для моих слез. Вот иногда постараюсь собрать их в пузыречек и пришлю вам на память, и вы его будете носить на сердце. Да? Ну, конечно, в этом и сомневаться нельзя. Вот вы опять будете читать и повторять то же самое, что я рядом с серьезными вещами употребляю ха-ха-ха-ха... Знаете ли, даже сама я и то своего характера не знаю или, вернее, не понимаю... Верно, вы лучше знаете мой характер. <...> Я страшно люблю подурачиться, похохотать, побеситься, посмеяться и в этом роде, но только иногда. Вот мне нравится подурить с маленькими, то есть, например, ко мне приходит одна гимназистка второго класса, вот мы с ней дурили в прошлый раз. Она жила в одном углу комнаты, а в другом я... Мы ходили друг к другу в гости, а потом поехали на концерт. Как раз Шура играл на рояле. Она страшно любит меня и всегда мучает поцелуями, теперь есть повреждения. Губа прокушена. Да ведь тоже вот игра. Опять-таки живем в разных углах, идем на большую улицу в зал, встречаемся так, знакомимся, и она поступает ко мне в экономки, потом из экономки обращается в горничную. Я иду на бал и никак не могу достать хорошую прислугу, она приходит ко мне раз двадцать и все играет разных типов. Наконец я ее нанимаю. Я надеваю что-нибудь белое длинное — это бальное платье, на голову легкий газовый шарф — и вот весь мой костюм, да, посылаю за каретой с гербами, оказывается, кучер пьян. Теперь поиски за кучером... Очень весело бывает, сегодня она у меня не была, и вот невесело. Словом, меня никто не считает за большую, ведь я только в этом году бросила в куклы играть. <...> Вот ведь и в классе меня ребенком зовут, а я не думаю обижаться. Не правда ли, я добрая? Всем все прощаю. Верно, скоро на небо попаду, тогда уже нельзя будет дурить... Уж умирать, так вдвоем, чтобы там было с кем подурить. Я тогда приглашу ту гимназистку, и вот когда весело будет, ведь там места много... Совсем было бы хорошо, да вдруг она не согласится. А одной скучно. <...>

### Лосев — Позднеевой

Оля! Вы очень смелы. Неужели вы не стесняетесь писать такими большими буквами и так открыто? <...> По-вашему, это — шутки! Но с подобными вещами не шутят. Для вас-то, быть может, это и шутки. Ведь вы большей частью все шутите. А я... Мне прежде всего некогда «шутить». Если я не машина времени писать вам и думать о вас, то, следовательно, мой к вам письма — не шуточки. Да и сами знаете, что «делу время, потехе час». Если мои письма — потеха, то я бы давно их оставил. Написал бы два-три письма, надоело, и бросил бы без всяких разговоров. А я никогда не отказывался писать вам уже в течение почти трех месяцев. Итак, вы сомневаетесь в серьезности моих писем, думаете, что они писаны для забавы? Ну тогда... тогда простите. <...>

Да! Бывают и часто бывают такие низкие люди, как те ваши два офицера. Это, впрочем, еще хорошо, что только оскорбили словами, да не тронули, а то сплошь и рядом можно встретить таких людей, которые не останутся и нанесут оскорбление и действию. Ужас! Вот уж люди-то! Не люди, а какие-то животные, которым только надо одно — как-нибудь удовлетворить свои потребности — и больше ничего. Фу, какая низость! Да! Я не меланхолик, потому что жив, здоров и работаю, как вол. Меланхолик ленив, неповоротлив, а я вовсе не ленив. Если неповоротлив телом, то поворотлив умом. Иногда даже так им «поворачиваю», что на другой день голова делается, как кадушка. Но, не будучи меланхоликом, у меня, правда, часто бывает грустное настроение. Иногда даже плачу. Особенно бывает часто грустно, когда, часов в одиннадцать-двенадцать ночи, все заснут, тишина, а я сижу в своей комнате и читаю или пишу. Почему мне грустно? О, причин много. Думаешь о своем идеале и тут же вспоминаешь всю низость и пошлость человечества. Мучаешься над каким-нибудь вопросом, стараешься его разрешить и бессильно складываешь оружие, когда узна-

ешь, что этот вопрос не разрешишь человеческим разумом. Вспоминаешь свое детство, свое учение в приходском училище... И так грустно становится, так грустно... Вспомнишь об Оле. Она теперь спит, укутавшись в одеяло... Грустно, грустно... <...>

С удовольствием прочел то место, где вы говорите о своих играх с «гимназисточкой». Только знайте, что делу *время*, а потехе *час*. Веселясь, нужно подумывать о более серьезном. Ну да вас учить не приходится. «Ученого учить — только портить». А меня, напротив, дома, да и в классе, считают философом. Вас веселой, а меня ученым. Да я-то, правда, серьезно отношусь только к книгам да к Оле. <...>

### Позднеева — Лосеву

Я тоже люблю поплакать одна в своей комнате, чтобы никто не видел. Правда, ночью, часов в одиннадцать-двенадцать, я уже в постели, но редко сплю в это время. <...> Да, теперь эта бессонница, засыпаю в двенадцать, а просыпаюсь — половина четвертого. Как ни стараешься заснуть, больше никак не могу. Знаете ли вы, что я вас вижу во сне почти каждый день... <...> Помните, как вы удивились, когда я спросила вас: «Неужели же вы никогда не смеетесь?» Да! вы очень удивились... Вы пишете мне: «Делу время, потехе час», но неужели же вы думаете, что я все время смеюсь, это тоже меня удивляет. <...> Я знаю, что вы много занимаетесь, что вы редко развлекаетесь, и вот мне хочется хоть чем-нибудь заставить вас улыбнуться, хоть капельку похихотать. <...> Не будем сердиться друг на друга. И если я буду шутить, но не понимайте этих шуток в плохом отношении к вам. Я стараюсь только сделать вам приятное. Ваш друг.

### Лосев — Позднеевой

<...> Давно уже я не чувствовал себя так плохо. То, бывало, вспомнишь об Оле, и так радостно станет на душе, веселей; думаешь, что у других такие грубые знакомки, а у тебя девушка, да такая, какой нигде не найдешь, — и воспитанна, и выдержанна, и скромна, и добра, и умна. Скажите, могла ли эта мысль не доставить мне счастья? А теперь... Вспомнишь об Оле — и уже нет той удовлетворенности, того довольства, которое было раньше. Нет, нет. Я всеми силами постараюсь восстановить добрые отношения с Олей. Я хочу счастья, я хочу любви. Слышите? О, дайте мне счастья, дайте мне удовлетворения. Дайте возможность при одной мысли о вас делаться счастливым. Олечка! Ангел мой хранитель! Вы предохраняете меня от дурных поступков. Вспоминая о вас, я хочу только прекрасного, хочу любви, любви... Оля! Милая Оля! Эх, если бы вы могли заглянуть мне в душу! Если бы можно было иметь ключ от сердца, то вы бы отомкнули его и нашли свое имя, написанное буквами через все сердце. <...>

До вашего знакомства я не жил сердцем, я жил только умом. У меня была предметом обожания только наука, наука и наука, вы же первая пробудили во мне сердце, и вы первая стали тем предметом, к которому можно было возноситься сердцем. <...> Как дорого для меня теперь это имя! Всего три буквы: **О**, **л** и **я**. А сколько жизни в этом слове! Сколько дорогих воспоминаний! Я тотчас же перестаю читать, если читал, писать, если писал, если кто-нибудь в соседней комнате при разговоре употребит слово «Ольга». Я имею обыкновение ходить, если думаю. Если мне нужно обдумать сочинение или разобрать прочитанную книгу, то сидя я ничего не сделаю, необходимо, нужно ходить по комнатам (у нас народу мало, так что в моем распоряжении весь дом, кроме своей комнаты). Так вот, я однажды по обыкновению вышел в зал для обдумывания дальнейшего изложения сочинения о Руссо. Хожу, хожу и вдруг заметил, что беспрестанно повторяю слово «Оля»... Хожу себе и шепотом говорю: Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, — а о сочинении и не думаю. Я не помню, сколько времени я так ходил, потому что повторял слово «Оля» совершенно незаметно для себя. Но, вероятно, не меньше полчаса. А полчаса для меня — все равно десять часов для вас. Я дорожу минутами даже, не то что полчаса. Так вот как, Оленька! Видите, как вы мне дороги, как я думаю о вас! <...>

Поздравьте меня, Оленька. Мой реферат о Руссо подходит к концу, и уже мысли, которые осталось высказать, все наперечет. Сегодня или завтра кончу, а в ту пятницу буду читать. Да только за час не успею, хочу просить преподавателя истории, чтобы он назначил собрание воспитанников для выслушивания моего доклада когданнибудь вечером. А то у меня по крайней мере написано листов тридцать писчей бумаги, не четвертушек, как в тетрадах, а тридцать настоящих листов, размером, как классный журнал. Страниц всего, следовательно, около ста двадцати. Немножко? Я из-за этого и в класс завтра не пойду; буду дописывать Руссо. <...> Вот сейчас, как только кончу письмо к вам, так примусь за работу и не встану, пока не окончу. Решено! Буду сидеть хоть до света, а своего добьюсь! Кончу-таки! Прочтите-ка для разнообразия хоть одно местечко из моего реферата, ну хоть такое:

«Наука, в том смысле, как мы ее теперь понимаем, не предназначена для решения проблемы нашего существования. Это видно из того, какой путь избрали современные естествоиспытатели. Ученые наших дней совершенно отказались от метафизики, потому что узнали всю ее бесполезность и даже вред в науке. И действительно, различные метафизические настроения только мешали свободному наблюдению и экспериментации, замедлили развитие науки и, следовательно, не приносили требуемой пользы для развития человеческого ума»... «Конечно, идеалистически настроенный человек всегда будет надеяться, что узнает когда-нибудь все эти «мировые загадки», которые не решает наука, и такой идеализм, на мой взгляд, должен быть необратимой принадлежностью мировоззрения каждого из нас». И так далее.

А? Каково? Я вас затруднил? Ну ничего, немножечко-то можно пофилософствовать. Моя Оля — девочка умненькая, не будет смеяться над серьезными словами. <...> Вот у меня как нет таких веселых занятий, как у вас, так уж не напишешь. Целый день и ночь я сижу за письменным столом или путешествую по зале. Пишу, пишу и пишу. <...>

### Позднеева — Лосеву

<...> Как приятно читать мне ваши слова, вспоминать ваш голос, думать об вас... Я-то ведь думала, отчего у меня уши горят, а это, оказывается, вы виноваты. Ходите по комнате да и зубрите мое имя, чтобы не забыть, а ведь оно очень трудное, если вам его пришлось зубрить полчаса. Ах, Алеша, какой вы бука на самом деле... В письмах вы так красиво и хорошо выражаетесь, а как встретитесь — «да», «нет». Ну дуся да и только. Вы не сердитесь, что я вас букой назвала, но, право, оно вам очень подходит. Знаете, никогда не принимайте моих шуток в дурном отношении к себе. <...> Какое звучное у вас имя — Алексей... Вот-то прелесть, Алеша, Леля, Леличка, мой Леля. Как хорошо. Боже! Неужели же мой Леля, славный, дорогой, хороший... Нет больше слов. Вот самые лучшие названия принадлежат только вам... <...> Мое сердце имеет очень много отделений, но одно из них занято «Лелей». Это самая большая квартира. Фу ты, вот ведь наказание-то, ключ от комнаты потеряла, и вы там остались навсегда, если не выломаете *сами* выхода из моего сердца. Ну пока всего наилучшего... <...>

### Лосев — Позднеевой

Итак, сестрица, я — «бука». Что это за «бука»? Я в первый раз слышу это слово. «Бука!» Понимаете, я не знаю даже приблизительно, что оно обозначает. «Бука!».. «Бука!».. А? Что это такое? Напишите, Оля, пожалуйста, что вы понимаете под этим словом. <...>

Вы потеряли ключ от своих отделений в сердце... И говорите, что я остался там навсегда, если не выломаю сам выхода... Теперь я вас... «Бука!» Ха-ха! Вот не отделаешься никак от вашей «буки». Теперь я вас спрощу: а крепки стенки вашего сердца? А? Олечка! Крепки или нет? Уууу, славная девочка! Ах, да кажется в самом деле вы славная! Вот думаешь, думаешь о вас, да иногда даже улыбнешься, до чего приятно думать о вас, считать вас своей сестрицей. Сидишь вот за столом сейчас, а на физиономии «блаженная улыбочка», как говорят у нас в классе. Если бы кто-нибудь увидел, что я, сидя за столом, улыбаюсь сам себе, прямо бы счел меня за полоумного, если бы не знал, что у меня на сердце. <...>

Судя по толщине, в этой книжке уже списано приблизительно 1/7-я часть. А начали мы ее с вами в день первого свидания, то есть 15-го ноября. Помните? Я еще в театре никак не мог припомнить конца вашего первого письма и насилу вспомнил начало и середину. Помните? Я сказал, смеясь: «Господи благослови!» — и вы тоже засмеялись... Олечка моя славная! Да! С 15-го ноября. 15-е, 16-е, 17-е, 18-е, 19-е... 25-е. Одиннадцать дней! Да! Если в одиннадцать дней мы списываем 1/7 книги, то когда же мы спишем ее всю? Трудная задача! Страсть какая! Вы еще не забыли арифметики? Семью одиннадцать — как бишь его... да, ну-ка угадайте... «Бука»... Ну, будь же «бука» трижды девять двадцать семь. Да.  $7 \times 11 = 77$ . Этой книжки хватит на семьдесят семь дней. <...>

Простите, если я здесь наерундил. Право, сейчас чувствуется прямо полный восторг, кажется, что земное притяжение не действует сейчас на меня. «Бука»... «Бука». Ха-ха! Будьте здоровы! Ваш А. Лосев. «Бука».

### Позднеева — Лосеву

<...> Не жели же это пишет Алеша, прямо поверить не могу? Вы шутите. Так на вас я оказываю влияние; шутить вам вовсе не идет... Ведь вы такой серьезный — и вдруг... <...> Я вас называю букой, зачем же вы сами так зовете себя? Ах, Алеша! Вот ведь какой вы непоседа, вам уже надоело сидеть на одном месте. Неужели же вам хочется поскорее выбраться из моего сердца, и вы потому осведомляетесь о крепости стенок? Если вам надоест сидеть там, то, безусловно, вы будете настолько сильно желанием выбраться, что разломаете несомненно, а если нет, то... Право, это от вас зависит... Решать сама не могу, а если хотите, то решите сами. Что это за вычисления? Алеша! Неужели же вам надоело писать? <...> Знаете ли что, я хочу устроить, чтобы нам этой книжки не хватило до масленицы, постарайтесь и вы... <...>

Есть случай увидаться раньше воскресенья. Знаете что, в субботу, вечером конечно, в электробиографе картины в пользу гимназистов, я, по всей вероятности, пойду. Папа, как член родительского комитета, будет продавать билеты. Как бы было хорошо, если бы вы пошли, вот и поговорить было бы хорошо. Я, конечно, это вам предлагаю, но если у вас нет большого желания видеть меня, то... А я было совсем решила... Тогда бы вы пришли ко всеобщей, а прямо от всеобщей можно было бы пойти в электробиограф, тем более что в пользу недостаточных гимназистов. Ну решайте, как знаете, да ответ передайте через Мотю. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

<...> Значит, я не ошибся в вас, значит, все мои письма не напрасны... О, если бы вы не растеряли свои драгоценные качества и в будущем... Тогда, когда они будут особенно нужны и вам и еще кой-кому... Но я, кажется, далеко зашел... Простите!

Вы говорите, что Мотя стал к вам лучше относиться? Удивительное дело! Со мной было то же, что и с вами. Когда я спрашивал о вас у него, он говорил: «Ну сошлись бы вместе да и поговорили бы сколько угодно, я почему знаю, что у ней там в сердце». Да! А еще, бывало, настаиваю, чтобы он сказал, но тогда он надвигал свои хорошенькие брови, делал строжайшую физиономию и бил меня по спине или по коленям. Теперь же хоть и не говорит все, но уже не так строго. Спросишь: «Пошла Оля в класс?», отвечает: «Пошла» — и уже не отсылает меня к вам спросить вас, пошли ли вы в класс или нет, и уже не дерется. Да! Вообще Мотя — хороший мальчик. Я, признаться, ставлю его чуть не выше всех других. Так, иногда, напустит на себя, а в сущности остается все таким же милым человеком. Интересно, раз я у него спросил о вашей болезни (вы тогда только что заболели). Он, конечно, сначала отослал меня к вам и нагрубил, но потом заметил, что я уже не так с ним любезен, уже не сижу, обнявшись с ним, лицом прислонясь к его лицу. <...> Да! Он, значит, заметил, что я с ним стал холодной разговаривать. (А я, разумеется, еще нарочно.) И что же? Смотрю, на другой или на третий день (дело было в воскресенье) он подзывает меня и начинает свою речь такими словами: «Теперь я узнал. У Оли сильное малокровие. От недостатка крови с ней часто бывают обмороки». <...> Словом, рассказал мне все, что я хотел узнать. <...>

Ах, Оля! Глазки мои бархатные! Так бы обнял вас, да так крепко к себе прижал, чтобы соединиться с вами навеки, чтобы были все равно что я, а я все равно что вы! Обнял бы вас и, в упоении взирая на волшебную луну, хотел бы вечно стоять с вами и высоко поднять голову туда, где счастье, где радость, где чистая, только чистая и возвышенная любовь. Забыться так и уснуть! <...>

<...> Оля! Пощадите меня, не зовите в электробиограф. Я вам, как другу, откровенно скажу — мне нужно непременно дописать Руссо. Родная! Не сердитесь, что я открыто говорю. Право же, мне этот вечер дорог. Оля! Не сердитесь. Ведь я бы мог придумать разные причины, но я говорю вам правду — мне нужно дописать Руссо. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

<...> Знаете ли что. Вот ведь я долго думала над воскресеньем... Это свидание невозможно. Вы только подумайте как следует, как поступили и вы и я опрометчиво, решившись на это. Как строго берегли мы нашу тайну (переписку). И теперь... Как, Алеша, если вы любите меня по-настоящему, если, как вы говорите, я дорога вам, вы принимаете все, что касается меня, близко к сердцу, то, надеюсь, поймете меня. Я никогда не гуляла ни с кем... Что станут говорить, если увидят меня гуляющей с гимназистом, ведь вы знаете, что я как только с мамой да с прислугой никогда ни с кем не хожу. А ведь языки у людей насчет сплетней очень длинны. Нет, это невыслымо. Если бы вы хотели видеть меня, то пошли бы в электробиограф. Да, еще одно: если вы так уже сильно хотите видеть меня, то переборите себя и идите к нам, когда хотите, или после греческого, или половина пятого, когда у нас оркестр, то есть квартет. Я обыкновенно в это время сижу в своей комнате, Шура играет, Мотя тоже копается над чем-нибудь. Словом, вот время, когда вы бы могли смело прийти к нам и говорить о всем. Моя комната к вашим услугам, примите к сведению, что все то, что будет говорено у нас, не будет знать никто, да еще меня не будет видеть гуляющей с гимназистом, что в доме, то тайна, а давать повод толкам я не хочу. Вот если бы это предложили Поповой, она бы, разумеется, прискакала сейчас же, но я... Поймите, я не могу... <...> Ради Бога, как хотите, ведь вы знаете меня хорошо. Я не могу. Не сердитесь, мой славный Алеша, и поймите меня. Приходите в электробиограф. Мне тяжело отказывать вам, но, я думаю, вы поняли меня... <...>

*Лосев — Позднеевой*

Постойте! Дайте опомниться! Фу!.. Что?.. Фу... Фу... Как? Оля? Ой, дайте выды... Фу!.. Фу! Что? Ол...? О... Вы? Вы? Оля? Вы? <...>

Итак, надежды рушились, иллюзия пропала! Где ты, Оля? Куда ты скрылась? Нет у меня Оли... Нет у меня Оли... Нет... нет. Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Нет? Нет!!! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!! ха-ха!!!! Постой, тут что-нибудь не так... А? Что это? Да кому я пишу? Оле? Ай-ай-ай, ведь я же пишу Оле? <...>

Да что это я в самом деле? А? Знаю! Я думаю, что пишу себе в дневник, оказывается же, это письмо к Оле...

Здравствуй, дорогая сестрица Оль-Оль! Я так и не исполнил вашего желания — не пришел в электробиограф. <...> Ведь вы отказались от прогулки. Оля! Зачем напрасну заставлять мучить меня? Так обнадеживать, столько обещать, а потом... <...> Право, Оля, вы дождетесь того, что в конце концов возьму да приду к вам. Что же это на самом деле? Ведь у меня Оля-то одна, не десять же их, чтобы я мог к вам не ходить. Да! Ей-Богу ждите. Вот немножко подумаю, а там уж — как хотите! — приду, да и basta! <...>

Когда я прочел ваше письмо, где вы пишете отказ от гуляния, я просто не знал, что делать. Отказаться от Оли? Но ведь это не в моих силах! Я связан с Олей такими цепями, что их, кажется, сам дьявол не разорвет. <...>

Ах, вырвал бы из груди, что засело туда, что давит мне так. Ой, помогите... Боже, как грустно... как тяжело... Что это со мной? Один! Один во всем свете! И нет никого... А там оно так гложет, гложет...

«И скучно и грустно

И некому руку подать!..»

Бедный я! Нет! Одна наука! Только ты одна приносишь мне успокоение. <...>

Вот опять сел за письмо к вам. Подумал, подумал, да и решил, что написанное мною не больше, как чепуха. <...> Вы, правда, своим отказом меня прямо убили. Но я прочел ваше предыдущее письмо опять, и меня двинула ваша усиленная просьба «понять вас», опять писать вам. Да! Будьте покойны, моя миленькая сестрица! Я вас понимаю. Дело в том, что я ведь тоже ни с кем <не> гулял никогда. Если же я хотел гулять с вами, то это по двум причинам. Во-первых, это вы — Олечка, а не Попова и прочая дрянь. Во-вторых, гулять-то я собирался на (Ермаковском) проспекте. То есть там, где меня никто не знает и где никто не гуляет. На Московскую да еще вечером я не пойду ни за какие миллионы. Если же хотел гулять с вами, то утром, когда все видят, что нам, паре, нечего бояться, то есть что мы не из этих, «скверных». Понимаю! Вы стесняетесь и боитесь пересудов? Даю вам на это свою «лапку» (по вашему выражению). Только вы уже в другой раз так меня не убивайте! Уж если хотите, то подготовьте к этому, а не так сразу. Разумеется, я ваш по-прежнему. «Я вас люблю любовью брата и, может быть, еще нежней...» Своим отказом вы нагнали на меня облачко сомнения, мне так стало грустно и скучно, и я уже начал было думать, что вы не хотите гулять прямо, не желая со мной видаться. Конечно, я не скрываю своего настроения, вот и написал вам. Боже мой! А посмотрите, как я подписался: «Прощайте. А. Л.» <...>

*Позднеева — Лосеву*

<...> Ведь вы знаете, что я вас люблю... Но сами рассудите, как мы берегли нашу тайну, и вдруг — ну прямо не найду выражения — все это так кончится пошло, шаблонно, нет, нет, нет. Если вы любите меня, то придете к нам, а гулять... Показывать всем на вид нашу близость... Какой вы, право, умный, Алеша, а этого понять не можете. Алеша! Дорогой! Ведь если я вам дорога, то должно же быть дорого вам мое имя. Поймите, ведь вы — мальчик, вам говорить не будет, а я... Ну подумайте хорошенько... Почему же вы не хотите прийти к нам, как я написала в этой книжке? Попросту в мою комнату... Много мест я не понимаю в вашем письме, как будто что-то страшное, непонятное... Неужели потому, что я девочка?.. Вот ведь это меня страшно интересует. И потом, я вас люблю совсем не так, как вы меня, судя по вашим выражениям. Если вы любите меня так сильно, то, надеюсь, придете. <...>

Поймите, что на Оль-Оль сердиться нельзя, и ведь вы сами говорите, чтобы я не расстраивалась и берегла себя для вас, у меня сейчас болит горло, я хриплю, есть жар, но, чтобы видеть вас, я пришла в церковь, а вы?.. <...> Неужели вам трудно прийти к нам?.. Господи! Помогите мне вынести без ропота все, что ты мне посылаешь! Если бы вы знали, насколько я больна, насколько я чувствую себя слабой... И вы говорили за то, чтобы я вышла, по морозу, ведь я могла захватить что-нибудь серьезное. Ах, Алеша, вы несколько не жалеете меня, вы думаете только о себе. <...>

*Лосев — Позднеевой*

Вы отказываетесь от получасовой прогулки. Это жестоко! Разумеется, это все равно для того человека, который к вам равнодушен, но не для меня. После тех строк, которые стоили мне таких переживаний, которые заставили меня столько перечувствовать, я получаю от любимой девушки страшное «нет». Вы не можете понять, как это для меня было тяжело. <...> Я так не хочу. Довольно и того, что у меня сердце, так привыкшее грустить, довольно того, что я страдаю, думая о пошлости всего человечества и стремясь разрешить какой-нибудь научный вопрос. Что же с меня станется, если я еще буду тратить свои последние силы на страдание из-за отдельных людей? Нет, это невозможно! Я не привык к свету. Мое занятие — не танцы, не гулянье, не веселье, а — кабинет, книги и сочинения. Я хотел найти себе счастье вне моего кабинета, но... Я рascal самые нежные слова, всю душу клал в свои письма, отрывался из-за них от важной работы, а мне чем ответили? Нет! Не будет здесь счастья, счастье там, у Бога... Боже! Как здесь все низко, пошло, легкомысленно!.. Да, Оля! Утром после вчера я был счастлив. Ваш отказ лишил меня этого счастья. Я страдал весь день и следующую ночь. <...> Нельзя так играть с душой человека! Нельзя, Оля! Заметьте! Помните эти слова, когда на вашем жизненном пути встретится кто-нибудь другой после меня. Вспомните тогда своего Алешу, своего бедного и вечно грустного мальчика, который всю жизнь потратил на науку, на знание, который, находясь где-то там, далеко, далеко в своей комнате, посылал самые искренние пожелания и питал к вам самые чистые и возвышенные чувства. Бедный мальчик Алеша! Вспомните его слезы, его слезы... Он плакал... он вздыхал о вас... Конечно, там найдутся другие, более достойные, чем я. Конечно! Позвольте вас, быть может, в последний раз назвать своей сестрицей, своей миленькой Оль-Оль. Милая, милая моя Олечка! Глазки мои! Кто они еще так понравятся, как мне? Кто будет так ценить их, как я? Кто будет видеть в миленькой Олечке предмет такой возвышенной любви, как я? И кто не опозорит своей любви самыми низкими желаниями? А я хотел такого счастья, только чистоты, любил только глазки и любил только сердце моей Оль-Оль. Кто будет вас так уважать после меня? Прощайте, Оля! Желая вам счастья и всяких успехов. Вы будете хохотать, смеяться, шутить, а я буду вечно грустен, вечно учен... вечно у меня будут слезы! Прощайте. Не поминайте лихом своего «мальчика Алешу». А. Л.

Р. S. Боже мой! Какое испытание! Ведь я же еще приглашал Ольгу Владимировну в театр. Боже! Пошли сил перенести все это! Хе-хе-хе! Возмутили вы меня на целых три месяца. Всколыхнулось что-то в груди и теперь умирает, принося мучительную боль...

*Позднеева — Лосеву*

<...> До сих пор я не думала, чтобы я была способна на такую любовь, но я люблю, в первый раз, и поняла ее только после сегодняшнего обморока. Вы только подумайте, насколько вы дороги мне, ведь опасались за мою жизнь от вашего отказа писать мне. Но довольно... Я хочу любить, а не ругаться. Я вас люблю так сильно, что, вероятно, больше, чем вы меня, только теперь я могу писать, когда папа спит, а мама... Какой она наивный человек! Милый мой мальчик, как хотелось бы мне увидеть вас, какое счастье вы принесли своим приходом, какое-то особенное возвышенное чувство охватило мою душу, мне хотелось только смотреть на ваши милые и дорогие для меня глаза. Кто знал, что мы встретимся при таких обстоятельствах. Приходите завтра, мой славный, дорогой Алеша, не убивайте же меня во второй раз. <...>

*Лосев — Позднеевой*

Экстраординарное свидание! Свидание без всякого приготовления, без всяких ожиданий! Да, Олечка! Вот уж ни вы и ни я не знали, что так увидимся. Вообще у нас все необыкновенно. И познакомились мы не так, как другие знакомятся, и пришел я к вам тоже не так, как другие. Милая Олечка! Но стойте, я вам расскажу, как к вам попал. Последний урок у нас был латинский язык. Я пошел после уроков в учительскую, отпер там один шкаф (у меня есть ключ, дал учитель), положил туда книги некоторых учеников и хотел было уже идти одеваться, как вдруг ваш старший брат подошел ко мне и сказал, что внизу меня дожидается его мама. Боже, что со мной случилось! Я так испугался, что прямо забыл все. Зачем я нужен? Да еще в такое время? Что по поводу Оли — уже это наверно. Но что же именно?.. Иду вниз, подхожу к парадному. Там стоит ваша мама. Крепко пожала она мне руку и голосом, прерывающимся от слез — бедная! — сказала, чтобы я как можно скорей шел к вам. Она так любит вас, так любит, что сказала мне: «Ведь вы знаете, как я ее люблю, ведь это моя жизнь, ну пойдите же, Алеша, к Оле, пойдите к ней, может, она успокоится, увидя вас». Что мне делать? А ваша мама говорит, чтобы я шел сейчас же. Что делать? Надеваю шубу, выхожу и иду к вашему дому. Вошел. К Моте. А мама ваша пошла к вам, вероятно, чтобы укрыть вас и привести в порядок. Затем вошел к вам я...



Что я чувствовал, если бы вы только знали. Я увидел милую, родную для меня головку на белой подушке... Оля лежит и тихо стонет... Боже мой! А вы так прекрасны были, так сделались мне дороги, что я... я прямо стоял около вас, смотрел на вас и не мог промолвить ни слова. Меня оставили одного в надежде, что как-нибудь вы очнетесь. Но вы не приходили в себя. Ваша мама так нежно говорила слово «Олечка», таким голосом повторяла его: «Олечка, Олечка, встань, милая, Олечка», — что я едва сдерживал свои слезы. Боже! Как она говорила: «Олечка, Олечка, Олечка!» Таким голосом, таким голосом!..

Наконец вы наполовину открыли глаза, еще через минуту открыли в другой раз, потом стали смотреть. Вот они, глазки мои милые! Как хороши они были! Вы заговорили... Нас оставили вдвоем. Мы немножечко поговорили. Кто знал, что мы так встретимся! Оля моя лежит, а я сижу около нее, тут же, и смотрю ей в глаза, а она держит в руках мою руку. Боже мой! Неужели это действительно было так? Да, Оля моя действительно добрая и сердечная девушка! Я теперь понял, как мы любим друг друга, как связаны наши сердца! На вас так подействовало мое то письмо, что вы... Я не прошу извинения. Я так виновен, так перед вами провинился, что мне не должно быть пощады. Я настолько недоволен сам собою, настолько считаю себя преступником, что даже не прошу извинения. Разве может просить извинения человек, который совершил убийство? Он не будет просить, потому что сознает всю важность своего поступка. А я? Ведь я заставил Олю страдать! Разве я не убил ее своим письмом? Нет, я не знаю, что со мной случилось. Ведь только вспомнить, что я говорил! Боже, что я говорил! Ужас! Но, Оленька, я... я люблю вас, я приношу к вам свое сердце, свое свободное сердце, хотите распотчите его ноги, хотите берегите, вы вправе теперь делать со мной все. Я уже не могу противоречить. Олечка! Миленькая моя Олечка! Пожалейте же меня, не гоните, будьте другом. Я весь ваш, с головы до ног, весь ваш до гроба. Но вы сказали мне, что не сердитесь. Какая вы добрая! После такого оскорбления (да! я теперь только сознаю, что вы оскорблены были мною), оскорбления, вы так милостиво со мной обошлись, так были добры! Олечка! Жизнь ты моя! Любовь ты моя! Ах, что я сделал, что я сделал! Я так был недоверчив к тому человеку, который и любил меня, и писал мне так нежно и ласково... «Зачем вы так написали?» — вот ужасный вопрос, на который и теперь я не могу ответить. «Зачем вы так написали?» Вот она, вот перед глазами стоит Оля и спрашивает: «Зачем вы так написали?» Ах! Что я наделал? Что я могу ответить? Да, милая Оля, я вас обидел. Но теперь уж я так уверился в нашей дружбе, что не буду никогда и помышлять, что между нами может быть что-либо необщее. Теперь я убежден, что Оля меня любит. Милая Олечка! Простите меня! Я вас так люблю, так люблю. Особенно после сегодняшнего свидания. Вот как мы увиделись. Вы, наверно, и не думали, что тот самый Алеша, который написал вам такое ужасное письмо, так скоро будет около вас. Забудьте же, Оля, то письмо. Вы видите, как я вас люблю, как ценю вас и уважаю. Забудьте же все эти неприятности, которые я доставил вам своим проклятым письмом. А скажите, почему это ваша мама ко мне обратилась? Разве она знает о нашей переписке, знает, что мы друзья? А? Почему она могла знать, что я вас могу успокоить? <...>

Выздоровливайте же, Олечка, успокойте и маму, и меня. Бог да подаст вам сил для борьбы с болезнью. Я ваш вечный защитник пред Богом в своих грешных, недостойных молитвах. <...>

Эту книжечку я вам не дам. Пусть она останется у меня навсегда. Я постоянно буду читать ваши милые, дышащие любовью и добротой страницы и вспоминать свою дорогую, бесценную сестричку Оль-Оль.

### *Позднеева — Лосеву*

<...> Вы спрашивали, когда мама узнала, что я люблю вас. Я по обыкновению стояла в постели на коленях и молилась Богу. Мама вошла тихо, чтобы не мешать мне. Я ее не слышала. По окончании обыкновенных молитв я говорю: «Господи, сохрани раба Божьего Алешу», и у меня скатилась слеза. Мама подошла и крепко, крепко поцеловала меня. Вот и все. Ах, Алеша, как вы дороги мне, я теперь живу и думаю жить только для вас. Мое сердце тоже, как и ваше, принадлежит вам, только одному. Боже! Как я была счастлива, когда увидела вас у себя в комнате, вас, моего дорогого, родного для меня Алешеньку. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

<...> Ну вот наконец я и был у вас. Был же по-настоящему, не так, как вчера, когда вы лежали без памяти, а уже как следует. Ну что? Как?.. Наверно, я вам не понравился своей манерой держать <ся>. Ведь, по существу, я мало привык, все больше сидишь за книгой, один, немудрено поэтому, что мои манеры грубы, моя фигура неуклюжа, ухаживать я не умею, говорить нужные комплименты — тоже. <...> Мне не нужно вам объяснять. Знайте, что за моей невзрачной оболочкой кроется сердце, так любящее вас, так к вам привязанное! Боже мой! Я целый день сегодня думаю о вас. Вы такая милая, такая хорошая девочка! Миленькая! Она любит стоять; когда я хожу по ее комнате, она стоит неподвижно, как будто отвечает урок. Дорогая моя! Как люблю я вас. Пусть люди говорят, что хотят. Ведь они не испытали настоящей любви, чистой и святой любви, они зна-

комы только с возвращением этой любви, только с одними пошлостями. А мы любим друг друга такой возвышенной любовью, такой тихой и радостной для нас, что она нам, кроме счастья, ничего не приносит. Ведь мы любим не оболочку, не наружность, а любим духовно друг друга. Вы любите меня за книги, а я вас за чистоту, за доброту, за ласку. Милая моя Олечка! Вы были правы, когда не захотели гулять по Ермаковскому. Это правда, какие бы пошлы толки. Ведь мы теперь и не гуляем вместе, а уж того и гляди, что кто-нибудь тебя заденет. Вот, например, сейчас. Мама шла на Московскую, а я попросил ее заехать в театр — купить нам билеты на воскресенье. Она согласилась. Как только она собралась, пришел ко мне Полтава\* и стал просить, чтобы я помог ему подготовиться к завтрашней письменной по алгебре. <...> Когда возвратилась мама и принесла в мою комнату билеты, то он спросил, для кого они куплены. Я сказал. Боже мой! Что с ним сделалось! Начал гоготать, смеяться, забывая всякие правила приличия! «Ага, Алешечка, и вы тоже туда! Также за барышнями ухаживать! Да! Хорошо! Нечего сказать! Тихоня тоже!» — и прочее в этом роде. <...> Так-то, Олечка! Вот Полтава смеется, а там Микш\*\* упрекает меня, что я не следую своим убеждениям — провожу время с «барышнями». Бог с ними! Пусть говорят, что пожелают! Они не в состоянии поять любви, настоящей любви, не испытали ее — вот и смеются над нею, а испытавший ее и умный человек никогда бы не позволил себе смеяться. Я прощаю им всем, ибо они действуют, мало отдавая себе отчета в своих действиях. Так же советовал бы я поступать и вам. В женской гимназии небось языки еще длиннее. Не обращайте внимания на это. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

<...> Как я плохо себя чувствую, милый, хоть с вами поделись своим горем. Но начнем по порядку, вчера... я, право, не помню, что было вчера. Сегодня встала в четыре, до восьми учила уроки, а двадцать минут девятого пошла в гимназию по обыкновению с горничной, и вот с этого времени началось мое мучение. Пишу вам откровенно, может быть, на душе хоть немного легче станет, как с близким человеком поделишься. Я иду, идут наши ученицы. Смеются: «Маленькая с няней идет». Ну, думаю, пусть, а ведь неприятно-то, что они знают отлично, что я нездорова, а так говорят. Они сами не сознают того, какое страдание они приносят мне своими замечаниями. <...> Прихожу в класс, классной дамы нет, но вдруг говорят, что она придет ко второму уроку, вот и началось: «Не было печали, так черти накачали». И это в женской гимназии! Меня прямо так и перевернуло, как бы она ни относилась, все равно она старшая. <...> Пришла одна ученица, с которой мы больше всего сходимся. Вечеслова. И мы пошли гулять в коридор. А там приходилось слышать такие разговоры, что волосы дыбом становятся и краснеешь, сама не зная за кого. <...> Ну сегодня день — мучение, никогда мне так не было скверно. <...> Пришли в физический, я сижу и слышу сзади себя разговор. Чувствовала я себя совсем плохо да еще пришла из-за физики, а по ней не спрашивают. Сижу бледная, да еще круги под глазами. А они что выдумали. Говорят, что я набелилась и глаза подвела. До чего это все меня возмущает; а между тем ведь их не разуверишь, лучше, думаю, молчать. <...> Такой неприятный осадок был под конец урока, что я чувствовала, что вот-вот со мной сделается дурно. Вечеслова заметила, что ногти у меня уже чернеют, а это верный признак перед обмороком. <...> Я хотела сидеть до конца, но Вечеслова прямо-таки насильно собрала мои книги и сказала мне, чтобы я ушла домой. Я, конечно, чувствовала себя очень плохо, то и согласилась. Сначала пошла смотреть, не пришла ли моя классная дама, чтобы спросить позволения идти. Подхожу к ней. Она раздевается, и говорю ей, что я не могу сидеть на уроке и пришла из-за физики. Она мне говорит в ответ: «Незачем вам было разгуливать по Московской вчера». Господи! Пошла с мамой, а главным образом за лекарством, и вдруг преподносят такие вещи. Я, конечно, вспыхнула, а она посмотрела и говорит: «Можете уходить». Да так сухо, что я чуть-чуть не растянулась-таки же. Я так плохо себя чувствовала, что не сообразила послать служителя за извозчиком, пешком пошла домой. Добрела благополучно, а пришед домой, не могла дольше сдерживаться и как только начала рассказывать маме, то упала на кровать и пролежала часа два. Какой тяжелый осадок оставила у меня гимназия. <...> Теперь буду отвечать вам на ваши вопросы. Конечно, от всего сердца искренно и только правду. Вы, Алеша, прелесты. Мне очень нравится ваша манера держать себя совершенно свободно, это меня очень радует, что во мне вы видите близкого вам человека, но, может быть, ваши манеры показались бы кому-нибудь и грубыми, но мне они дороги, дороги так, как только может быть дорого. Мне нравится и ваша манера ходить по комнате, ваша фигура ничуть не неуклюжа, а наоборот... Словом, вы произвели на меня самое лучшее впечатление из всех знакомых. Алеша! Дорогой, как я вас люблю, как хочу вас видеть, жду в свою комнату. А моя комната, верно, неприятное впечатление на вас произвела? Может быть, у вас лучше? Но теперь мне вовсе не до уборки в комнате, лишь бы все на месте было, да и чаще всего не все на месте бывает. Почему вы написали так мало? Неужели же вам нечего мне писать? Я как сейчас вижу вас перед своими глазами ходящим по комнате или стоящим напротив меня и говорящим: «Среди всех вопросов...» Как вы красиво говорите бу-бу-бу. Дитенок мой славный! Алеша дорогой мой. Боже! Как я вас люблю. <...> Знаете ли, мне бы было довольно уви-

\* Полтавцев — гимназист, приятель Лосева.

\*\* Вл. Микш — гимназист, друг Лосева, сын И. А. Микша.

деть вас только на минутку. Взглянуть в ваши чистые, глубокие, полные доброты глаза и успокоиться, какое успокоение приносит мне один ваш взгляд. Нет, Алеша, не сомневайтесь во мне никогда. Верьте мне, в вас моя жизнь, мой дорогой. <...> Приходите поскорей, жду вас с нетерпением с карточкой. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

Ну вот опять обмороки. Господи, когда уж они только прекратятся! Ну подумать только — Олечка — и... противный обморок. Фу! А я был так рад, когда узнал, что вы чувствовали себя ничего... Я уже думал, что мои молитвы дошли до Бога... Ну, ничего, Бог даст, все пройдет. Ведь каких только болезней не бывает, бывает еще хуже, но проходят же, а у вас будет постоянно? Нет и нет! Только знаете что? Моя к вам просьба — не пишите о смерти... Ну разве вам приятно? Право, как прочтешь о смерти от вас, сразу настроение другое, и уже прочтешь все письмо, а слово «смерть» так и вертится в голове. Ну зачем мне писать об этом? Ведь если вы умрете, я с ума сойду. Не нужно мне ничего тогда. Если хватит сил перенести это горе, я буду жить и останусь верным вам до своего конца, а если нет... то ждите там меня вскоре же. <...> Бедная моя девочка! Вас оскорбляют? Если бы я мог, я был вас защитил. Да я и теперь могу защитить, но мне же скажут, какое мне дело до вас и до них. Да! Теперь я не могу вам оказать услугу, но в будущем... О, вы будете защищены от всяких таких замечаний, которые вас оскорбляют. <...> Ну в чем вы провинились? Что вы сделали всем этим «подругам» такого, что заставило их вас обижать? <...> Везде зло, везде несправедливость! Такие пороки захватили даже тех девушек, которые — Боже мой! — еще учатся, еще куда-то стремятся! Эх-хе-хе-хе-хе! Вот, Олечка, и в науке так. Иногда прочтешь какую-нибудь книжку, и так станет хорошо, так приятно, что вот и этот автор еще не погряз совсем в грязи и пошлости, но чаще бывает наоборот... Какой-нибудь тоже еще «профессор» или «доктор ботаники» иногда такую преподнесет штуку, что только удивляешься его грубости и смелости. <...> Олечка! Дружочек мой миленький! Хоть бы скорей воскресенье. Я не дождусь никак, когда я буду сидеть с вами вместе. Вы такие хорошие люди с мамой, что с вами бы прямо всю жизнь провел. Милые и дорогие люди! Вот я жил один, и ничего не было, жил. А теперь, как узнал вас, уже не могу один. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

Сегодня у меня дивное настроение, это от театра, ведь только подумать — четыре часа быть вместе с Алешей, с *Алешей*. Какое счастье! Как я благодарю Бога! Боже! Как светло у меня на душе, как ясно... Какое безмятежное состояние духа! Алеша! Дорогой мой! Какое это святое, чистое чувство! Как легко мне от одного вашего прикосновения. Одной рукой вы сделали то, что я не могла побороть в себе многие годы, может быть, если услышу выстрел одна, то буду бояться, а теперь... <...> Как мне хотелось бы, чтобы это воскресенье длилось целый век. В вас мое счастье. Алеша, вы для меня — все. Я не могу рассказать вам, насколько сильно моя любовь, насколько сильно мое желание видеть вас почаще у себя в комнате. <...> Какое сильное, могучее чувство вы зародили в моей душе, какой пламень вспыхнул в моем сердце, вы пробудили то чувство, которое спало или которого вовсе не было до вас... <...> Милый мой братец, знаете ли что, вы мне теперь все время представляетесь в голубой рубашечке. Такой дуся, что не грех расцеловать. Милый мой дусеночек! Мама теперь вас иначе, чем херувимчиком, не зовет. <...> Хоть бы поскорей увидеть вас, услышать это милое бу-бу-бу... <...>

### *Лосев — Позднеевой*

Сейчас скоро половина двенадцатого, и я только собрался вам написать. Сочинение еще сегодня не писал, а вам пишу. Фу, черт его знает! Утомил меня сегодня директор на пятом уроке. Понимаете, принес сочинение и заставил меня читать. Сам не взялся прочесть, а почему-то дал мне его читать. Тут и так волновался бы, даже и без чтения, только при одном разговоре, а то извольте при чтении, да еще самому же читать. Боже! Начал читать. Конечно, все прочел, но, знаете, сильно утомился. Ведь если пишешь просто, так себе, как другие, то оно еще бы не так было чувствительно. А то в это сочинение, в сочинение о своем дорогом Жуковском, я вложил всю душу, все, во имя чего я живу, работаю, и все свои убеждения. Конечно, боишься и волнуешься, когда знаешь, что в этом сочинении вся твоя душа, вся жизнь. Я прочел, и холодный пот выступил на утомленном лице. Директор там что-то говорил о моем сочинении, я почти не слышал ничего и дождался звонка, чтобы идти домой успокоиться. <...> Я вспоминал вас каждый раз, как только встречалось там у меня слово «любовь». Вы не сходили у меня с ума даже и тогда, когда я читал сочинение. <...>

*Позднеева — Лосеву*

Ох! Как тяжело! Боже! Зачем я так его люблю? Я готова умереть только для того, чтобы он жил. А он... Просила прийти только на пять минут... Ведь для любящего человека довольно взглянуть только. А теперь как мне скверно, как тяжело на душе. Такое скверное состояние, не дай Бог никому такого... Я прямо-таки еле сижу. А все вы своим отсутствием наделили, ведь это только подумайте — целых два дня не видела вас, хоть бы только взглянуть... Я пишу записку, а вы даже не ответили ни одного слова, и это вы называете любовью. Нет, Алеша, так не любят... Я сегодня утром, когда вы были на уроках, пролежала около двух часов. Как раз до без четверти двенадцать. Очнулась с именем «Алеша». Я думала, что вы зайдете хоть на минуточку на большой перемене. <...> Я написала и — увы и ах — мое письмо осталось без ответа... Господи! Ведь я же его люблю, за что же я страдаю... <...>

*Лосев — Позднеевой*

Так вот зачем меня звала раньше ваша мама! Помните, на Московской она хотела мне что-то сказать, но потом, видимо, постеснялась вас и не сказала. И в письме своем она тоже говорит, что ей нужно поговорить со мной «относительно вас». Да! Так вот оно что! Да! На ее вопрос: «Понимаете меня?» — я отвечал: «Понимаю». Да, понимаю. А вы, Олечка, знаете, о чем мне говорила ваша мама? А? Не знаете? Ну так спросите у нее — она вам, вероятно, скажет... <...> Чего там Бога гневить? Так вы и скажите вашей маме, что в то время, как она «надеется на меня» (она мне так сказала), я надеюсь на Олю! Да! <...> Поневоле пришлось с вами поступить поостроже... Да неужели же я в этом виноват? Очевидно, да, я. Какой же я тогда невежа! Вдруг из-за меня болеет девушка... из-за меня «сразу меняется, плохо кушает», как говорит ваша мама, — это ужасно! <...> Я не пришел каких-нибудь два дня, а вы пишете: «Это разве любовь?» Оля! Вы не щадите меня. Вы не хотите понять, что мне же еще нужно исполнять ученические обязанности, что мне еще нужно исполнять обязанности всякого человека. Нельзя же мне в самом деле не учить урока, хоть даже одного. Ведь преподаватель не спрашивает меня, думает, что я знаю, а я вдруг и не знаю... Это, как хотите, нечестно с моей стороны, это просто — обман. Мне, следовательно, нужно учить уроки к каждому разу аккуратно. Равным образом сочинение и чтение посторонних книг. Ведь не читая, не думая, не развиваясь, я противоречу и своим убеждениям и своему назначению человека. <...> Я могу бывать у вас два-три в неделю, не считая посещений на большой перемене. Больше не в силах. Буквально не в силах. <...> Уж я ли не люблю, уж я ли не надеюсь на свою миленькую Олечку? Я, кажется, готов на все. Пишу уже шестую страницу? Ну не доказательство ли это вам, Оля, что я... До чего жаль повторять, простите! Я кончаю письмом. Я вас люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю и люблю. <...>

*Позднеева — Лосеву*

<...> Жду не дождусь пятницы, когда увижу вас... Странное у меня сегодня настроение: не веселое, не скучное, «а какое-то все равно». Вот сегодня мне говорят, а я и не слышу о чем. Сегодня после обеда я стояла на том самом месте, где вам нравятся, пришел папа и начал говорить, я устала в печку и... Папа говорил больше полчаса, а я... так увлеклась в мыслях, что ничего не слышала, о чем говорил папа... <...> Вот сейчас пишу, вы передо мной... Ваша карточка висит около меня, пишу, а сама временами подолгу смотрю на это дорогое для меня лицо... <...> В вас я не вижу ни одного недостатка, вас я люблю больше всех, ну вы, Алеша, просто Ангел, какая добрая у вас душа... А я?.. Боже! Прямо стыдно бывает иногда на себя... <...>

*Лосев — Позднеевой*

Пишу вам на третьем уроке по латинскому. Вчера не мог написать ни странички. Лег поздно, едва успел выучить по истории. Будьте покойны за меня и успокойте вашу маму: доехал я вполне благополучно.

На большой перемене к вам не могу зайти. Нужно по-русски стихи учить. Впрочем, если успею, то, может быть, и приду. <...> Завтра встретимся после обедни, если не разойдемся. Вы где будете после обедни? Сам я не знаю, пойду в церковь или нет. Но на греческий пойду непременно и буду подниматься по лестнице, когда кончится обедня. Вы будете у вешалки? У какой? Напишите, а то я не особенно зрячий, могу и просмотреть, народу-то много. <...>

*Позднеева — Лосеву*

<...> Вот я пишу вам после обедни. Боже! Как я вас люблю! Нет, Алеша, и не помышляйте о смерти, без вас я не проживу и дня. Этот удар я не перенесу, а если и перенесу, то сама...

Ну, да довольно, жизнь так хороша, а мы... Нет, Алеша, надо жить и любить... Зачем вы мне пишете про глаза? Неужели же это правда? Я не обращала внимания на ваши слова, но теперь не могу понять, чем нравятся мои глаза, они самые обыкновенные... А мне странно слышать от вас такие восторженные похвалы, ведь и ваши глаза тоже красивы или, как это всегда бывает, свои глаза не нравятся, какие бы они ни были красивые... <...> Родной мой мальчик, и вы говорите еще о том, просите меня не оставлять вас на полпути, следить за вами. Боже! Да разве я могу оставить вас, нет, если вы это пишете, то не знаете меня хорошо, *вас*, вас, Алеша, я буду любить до гроба, вас я не могу бросить, ведь вы же сами знаете, *как* я вас люблю, и вы еще можете говорить. Эх, Алеша, Алеша! Помните, что я вас люблю по-настоящему, а так любят «только один раз в жизни».

Кто знает, может быть, мне и понравится кто-нибудь (но не думаю, что это будет), но разве то будет любовь, то будет просто легкое увлечение, а наша любовь, это возвышенное, святое чувство, не прекратится, его не изгладят ни время, ни годы, она — любовь — будет все расти, расти, увеличиваться с годами... <...>

*Лосев — Позднеевой*

Милая и дорогая моя сестричка Олечка! Я был прав, когда вам говорил, что Ю. В.\* упадет при виде вашей карточки. Она не упала, но просидела с ней по крайней мере час, беспрестанно повторяя: «Какие добрые глазки, а какие славные ручки, толстенные, как отточенные, а кофточка, а прическа, а губки...» Да! Олечка! Поистине вы красотка, каких мало. Неужели же это я имею права на такое сокровище? <...> Ухаживать за барышнями я не умею. И никогда этому не учился, говорить постоянно комплименты тоже как-то не могу, чего же вы от меня требуете? Пожалуйста, не взъщитесь, если я когда-нибудь или неуклюже отвечу на ваш вопрос, или, быть может, обойдусь невежливо. Ведь я всю свою недолгую жизнь провел за книгой, наедине, углубляясь в свои размышления, и редко с кем имел сношения, а вы от меня требуете, чтобы я был ловким кавалером, бойко и смело отвечающим на все вопросы, любезным и постоянно сыпящим одними комплиментами и комплиментами. Нет, Оля! Я не могу так. <...> Я работаю для науки и буду так же работать для науки, для духовного развития, для просвещения. Я пришел теперь к убеждению, что всякому нужно стремиться к совершенству, что наша жизнь впереди и что для той жизни каждому нужно себя готовить. <...> Ведь мы не спрашивали же друг друга, в каких отношениях мы будем находиться тогда, когда и вы, и я окончим свои школы... Для нас было довольно того, что мы говорим о своей настоящей любви... А ваша мама... Право, Олечка, не сомневайтесь во мне. Я ваш навсегда. Я ваш до гроба. Такого расположения, такой любви, какую я питаю к вам, у меня никогда не было ни к кому, никогда и не будет. Вы отлично меня понимаете, знаете, какой я. Если те, которые меня называют ученым, правы, и если я действительно веду жизнь ученого или философа, то вспомните, как любят ученые! Они всегда больше молчат, хотя любят еще, может быть, больше, чем те, которые уши всем намозолили своими разговорами о любви. <...>

*Позднеева — Лосеву*

<...> Дорогой мой Алеша, вы говорите, что если я требую только одной любви, то вы мой навсегда, а я, чего же мне надо, кроме любви, я ничего не хочу, не хочу, кроме нее. Если вы пишете так, вы не знаете хорошо меня, ведь я люблю вас, люблю вашу душу, а не Алексея Лосева, как вы не поймете...<...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> Вот, может быть, думаете, что моя наружность такова же, как и внутреннее состояние. Но нет! Наружность почти всегда бывает обманчива! На лице моем, вероятно, не выражается никакого чувства... Но там, в душе... Олечка! Роденькая моя сестричка! Как вы хороша, как я вас люблю! Эти глазки, эта улыбка... Видите, уж я с вами давно знаком, кажется, пора бы привыкнуть к вашей наружности и не восхищаться ею, а я вот как только начну писать вам письмо, так непременно заговорю или о красоте ваших глаз, или о фигуре... Видите, как я люблю вас. И я не могу не говорить о том, что для меня так близко, так дорого... <...>

\* Юлия Васильевна — видимо, родственница.

*Позднеева — Лосеву*

<...> Помолитесь за меня, может, молитва любящего человека и дойдет до Бога... Вы и не чувствовали, чьи глаза смотрели на вас с пролетки, когда вы шли по Атаманской, но верх был закрыт, и вы не видели воздушного поцелуя, который был послан вам вслед... Вы шли такой скучный, такой серьезный, что мне поневоле грустно сделалось. <...> Помните, вы пишете мне письмо, в котором обвиняете меня, что я веселая, даже чересчур, и еще больше добавляете: «Не желал бы я иметь вас такой». Помните?.. Конечно, *безусловно*, с годами я буду серьезней, может быть, моя веселость совсем пропадет, кто знает вперед, но если любишь человека, то любишь его каким он есть, любишь иногда его даже дурные поступки. Я знаю — вы не способны на это, но я скажу вам, ведь, как вы пишете, может быть, я вас и не так поняла, вы хотите переобразовать меня по-своему, а потом любить. Вы серьезно подумайте над этим вопросом и напишите ваше рассуждение, не смущайтесь, если это будет философское, ведь не очень же я глупая в самом деле, пойму вас... <...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> Вы говорите, что если любишь человека, то любишь и его дурные поступки. Ну это извините, это не по-моему. Я знаю, что можно любить и недостатки, но как самому относиться к этой любви? Неужели наше назначение — любить все эти людские грехи, недостатки, низость всю эту? Конечно, когда человек способен к исправлению, то есть основание не только любить, но и *желать любить*. А если человек не способен, то хотя и любишь его, но эта любовь принесет не счастье, а мучения и страдания. <...>

*Позднеева — Лосеву*

Милый и дорогой братец Алеша! Вы или не поняли меня, или прочитали наскооро, не успев вдуматься в смысл всего этого, ну разве я достойна такого ответа, это даже на вас не похоже. Такое сухое письмо... Ну разве вы не знаете, что этими письмами вы прямо-таки убиваете меня, и вам меня не жалко? Но я вас люблю и сердиться на вас не могу. <...> Если бы вы знали, как мне тяжело получать ваши письма такого рода... Мы должны беречь друг друга... Не пишите же больше таких резких писем, ведь они могут когда-нибудь подорвать мое здоровье навсегда, тогда прощай, Оля. Итак, после всенощной у нас... Если придете ко всенощной, то оттуда прямо к нам. Посидим, поговорим, успокоимся... <...>

*Лосев — Позднеевой*

Да! Давненько-таки сидел я за своим столом вечером с этой книжкой! Чем-то родным, хорошим веет от нее. Случайно я отвернул 133 страницу и прочел свое последнее перед праздниками письмо... Посмотрите, сколько там чувства, теплого, живого чувства и к вам, и к вашей мамочке. Такие письма могут быть только от чистого сердца! Я с удовольствием переписал бы даже это письмо на настоящую страницу, но, быть может, вы и сами найдете время прочесть его там, где оно написано. <...> Вот есть порыв обнять вас, есть непреодолимое желание сказать о своей любви — и что же? — приходится заглушать в себе эти добрые стремления, безусловно, дорогие для нашей последующей жизни. Вот чего, Олечка, я боюсь! Ведь сердце желает, желает, а вдруг перестанет желать, скажет: «Что же это мне никакого не дают удовлетворения. Я не могу так». Нет и нет!!! Тысячу раз нет! Свои порывы по отношению к вам, моя милая сестрица, я буду по возможности высказывать вам или устно, или, если это не удастся, письменно. Таить в себе не могу. Ибо вы не кто-нибудь, а — Оля.

Вчера мне один мой товарищ <...> сказал одну такую штуку, которая стоила того, чтобы я над нею задумался. <...> Приблизительно он говорил мне следующее: «Некоторые мамы особенно стараются... о том, как бы поскорее повыдавать своих дочерей... Они выбирают себе одного из знакомых и стараются сблизить его с дочерью. Когда придет пора, эти мамы требуют от молодого человека скомпрометировать их дочь и что поэтому он обязан, он должен исполнить их желание. Они его принуждают, заставляют!!» Вот что сообщил мне товарищ. <...>

Вы не обиделись? Смотрите же! Ваша мама вчера, когда я был у вас и когда вы ушли в зал отплясывать, несколько раз спрашивала у меня: понимаю ли я ее? Я не мог ответить чего-нибудь положительного, потому что Бог знает, о чем она думала, и правильно ли я ее понимал. Ведь она мне не говорила ни слова, а все намеками. <...>

Но бросимте все эти разговоры о будущем. Они так как-то не идут к нам теперь. <...> Нужно ловить время для любви, для счастья, для счастливых свиданий, а не думать только об одном будущем. <...>

*Позднеева — Лосеву*

<...> Я обижена? Ничуть, раз я дала слово не обижаться, с какой стати я не буду исполнять его? Из каких слов вы заключаете, что я обижена? Абсолютно ничего не понимаю, про что вы пишете. <...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> Как будет хорошо, когда все препятствия, разъединяющие нас теперь, исчезнут, и тогда мы будем жить вдвоем, наслаждаясь чистой любовью и тихими радостями вечного, безоблачного счастья. Мы будем оба стремиться к той возвышенной цели, к которой стремлюсь теперь я, и жизнь наша превратится в несмолкаемый гимн стремлений в лучший мир, в мир красоты и добра, в мир идеального счастья. Олечка, родненькая моя сестрица, не будем обращать внимания на те написанные глупые письма, которые мы написали недавно друг другу. Мне теперь понятно, что эти письма — одно недоразумение и что только одна любовь, одно искреннее расположение друг к другу может доставить удовлетворение. Скажите вашей мамочке, что я, хотя и не совсем ясно понимаю то, что она хотела мне сказать, буду стараться делать так, как хочет она. <...>

*Позднеева — Лосеву*

<...> Хочется мне пожить так, как живете вы, хотя я мало чем отличаюсь, но все-таки... Мне очень нравится ваш образ жизни, да ведь и мне кажется, что театра вам вполне довольно для развлечения, да и я ведь иногда тоже не бываю. Думала, думала я и решила, что у нас особенного различия в характерах нет, безусловно, у меня, как вообще у женщин, характер более веселый, но вы сами говорите, что *без веселья* плохо... То есть я вовсе не так выразилась, но вы меня понимаете? <...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> Да! Характеры наши сходны! Сходны так, что иногда странно подумать, что Бог создал двух таких одинаковых людей. Слава Богу! — можно сказать только одно по этому поводу. <...>

Пишу в классе. Здесь я вырвал дальнейшее письмо, в котором я говорил про одного товарища, очень изумившегося над нашей связью. <...>

Сестрица Оля! Я спокоен, но писать вам такое письмо, как, например, на стр. 162—163, я не могу. Конечно, ссориться мы не можем, слово «сердиться» исключено из нашего обихода, но что-то такое недоброе шевелится там внутри... Нет, нет! Я люблю вас, чего там скрывать. А все-таки ваш поцелуй не принесет мне того, что раньше приносил один лишь только ваш взгляд. <...> Дай, Боже, чтобы поскорей миновала эта скверная пора, эта темная тучка, которая набежала на безоблачное небо нашего счастья. Я верю, верю в наше будущее благополучие, верю, что вы мне самый близкий друг на свете, но — простите! — сейчас не могу писать вам, как раньше, ибо не хочется себя принуждать. Но вы же не думаете обижаться. <...>

*Позднеева — Лосеву*

Да! Тяжелый крест выпал на нашу долю, Боже! Что это? Неужели же люди так злы? Алеша! Родной мой! Как я вас люблю! За что оскорбляют вас, оскорбляют *меня*. <...> Господи! Помогите нам перенести все это, ведь я же так люблю, из-за вас я терплю эти оскорбления и могу сказать, что готова страдать и за вас... <...> Я готова все сделать, чтобы прекратить эти толки... Алеша! Неужели же люди так грязны, что во всем видят что-то такое скверное? Вы только подумайте, одно то, что они распространяют слух про нас, что мы на «ты»... А главное, неправду... ведь они отлично знают и вас и меня и... <...> В городе говорят — и кто? Ваш товарищ. Ох, Алеша! Хотелось бы забыть все, да не забывается, не могу... Ведь это не забывается скоро? Но я все-таки рада, что вы сказали мне про это. Теперь вы не один страдаете, а с вами вместе и ваш друг, ваш вечный друг. <...> Но довольно об этом, и так до того скверно, что лучше не раздражать ни вас, ни себя... Ведь если я чиста, то никогда никакая грязь не пристанет ко мне. А я чувствую себя совершенно спокойной относительно вас и себя, только изредка подумаешь, что вдруг все пропадет, все исчезнет... Думаешь, только одна любовь не пропадет никогда... Ведь это не простое увлечение, не пустое знакомство... Часто теперь приходится задумываться о будущем. Прежде не хотелось, а теперь? Вы пишете почти в каждом письме и заразили меня. Вот мы все-

гда заражаем друг друга... Почему-то мы во многом сходимся. <...> Вот ведь мама говорит не обращать внимания на эту глупую ложь и эти пустые сплетни. Но как же можно не обращать внимания, когда клеймят человека совершенно чистого и не только его, но и близких его, он так их позорит. <...> Все шло так хорошо — и вдруг... Нет, Алеша! Пусть снова будет хорошо, забудем, нет, не могу... ну... Словом, будем поменьше придавать значения этим пустым сплетням. <...> Чувство любви, это святое и возвышенное чувство, поборет все, оно чуждо этой людской пошлости, этой людской низости, про нас говорят, *а мы будем чисты*. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

<...> Я задал себе вопрос: а что если бы мне сейчас пришлось разойтись с Олей навсегда, то есть если бы я ее потерял? Вы не можете представить себе, какое странное чувство охватило меня при этом предположении. Я понял, что могу быть счастливым только с вами. <...> Находясь тогда под впечатлением нанесенных мне оскорблений, я на время забыл о своей любви к вам, на время стал грустным. <...> А что касается всех этих сплетен, то — знаете, Олечка? — без них не проживешь. Жуковский совершенно правильно рассуждал, когда заверил, что «несчастья — великий учитель». <...> Будем же смело бороться за правду, будем гнать от себя зло и просить у Бога сил для противодействия этой пошлой, грязной, мрачной человеческой натуре. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

Милый и дорогой братец, Алешенька! Здравствуйте, моя радость... Сегодня вы у нас, как хорошо, приятно делается на душе от этих четырех слов. Вы просите помочь вам, посоветовать, куда пойти... Придете, вот и поговорим, только если вы придете, то как тяжело будет отпускать вас не домой, а в читальню. Ну да это как хотите. Скажу одно, что нашего свидания я не перенесу, потому что сама соскучилась за вами. <...> А насчет задачек я вам ничего не скажу, потому что я решать их должна сама, и какая мне будет польза, если вы мне перерешаете. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

Прийти к вам, милая Олечка, не могу. Мотя говорит, что я ни разу не был у вас со здоровым умом. Простите, родная. Я не могу быть нахалом. Идти тогда, когда другие этого не желают. Я не приду и завтра. Приду тогда, когда все будет мирно и когда я не буду никому у вас мешать. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

Я нездорова, а вы обращаете внимание на Мотю. Да и с Мотей я говорила, он мне говорит, что вам он абсолютно ничего не говорил. <...> Мама спрашивала за меня Мотю. Он говорит тоже, что ничего не имеет против того, что вы бываете у нас. Вы решили не ходить. Недели две? Это не называется любовью, ведь вы не будете видеть меня. Это для вас — ничего. <...> Одно могу сказать... Если любите — то придете... <...>

### *Лосев — Позднеевой*

<...> Простите, дорогая, что я не писал вам два дня. Сами знаете почему. Теперь вы, кажется, знаете, что значит много заниматься — объяснять уж тут нечего. Я все вас учил, как нужно вести нормальную жизнь, а сам в эти дни мало что-то исполняю правила этой последней. Работа, работа... Реферат о человеке по живописи, домашнее сочинение к 4-му февраля, завтра в классе две письменных — латынь и сочинение. Да, кроме положенных уроков, еще греческий от восьми часов. Так что завтра я буду в гимназии с утра часов до четырех, а может быть, и дольше. Вы видите, как я занят. Я уж не знаю, приходите ли мне завтра к вам. Прийти — ой как хочется, а некогда. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

<...> Я не знаю, как прошла для вас эта неделя, но для меня она тянулась без конца. Вот ведь думаю, прошу, чтобы пришли в среду, а реферат? Тяжело вам жертвовать науками ради меня. Что и говорить, я знаю — вы начнете оправдываться, нет, не надо — я знаю. Но надо понять, что женское сердце гораздо нежнее. <...> Правда, так хорошо живется на свете, что лучшего не надо. Только тяжело то, что когда ты чувствуешь се-



бя так хорошо, так спокойно, когда чувствуешь, что Божий мир так прекрасен, и вдруг вспоминаешь, что это хорошо только тебе, а ведь есть же люди несчастные... Боже! Сколько несчастия на свете, вот вы вчера сказали, что сгорела старушка... Бедная! Вы ушли, а я думала, ведь когда у нас был вечер, танцевали, смеялись так, далеко горел человек. <...> Вы знаете, что я вчера плакала, мне было страшно жаль ее, она до того подействовала на меня, что я ее во сне видела и... бросилась спасать, но начала задыхаться и проснулась... завернутая с головой в одеяло. Хочется пожертвовать своим счастьем для блага ближнего, и пожертвовала бы, если бы знала, что моя жертва принесет хоть маленькое счастье для несчастного человека... <...>

### *Лосев — Позднеевой*

<...> Когда вы думали о несчастной старухе и обо всех прочих подобных случаях, могли ли быть радостной, улыбающейся? Да, миленькая! Если вы свое письмо написали искренно, то вы должны меня вполне понимать. И правда, разве можно удовлетвориться своим личным счастьем? Вы совершенно справедливо задаете этот вопрос. И я, точно так же, как и вы, отвечаю на него отрицательно. Что толку с того, что у тебя мать, что ты сыт, одет, что ты живешь в теплой квартире, что у тебя теплое пальто, что ты ходишь в театр, что ты имеешь возможность приобретать хорошие книги и читать их, что у тебя всего достаточно? Этим никогда не удовлетворишься, если знаешь, что в то же время на углу сидит нищий, без шапки в мороз, в худой одежде, с грязной, иссохшей, протянутой к тебе за милостыней рукой. Можно ли здесь веселиться и радоваться? Да будь ты хоть так счастлив, у тебя счастье-то счастьем, а душа болит, так не пожелаешь этого и своему врагу. <...> Да мне лучше нести самый тяжелый труд, чем все время веселиться и веселиться... <...> Я гораздо больше вас думал о всей этой земной жизни, о добре, о зле, о науке, о философии, у меня эта грусть должна принять еще большие размеры. Теперь я понимаю себя. Не судите же меня за невеселый нрав. <...> Итак, Олечка, я рад, что вы испытали то же чувство, что постоянно испытываю я. Теперь вы не будете, подобно вашему брату, удивляться моей замкнутой жизни. Ведь мы счастливы с вами, дорогая, мы любим друг друга, но мы не можем с вами оставаться равнодушными к несчастьям ближнего. Пусть другие веселятся, танцуют до упаду, упиваются удовольствиями, мы будем довольствоваться скромными развлечениями, соответствующими нашим взглядам, а все остальное время будем употреблять на совершенствование, на науку, на служение Богу. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

<...> Господи! Как тяжело жить на свете, а все-таки насколько легче делается, когда поделишься своими мыслями с близким тебе человеком, а у меня мама да вам еще все-все напишешь, и как будто жизнь легче станет. А вы, вы не знаете настоящей материнской любви, вы, Алеша, кажется, любите мою маму, прошу вас, относитесь доверчивей к ней. Право, вы знаете, она так много передумала о вас, что с вашей стороны не может быть иначе, как сыновней любви, ведь вы знаете, ее любят все гимназисты. Она обо всех думает, обо всех заботится, мало таких людей, как моя мама... <...>

### *Лосев — Позднеевой*

Дорогая Оля! Ваше письмо странно до невозможного. Вы меня называете несчастным, говорите, что у меня какое-то горе. <...> Бог знает, что с вами творится. Одно мне стало теперь ясно, что вы еще не выросли до тех вопросов, которые беретесь разрешать, и мне можно бы было ничего не отвечать на ваше странное письмо. Но я предпочитаю объясниться. Прежде всего вы говорите о наших матерях. Разумеется, таких близких отношений, какие существуют между вами и вашей мамой, ни у кого почти не встретишь. У вас дело доходит до того, что вы даже не постеснялись говорить ей о нашем сближении с самого начала. Такой близости, я уверен, нет ни у кого, как у вас с вашей мамой. Нет даже у других девочек одного с вами положения и возраста. Но если их нет между матерью и дочерью, то тем менее они (эти близкие отношения) должны встречаться у сына с матерью. Я уверен, что моя мама не любит так меня, как ваша — вас. Конечно, она относится ко мне, как и всякая добрая мать. Но у нас не заведено того, чтобы мы сидели по столько времени, целуя друг друга без всякой причины.

А по-вашему выходит, что любовь родительская — это все. Нет, Оля! Не понимаете вы настоящей любви, потому так и рассуждаете. <...> Вы еще не выросли, еще не созрели, многого не понимаете. Но это не значит, чтобы вы должны были свою

девическую наивность высказывать в серьезных вопросах. <...> Милая моя сестричка, как я вас люблю, а вы еще девочка, Боже мой! Боже, Боже мой! Если бы вы заглянули сейчас в мое сердце! Я прямо чуть не плачу. Миленькая сестрица, родненькая моя Олечка! Ну войдите в мое положение. Представьте себе, что вы искренно любите и искренно привязаны к одному человеку, вы его любите, уважаете, надеетесь на него, а он... он ничего не понимает, он — невинное дитя, незнакомое ни с жизнью, ни с людьми... Ах, милая моя сестрица! За что вы меня так наказываете? Ведь это ваше письмо переполнило чашу сомнений и бесплодных надежд. <...> Утешьте меня, зачем так разочаровываете? А? Вы не девочка? А? Милая.

Видите, вы у меня вызвали слезы. Я редко плачу, а сейчас на очки прямо слеза капнула. <...>

Когда я был у вас в первый раз и увидел вас лежащей в обмороке, я весь день был как в лихорадке, мне было что-то так не здорово, голова пылала, как печка... И теперь мне понятно почему. Вот она, любовь, о которой я раньше только мечтал, вот то чувство, которое я называю самым чистым и возвышенным. Вот когда я понял весь смысл и все неизъяснимое счастье любви! Если бы кто сказал мне, чтобы я указал у себя в сердце, где любовь, я показал бы немедленно и совершенно точно ее, ибо она мне теперь близка и отлично знакома. <...> Откуда у меня такое чувство? Ведь раньше я не шел дальше своих «метафизики», «абсолютов», «имманентной и трансцендентной философии» и прочее, и прочее, а теперь — Боже мой! — сколько оказывается еще разных благ, которых я не испытывал. Оказывается, есть еще любовь. И она дала мне новую жизнь. Я живу теперь совсем иначе, и наука при свете любви стала для меня другой. <...>

Я жил совершенно один. Зима сменяла осень, и весна становилась на место суровых зимних дней... Я испытывал любовь, но какая это была любовь? Это было чувство, не имевшее никакого перед собой предмета... Моя любовь простиралась к небу, к весне и к солнечным дням! Я так же переживал радость и грусть наступавшей весны, я так же любил безоблачные майские лунные ночи. Но эта любовь была грусть и всегда вызывала у меня одни только слезы. <...> Вы принесли мне то счастье, какое редко испытывает кто из смертных. И я считаю вас прямо даром, который послал мне Бог за мои труды. Два человека сошлись, и они не разойдутся! Два сердца слились в одно, две души в одну душу, и от этого слияния так хорошо, так счастливо у меня на сердце. Боже, как прекрасна теперь будет весна! Я жду ее и думаю, что тогда мы будем еще счастливее, еще больше мы будем испытывать радость. Раньше я смотрел на свои товарищеские, как они гуляют со знакомыми или девушками, и я им завидовал. Была весна! Так хотелось прижать к груди такое существо, которое бы сделало и тебя счастливым... Так хотелось любить! Любить! И я не замечал, что мои товарищи, гуляя с знакомками, вели себя пошло и вольно. Я, глядя на них, только страдал и оплакивал свою горькую, одинокую жизнь. Но теперь! О, когда я полюбил Олечку, мне так ясно представились все пошлости товарищей, и я удивился, почему я страдал, глядя на их гулянья. Теперь у меня девушка, которую искало мое сердце, теперь я люблю, я имею что хочу любить, и моя любовь чиста, как ясный майский день. О, когда же мы достигнем всеобщей любви, когда люди полюбят друг друга и действительно станут братьями! Я верю, что наша любовь, Оленька, есть отголосок той вечной любви, для которой создал нас Всемогущий Творец. Будет когда-нибудь новое время и новые люди, исчезнут пороки и зло, настанет Божье царство, где будет и стадо одно и пастырь один. И над этой обновленной землей раскинется свод лазурного, чистого неба, и Солнце любви, красоты и добра осветит всем души, и исчезнут из них все пороки, все зло, все несчастья. Люди будут добры, будет любовь, одна лишь любовь и любовь. Творец всеблагий! Ты создал нас для счастья, ты верил нам блага земли, пусть же скорей мы достигнем Тебя, и пусть будем почитать только Любовь, Истину и Красоту! <...>

Вот и не поэт, а замечаете? Почти вся предыдущая страница и особенно почти вся девятнадцатая написаны чуть ли не стихами. Я сам удивился, когда стал их перечитывать. Вот-то чудо! <...>

Право, я дойду до того, что, несмотря на свою неспособность выражать языком свои чувства, прямо начну объясняться с вами, как в письмах. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

Ясное солнышко — дорогой Алеша! Господи! Как я вас горячо, беззаветно люблю. Боже! Как сильна моя любовь. <...> Ну как соскучилась без вас! Ведь почти уже целый день вдали от вас... Ну пора идти... Мама пришла и сообщает, что пора идти к доктору, у него прием в пять часов, ну пока до свидания. «Иду, мамочка!» <...>

Когда я пришла от доктора, дома ждала портниха. Да, еще доктор предписал как можно больше гулять — четыре часа в день.

Но откуда мы прошли с мамой и той знакомой пройтись. Ведь нахальство — я иду в середине, по бокам мама и знакомая, а нахалы, в их числе и ваши гимназисты,

не стесняются отпускать всю дорогу комплименты, а все больше насчит глазок. Это Бог знает что, я вовсе не рада, что у меня такие дурацкие глаза, ну прямо-таки шаг не пройти. <...> Как только написала те последние слова, у меня схватил зуб. Боже! Как он болел... Я плакала до одурения, вот уж как ни одно, так другое, никогда не бывает, чтобы все хорошо было. Милый мой Алешенька, как я вас люблю, как хочу видеть вас... <...>

Придите, утешьте свою Олю, которая ждет не дождется своего ненаглядного брата Алешу. Знаете, Алеша, вот и сегодня утром проснулась с вашим именем на губах... <...>

Да! Радость доктор сказал, что до седьмого отдохнуть, а потом можно заниматься. Ура!!! Значит, мне не придется бросать гимназию. Слава Богу! Мамочка просит передать вам сердечный привет и просит придти поговорить по очень важному делу, я спрашивала, она мне не говорит, говорит, что это касается Алеши. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

Эй-Богу, Олечка, мне стыдно перед вами. Вы меня так приглашаете, а мне как нарочно нет ни минуты свободной. Вот вы просили зайти «хоть на пять минут». А чего же было заходить на пять минут? За это время успеешь только раздеться да одеться, а вы еще намерены были говорить о «важных вопросах». Уж если бы я зашел, то просидел бы по крайней мере час, но вот именно этого-то часа у меня и не было. Время обеденное и для вас, и для меня. Я всегда очень устаю к пятому уроку, неужели вам было бы приятно видеть вялую физиономию и устало отвечающего на ваши вопросы? <...> Вы теперь не учитесь, вам можно писать хоть целый день, с утра до вечера, а у меня от гимназии, от уроков, от всяких сочинений и книг остается на ответ полчаса или в крайнем случае час, да Оле на письма тоже около часу. <...> Скажите, что заставляет меня сейчас, когда до греческого завтрашнего осталось всего шесть часов, что заставляет меня писать вам? А? Ведь за эти шесть часов нужно и вам написать, и лечь, и спать, и опять вставать, одеваться и идти в гимназию... <...> Вы видите, как нетверд мой почерк. Сколько же правая рука написала только за сегодня листов бумаги! Рука уже до того нетверда, что нельзя хорошо охватить ручку, как будто только со сна. Эх, Оля, Оля! Вы сейчас на покое. А я пишу, пишу, пишу... А что такое должна сообщить мне ваша мама? А? Уж не о нашей ли... нет, неудобно сказать... А? Какое это «важное дело»? Уж не то ли самое, которое возбуждалось на Московской, когда мы шли из театра? А вы не догадываетесь, о чем хотела сказать ваша мама? Если да, то, пожалуйста, напишите мне. Олечка! Вас, оказывается, доктор утешил? Ну дай Бог! Я сердечно рад, что моя дорогая сестрица поскорей станет здоровой и начнет оканчивать свои семь классов гимназии... Ведь окончить их необходимо. Нужно же быть образованной женщиной, чтобы быть в будущем не только..., но и приятной собеседницей для кое-кого. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

<...> Пишите сколько хотите, то есть сколько позволяют ваши утомленные трудными занятиями силы. Я вполне понимаю вас, и, кроме сострадания к вашему столь усиленному труду, ничего не чувствую. Ведь ваше здоровье дорого для меня, ваши силы... Ох, Алеша, если я вас увижу хоть капельку больным, я не переживу... <...> Если бы вы заболели и пожелали бы видеть меня, я бы не раздумывала ни минуты и поехала... Словом, вы сами понимаете, как дорого мне ваше здоровье, вы сами, не утруждайте себя уже до той степени, когда вы не можете держать пера в руке. <...> Как легко бывает во сне, когда видишь вас... А это случается почти каждый день. Но сон приносит только горе, просыпаешься, вспоминаешь, что это во сне, и думаешь, «как же хорошо было, если бы увидеть наяву», и вот, когда видишь вас перед своими глазами, то не верится, что счастье так близко, так близко... Смотрела бы и не насмотрелась в эти дивные глаза... <...>

А вы все-таки не особенно злоупотребляете тем, что я дала вам полное право писать сколько хотите, но все-таки опять повторяю — лучше отдохните, просните лишний часок, чем напишете больше. Я и так уверена в вас, что вы меня любите. Вас не было два дня. Я уже столько передумала за это время, что поневоле заболела. Думала, что вовсе не хотите зайти, потому что для вас не интересно, да мало ли чего можно придумать, сама думала чушь, а слезы на глазах... <...> Вы вносите столько счастья своим приходом, что вы действуете на меня лучше всякого лекарства. <...> Родной мой, берегите себя, милый мальчик. Ну я готова отказаться от самого дорогого для меня — переписки, чтобы вы могли отдохнуть лишний час. Я пожертвую, если это так надо, но мне кажется, что можно бы было сократить в занятиях. <...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> Завтра в класс не пойду. Надо и отдохнуть, и писать сочинение. Да и вы просили зайти. Мне так приятно бывать у вас и смотреть на ваше лицо, когда вы стоите у двери к Матвею и когда свет из окна прямо падает на вас. Дивное лицо. Вы знаете, что один философ сказал: истинно красивое лицо есть самое лучшее зрелище. И поистине. У вас красота не есть красота отдельных частей лица. Только глаза одной своей глубиной и бархатным блеском могут пленить каждого. Но вообще красота у вас живет в *выражении* лица. Видно, что внутри вас так же чисто и невинно, как и на лице. Вот это-то и придает особенную прелесть и вашим миленьким глазкам и всему вашему личику. Миленькая Олечка! Немудрено, что все кричат вам вслед о вашей красоте. Вы так прекрасны, так красивы! И это потому, что красота ваша есть красота не только чего-нибудь одного на вашем лице, но всего его выражения. Простите, Оля! Но, право, мне так хочется высказать все, что у меня на душе. Вы знаете, конечно, что мои восклицания вроде: «Ах, глазки!» совсем не имеют того характера, который присущ таким же восклицаниям всех других. Все ценят в вас наружную красоту, красоту стана и пр. и видят в вас такой предмет развлечений и, может быть, даже наслаждения, но я ценю в вас человека, женщину, умеющую любить и которую Бог не обидел высокими достоинствами. <...>

*Позднеева — Лосеву*

Сажусь за ответ сейчас же после вашего ухода. Как я вас люблю. Вот это — все... Алеша, дорогой мой. Как я счастлива... <...> Мне хотелось узнать, какое впечатление я произвела на вашу маму. Вы не объясняйте, а только скажите — хорошее или плохое... Сама же я решить не могу... <...>

Никак не могу себе представить, как будет Рождество, я не могу даже двух дней пробыть, не видевши вас, и вдруг... Но не будем думать о будущем, будем думать о настоящем. Вот ведь как я вас люблю... Я сама не понимаю, как дороги вы мне, ведь вы поехали на извозчике, а я все время думала о вас, как вы доедете, думала, что в десять вы уже дома, половина одиннадцатого сделали обтирание, так что только в двенадцать я легла в постель... Не спала до часу, все время думала о вас, что вам надо учить историю... <...> Вчера лежала и думала: а теперь мой Алешенька или сидит за книгой за столом, или ходит по зале,— и решила, что уже поздно ходить по зале и что вы, вероятно, сидите за столом и... Изредка вспоминаете так горячо любящую вас Оль-Оль... <...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> А знаете что? На свету, на воздухе, когда вы не в комнате, ваши глазки выглядят еще лучше. Это удивительно, что у вас за глаза. Как это я раньше не замечал? Я знал, что у вас действительно редкие глаза, но сегодня я узнал даже больше, чем предполагал узнать. Когда на дворе очень светло, то у вас глаза приобретают какой-то особенный цвет и блеск... Но нет, я не умею выразить это. Красоту ваших глаз нельзя выразить словами, ее можно разве сыграть на скрипке, да и то только тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает! Да! Миленькая сестричка моя Олечка! А как вы были хороши, когда вчера сели на кровать попросту, с ногами... Как я вас любил в этот момент! Понимаете, особенный приток этого чувства... Право, одну минуту я чуть не забылся... Право слово! Я не осмелился даже сесть рядом с вами на кровати, но потом... потом сел. Ваша ручка... ваш взгляд... Эх, Оля, Оля! Наделали вы со мной делов. Ведь теперь я совсем другой. А все это — вы. Вы же теперь должны следить за мной и не оставить на полпути... Ведь вы же сами всколыхнули мое сердце... Я теперь другой... Так ведите же туда, куда вы меня вызвали своей любовью и своими письмами, которые для меня дороже всего. <...>

*Позднеева — Лосеву*

<...> Ну, Алеша, довольны ли вы нашей прогулкой? Я не особенно, понимать надо в смысле того, что гораздо бы лучше, если бы мы сидели в моей комнате и говорили бы, а то... Ну вы сами, я думаю, понимаете? Хотя я довольна, что мы такое долгое время были вместе с вами... Боже! Одно мне только и счастье — быть с вами да с мамой, а больше никого не признаю, хотя братьев тоже очень люблю, но... <...> Эх, Алеша, вы не поймете меня или не хотите понимать, вы заняты делом, ваша голова работает, вам легче забыть, а мне... Моя голова вся занята вами, только вами, мой родной Алешенька, а как хорошо вы сказали: «Хотите, Оля, чтобы я жил у вас?»

Еще бы не хотеть вас, видеть вас каждый день, слышать ваш голос, нет, мне кажется, это слишком большое счастье... <...>

### *Лосев — Позднеевой*

<...> Помните? А хороший вечерок был тогда! Как вы нежно прижимались ко мне и как ласково гладили по голове! Нет, этот вечер у *меня* никогда не выйдет из головы! В этот раз мы сошлись еще ближе, еще ближе стали друг к другу наши сердца! Олечка! ...кая и дорогая сестричка! Неужели же это не был сон? Мы были вместе? И так близко? Право, Олечка, даже не верится...

А люди не перестают бить языки о нашей дружбе... Оказывается, И. А. Микш\*, после того как он нас тогда встретил около Фертига\*\*, сказал у себя дома: «Вот Лосев ходит с Позднеевой. Все равно он ее не научит! Она не станет от него умней». Ну, как это слышать? Приятно? Черт его знает, что это за люди? А один товарищ, В. М.\*\*\*, то же самое, называет нашу переписку глупой, говорит, что она выдохнется скоро... А еще один, Е. Ф., распространяет слух, что «Лосев с Позднеевой говорят на *ты*». В. М. осуждает вообще нашу связь и говорит, что она, кроме вреда, ничего не принесет ни мне, ни вам. Говорит, что пусть уж другие занимаются разными «делами», а то вот и Лосев тоже так, как другие. «Нет,— говорит он,— ты был когда-то Лосевым, а теперь ты совсем другой». Боже мой! Только одна ваша мама и одобряет нашу дружбу, нашу переписку, наши свидания... Нет нигде ни одного человека, кто бы подтвердил мое доброе к вам отношение. <...> Тяжело становится на душе, когда слышишь от посторонних людей унижающие слова! Да за что, собственно? Неужели наши отношения таковы, что их нужно отвергать, что их нужно называть глупыми? <...> Скверные мысли ходят про нас. Они пятнают в глазах других людей нашу чистую, светлую и возвышенную любовь! Они обессиливают меня и заставляют страдать. <...> Право, Олечка, не вините меня, если какое-нибудь письмо в будущем будет к вам холодно с внешней стороны, то есть если там не будет таких слов, которые бы указывали на наши близкие отношения. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

Родной мой Алешенька! Как я вас люблю! Милый, ненаглядный мой братец. Неужели это правда? Неужели я была у вас? И вы у меня? Боже! Какое счастье! Алеша! Я счастлива без конца... Видеть вас, слышать ваш голос, держать вашу руку — это для меня счастье. Ваша сестричка Оля.

### *Лосев — Позднеевой*

Золотые слова! Как они трогают сердце! Боже! Неужели же была действительно девушка, которая так меня любила? А где она теперь? Теперь она не только не хочет видеть меня, она даже не пишет...

Посудите сами, еще не успеешь вымолвить слова, как тебе со всех сторон кричат, перебивая: «Врешь, не дури!» Разумеется, это не может поколебать нашей дружбы, ставшей нежной уже настолько, что уничтожить ее здесь ничто не может, но все-таки... <...> Ведь и ходить по городу мы почти не ходили, а уж все знают. Ох, завтра опять извольте выслушивать разные толки о тебе. И сердиться не изволь! Как же ты будешь сердиться, когда люди и слышать не хотят об оправданиях, когда они убеждены, что здесь не любовь, а просто развлечение. <...>

### *Позднеева — Лосеву*

Милый и дорогой братик Алешенька! Писать много не буду, потому что сейчас половина девятого, а вчера чувствовала себя совсем скверно и писать не могла, но, право, вы ведь ничего не имели против, если я вам вовсе не напишу. Ради Бога не думайте, что я вам не хочу писать, но, право, некогда. Надеюсь видеть вас у себя в среду, если, конечно, есть время. Простите, что скверно, но спешу. Пока, всех благ и счастья вам желаю и не забыть меня прошу. <...>

\* И. А. Микш — чех, учитель древних языков, с его семьей был близок А. Ф. Лосев.

\*\* Ф. Фертиг — владелец известной в городе аптеки.

\*\*\* Вл. Микш.

*Лосев — Позднеевой*

<...> А знаете, миленькая сестрица, я в глубине души все еще продолжаю надеяться получить от вас такое письмо, которое содержало бы в себе хоть небольшую долю той прочувствованности, той любви, которая так и сквозила в ваших прежних письмах, хотя бы в тех, отрывки из которых я поместил в своих письмах на масленицу. <...>

*Позднеева — Лосеву*

<...> Эх, Алеша, Алеша. Мало у вас веры ко мне. Ведь любят-то в душе, а заглянули ли вы в мою душу? Там — весна, цветы, любовь... Да! Не думайте, что пишу мало потому, что не хочу. Времени нет, как вы этого не поймете, ведь все по-прежнему... Ведь моя любовь все та же. Эх, Алеша! Тяжело и мне в ответ на свою любовь слышать упреки. Пишите же все, мой славный мальчик, и знайте, что, кроме сочувствия, теплого сочувствия и любви, вы найдете отклик на ваши планы и намерения. <...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> Вы не забыли меня — вас Бог не забудет. А я-то вас люблю, моя миленькая сестрица! Да что мне говорить? Уж вы можете судить об этом по одному тому, что я не забыл вас, несмотря на продолжительную разлуку, и что сам старался завязать с вами прежние отношения. Зачем бы мне нужно было вам писать, зачем подходить на балу, зачем опять приезжать и опять говорить о своей любви, если бы я не продолжал относиться к вам, как к самому близкому и самому дорогому для меня человеку? Я бы воспользовался удобным случаем, перестал бы сноситься с вами и прочее и прочее, но этого-то и не случилось, потому что я люблю вас и вижу в милой Оленьке настоящего друга. <...> Я теперь стесняюсь даже долго говорить с равными себе по возрасту девушками. А уж гулять с ними или видаться... Да чего там? Вы ведь отлично знаете, где я и когда бываю; вам известен каждый мой шаг, каждая моя мысль; вам или доносят, или вы сами догадываетесь. <...> Господи, ну как вам сказать, что я люблю вас, что я верю, верю, верю и верю вам, что через десять лет, а может быть, и раньше... Ну, сами знаете что. <...> Верьте мне, если вы хотите настоящей любви... Я ваш и ваш навсегда. И как посмотришь кругом, ну разве найдется кто-нибудь такой, кто бы вас так уважал, так любил, так ценил в вас человека, или такая, которую бы я так знал, как вас, и которая бы так знала меня, так понимала, так была знакома с моими мыслями, моею жизнью, моими планами? <...>

*Позднеева — Лосеву*

Ведь я пишу мало, потому что времени нет. Родной мой братик Алешенька! Простите, что писать много не буду, но ведь вы *верите* мне, а я занята во как. Сегодня классное сочинение. Вчера после пяти уроков были вечерние занятия полтора часа. Так что времени не было совершенно... А вы... Если у вас есть и будет время, пишите все, что у вас на душе, ведь ваши письма... Это утешение для меня, прочтешь — и так легко станет на сердце... Итак, *не обижайтесь*, милый братик, что мало пишу, если будет время, напишу и побольше. <...>

*Лосев — Позднеевой*

<...> Вы любите меня? Ну если да, то чего же медлите сказать мне о своей любви? Оно бы было и утешительно и приятно, и я бы не скучал так по вас, работал бы с новыми силами... А то вот целую книжку списываю я, все одни мои да мои письма, а ваши как будто какие-то примечания к тексту, как будто выноски на полях в книге. <...> Я верю вам, и верю, и жду от вас только помощи для этой веры. Да и что вы можете мне еще дать, как не веру? «Вера, надежда, любовь!» Вот три слова — три великих слова. Дайте же мне их, дайте! Я не загрязню их, я буду их беречь и унесу их с собой в могилу. <...>

А все-таки, как ни холодно ваши последние письма, все-таки и в них проскальзывает чувство. Я и забыл! Ведь ваше письмо кончается словами: «Ваша *вечная* сестрица Оль-Оль». Господи! Сколько хорошего и близкого слышится в одном лишь этом слове! Вечная. Милая Олечка! Спасибо вам, дорогая! Спасибо! Ведь таких слов я от вас уж давно не слышу. *Вечная*. Одно оно поселяет надежды и дает силы для ожидания счастливых дней. Ваш тоже вечный друг, ваш вечный слуга и товарищ, ваш преданный холоп Алексей Лосев.

*Позднеева — Лосеву*

<...> Итак, не печальтесь, моя радость, и верьте, любите, надейтесь и ждите другого, еще светлее этого, будущего... Я живу этими тремя словами, и потому светло на душе и мои чувства к вам все такие же. <...> Жму руку, товарищ! Ваша любимая сестрица Оль-Оль, то есть вечная.

*Лосев — Позднеевой*

Ну вот и слава Богу, сестрица, утешили сироту. А то без сестрицыных ласк совсем осиротел, совсем измаялся. Пишешь, пишешь, а тебе и нет отзыва. Теперь же слава Богу! <...> Обещаете мне говорить одну правду? Если обещаете, то прошу вас написать сейчас же, а если не напишете, то я уж буду думать, что вы будете любить меня так, для приличия. <...> Итак, сестрица, «только правду»! Только чур не обижаться! Слышите, сестрица? Не обижайтесь, не убивайте хоть здесь. <...>

Посылаю вам сердечное спасибо за ваше письмо и за выраженные в нем чувства. «Вера, надежда и любовь!» Не забывайте же о них, как не забываю я. А мне-то и не забыть их никогда, потому что человек я одинокий, и у меня только книги и вы, сестрица. Вас только люблю, на вас только надеюсь и только вам верю. <...>

Сейчас пошел к матери в комнату. (Я ведь вообще мало разговариваю дома, а также и с мамой, но сейчас завел разговор.) «Ну как же поживает твоя Оля?» — был один из первых ее вопросов. «Да все так же», — ответил я. «То есть как же?» «Да по-старому». «Что-то не так, как не говори. То так пылал, так уж были привязаны друг к другу, а то лишь вот вчера не был у ней». «Да разве я бываю теперь два раза в неделю, как раньше? Когда будет свободной ей и мне, тогда и пойду. Вот хоть в субботу». И т. д. и т. д. И все-таки мне не удалось убедить мать, что у нас все по-прежнему. Кончилось тем, что мать окончательно перестала верить нашей дружбе. Я говорил маме, что с моей стороны ничего нет сейчас такого, что бы посеяло рознь между нами. Я сказал ей: «Вы знаете, что у меня мало знакомства с хорошими девушками и что я не посмел бы отвергать такую женщину, которая, во всяком случае, достойна уважения, а тем более Олю». «Так значит ты ей не нужен».

Ну что ты поделаешь? Слышишь в какой раз, а теперь еще лучше — от матери. Могу ли я ей противоречить в этом случае, когда она говорит, что нужно быть дураком, чтобы не понимать всего вашего? Вот опять пишу вам, милая Олечка, опять со своим горем. Что делать мне? Ведь мать даром не скажет. Если уж скажет, так слово — твердо. Помогите, Олюша! Помогите, родненькая! Одно вы у меня утешение, одна радость. Помогите же, Оленька!

*Позднеева — Лосеву*

Вот, наконец, за сколько времени выбралась написать вам как следует. В класс завтра не иду, и потому можно написать побольше. Ведь вы никак не можете понять, что я не пишу не потому, что не хочу или неохота, а времени нет, да так нет, что и сама себе поверить не могу, ведь, вероятно, без экзамена придется переходить, а для этого нужны хорошие отметки. <...>

Что это вы загоревались? Вот говорю вам правду *не о чем*. Ей-Богу, не о чем. Вот если бы сестрица не любила вас, то тогда другое дело, а теперь ну, мой славный мальчик, мой дорогой братец, бросьте свою грусть, ведь я все та же ваша сестрица, все так же люблю вас. Ох, Алеша! Кто бы вас так любил, как я... Видит Бог, скрывать нечего, ведь вы сами знаете, что я не вру... Люблю вас, мой ненаглядный братец. Ведь как вы начнете сами себя разбирать, все-то у вас нехорошо, и волосы, и глаза и так далее. А ведь я вас люблю. Да не оболочку, а душу вашу светлую, такую близкую мне душу, мне так бывает иногда скучно, а вспомню о вас, о моем братце, легко станет на душе... Так не грустите же, мой родной Алешенька, успокойте вашу маму, Ю. В. Ведь если бы я вас не любила, то ни за что бы не зашла сегодня. А что вы обвиняете меня, что я не хочу писать вам, что я вас забыла, что не люблю вас — это брехня. Ради Бога простите за резкость, но, ей-Богу, иначе не могу выразиться, потому что лжи не переносу. Ведь вы, кажется, довольно хорошо знаете меня... <...> Нет, Алеша! Так нельзя, теперь надо заниматься, а потом, потом, когда занятия кончатся, тогда отдыхать... Вот отдохнем на славу! Да здравствует наука, да здравствует отдых после нее. Я думаю, что вы вполне согласны со мной. Итак, мой родной братик, да поможет вам Бог, да укрепит он вас, да даст он вам силы для продолжения учения сего. Сейчас после письма буду на коленях перед Всевышним просить силы для вас, просить укрепить вас! Алеша! Родной мой! Ведь я вас люблю, так работайте же хотя ради меня, своей сестрицы, ведь ваши слова — «Только книги да вы, сестрица». Итак, я буду молиться за вас, а вы за меня, хотя я и каждый день молюсь за вас, но сегодня особенно, ведь вы далеко от меня... Итак, дайте мне слово, дорогой мой мальчик, что

вы будете заниматься, а когда настанет лето, то отдохнем, а теперь с Богом за труд, за занятия. <...>

Знаете ли, сегодня на практическом я была рассеяна, я думала о вас, потому что вы ушли каким-то расстроенным. Даже учительница заметила и удивилась, что я, всегда такая внимательная и прилежная, сижу и мечтаю. Ну, верно, этого письма я вовеки не кончу, половина второго. Ваша вечная сестричка Оль-Оль. <...>

### *Лосев — Позднеевой*

Много, Оля, писал я вам. Писал так много, что дальше уж некуда. Кроме трех-четырех книжек, списанных мною, есть еще писем штук с двадцать, больших и малых, послание на масляной неделе и вот эта книжка. Много! Да! Это я вижу! Вы слишком привыкли к моим письмам, и они вам кажутся самыми простейшими и пустейшими, вы зеваете, читая их, в то время как раньше вы, прочитывая мои строки, и бледнели и краснели (по вашим словам), да и сердечко-то едва ли находилось в покое. Поэтому отныне я прекращаю свое многословие. Оно не ведет ни к чему. Да и вам лучше: меньше времени будет оторвано от «занятий». Благодарю за ваше сострадание, оказанное вами в предыдущем письме мне, скучающему по милой и тоскующему от неудовлетворенной любви. Благодарю! Хотя ваше сострадание и последовало позднее, чем нужно бы было, но все-таки я благодарен за то, что вы хоть чуть-чуть поняли меня. Всей же моей тоски, всех моих переживаний вам не понять! Ведь вам не двадцать и не двадцать пять лет, вам всего пятнадцать.

Мама остается непреклонной в своих мнениях, да и я больше не стараюсь доказывать ей неправильности ее взглядов. Она человек пожилой, и не мне учить ее!

Небось сейчас танцуете? (Я пишу часов в одиннадцать вечера, суббота.) Танцуйте, танцуйте, пока ничего не знаете, не понимаете! Когда ведь станете взрослой да станете все понимать, танцевать вас тогда и силой не заставишь, как теперь меня. Уверяю вас!

Ваш друг и приятель А. Л.

Р. S. Пожалуйста, поклонитесь Анне Александровне от меня и от матери (и, конечно, от Ю. В.).

Р.Р. S. Вы знаете, что у некоторых людей есть такая критическая способность, что они, прочитав одну страницу какого-нибудь автора, сразу определяют, что это за человек и каковы его действительные мысли?

Р.Р.Р. S. Бог — справедливый и нелицемерный судья. Он мудро судит людей и всегда отличает виновных от невиновных.

\* \* \*

г. Новочеркасск  
20-го августа 1911 года.

Настоящим условием мы, нижеподписавшиеся, проводим дележ *пяти* записных книжек, исписанных нами в течение зимы 1909—1910 года, на следующих основаниях

1. До истечения двух лет с настоящего срока О. В. Позднеева не может никаким образом потребовать от А. Лосева возвращения всех пяти книжек, которые она дает ему на полное пользование.

2. После 20 августа 1913 года О. В. Позднеева может требовать дележа книжек.

3. Новый дележ должен быть улажен таким образом, что обе стороны оказались удовлетворенными в одинаковой степени.

4. Возможность невозвращения А. Лосевым пяти книжек никоим образом не исключается.

Ольга ПОЗДНЕЕВА,  
Алексей ЛОСЕВ.

*Подготовка текста и публикация А. А. ТАХО-ГОДИ.*





Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

---

## Под звездами балканскими (балканский кошмар)

И под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские и смоленские места.

*Песня военных лет*

В сентябре 1995 года, то есть почти четыре года назад, я написал «Бомбы на Россию» с подзаголовком «Тревожные размышления» о натовских бомбардировках в Сербии.

Я писал тогда: «Немецкий композитор Норберт Шульце, автор знаменитой песни „Лили Марлен“, сочинил также боевые гитлеровские марши „Бомбы на Англию“ и „Марш на Россию“ на слова поэта Йосифа Геббельса. Эти две мелодии невольно образуют в моей голове этакую музыкальную какофонию, когда смотрю сегодня на экран телевизора, слушаю радио или читаю газеты о происходящем „в бывшей Югославии“».

И вот прошло почти четыре года, снова смотрю на экран телевизора, слушаю радио, читаю газеты. Опять бомбят. На этот раз бомбят уже Белград и другие сербские города.

Я не серб, к сербам отношения не имею. Казалось бы — чего мне так возмущаться, так страдать, так гневаться? Но толстовское «не могу молчать» терзает ныне мою совесть, мою душу и мое сердце еще больше, чем четыре года назад. Почувствовал — если не откликнусь, не напишу, то лопну от возмущения и обиды.

В сентябре 1995 года я вспоминал май 1941 года: «В мае 1941 года в «бывшей Югославии», тогда тоже «бывшей», происходило нечто подобное. С некоторым, правда, исключением. Гитлер по крайней мере не говорил, что, бомбя и обстреливая сербов, он это делает во имя мира. Но, бомбя Югославию, Гитлер готовил бомбы на Россию.

Не следует, конечно, искать в натовском бомбометании прямых аналогий с гитлеровскими бомбами. Впрямую бомбить Россию НАТО не хочет и не может. Для этого даже у самого неинтеллигентного цэрэушника хватит здравого смысла.

Мы знали бандитизм сталинских органов, безнадежную гнусность брежневского комитета, но те, кто видел и видит в ЦРУ их героический светлый антипод, глубоко заблуждаются.

Очевидно, «профессия обязывает». Не стал ли этот «профессионализм» важным эпизодом на сараевском рынке? Вид расстрелянной базарной площади ужасный, особенно же показанный и обсмакованный со всех сторон телерепортерами.

Однако чем далее развиваются связанные с кровью базарной площади события, тем более крепнет внутреннее ощущение хорошо продуманной провокации.

Кто же заинтересован в привлечении на свою сторону натовской мощи?

Простая первичная логика пяти пальцев на руке не оставляет сомнения в подлинно заинтересованных. А зачем это надо было сербам? Можно обвинять их во всех грехах, но нельзя обвинять в самоубийственной глупости.

Однако для осуществления террористической провокации с далеко идущими последствиями возможности самого сараевского режима были недостаточны. Необ-

ходима была профессиональная поддержка не только в осуществлении, но и в сокрытии следов. Кто же? Неужели правы те несимпатичные люди в России, которые по традиции сталинско-брежневских времен указывают на ЦРУ? Но разве обучение исламских боевиков в Афганистане, главным образом исламских волонтеров, составляющих костяк исламского террора, — это выдумка советской пропаганды, как и снабжение их новейшим оружием?»

Я прошу прощения за большую цитату «из самого себя» четырехлетней давности, но ситуация слишком подобна. Подобна, хоть и не идентична, потому что события, как в музыкальном пассаже Листа, идут по нарастающему. Теперь уж точно известно, и даже из первоисточников, что «мистер Цейрушкин» принимал участие в обучении исламского террориста Бен-Ладена и ему подобных. И, исходя из признанного и несомненного факта, я сильно подозреваю, что при создании и при обучении УЧК — «Армии освобождения Косово», «мистер Цейрушкин» был совсем недалеко, а может быть, даже в центре мероприятия. Освобождение Косово от кого? От сербов, конечно. В свое время эту древнюю сербскую землю — колыбель нации с ее святынями, православными монастырями — уже в значительной степени «освободили» по старой национал-исламистской схеме массовыми убийствами и массовыми изгнаниями. А для «окончательного освобождения» в Косово была создана УЧК — «Армия освобождения Косово».

Конечно, подписи, надписи, мирные договоры — но национал-исламистская схема и тут известна: мирный процесс — это разделение труда, одни подписывают, другие взрывают и стреляют. Поэтапные решения — сперва автономия, потом одностороннее провозглашение независимости в условиях фактической оккупации Косово натовцами, вставшими на сторону национал-исламизма. Прошу не путать национал-исламизм с исламом-религией, заслуживающей такого же уважения, как и все иные. Национал-исламизм — это агрессивная политизированная идеология. А разговоры о разоружении УЧК и прочие — не более чем трюк.

Уже сейчас по этому вопросу у «западных демократов» разногласия. В нынешние кризисные дни балканской войны на немецком телеэкране часто мелькает благообразный седой *Herr* в круглых очках Schwarz-Schilling, в прошлом министр ныне упраздненного министерства почт. Потеряв работу «главного немецкого почтальона», этот *Herr* стал одним из главных экспертов по бывшей Югославии. Почему «почтальон» становится специалистом «по Югославии»? Может быть, в 41-м бравым солдатом познакомился с Югославией, а потом с Украиной и Белоруссией? Это, конечно, предположения, хоть и не без обоснования. Теперь же бывший «почтальон», ныне «эксперт» публично заявляет с телеэкрана, что необходимо не разоружать, а вооружать УЧК, чтобы они «защищали свою Родину». О, этот немецкий политический телеэкран, ныне охваченный воинственной эйфорией! Бомбят Югославию «из гуманных соображений»... Как создается «гуманитарная катастрофа» — смотри события на араевском рынке четыре года назад.

Я писал тогда: «У криминалистов существует определение «почерк преступников». И в первом, и во втором случае почерк идентичен и последствия одинаковы. Обвиняют и бомбят сербов. Я далек от мысли превращать сербов в безвинных жертв. Война, в особенности гражданская война, — это действие, в котором невинных жертв не бывает. Не о виновных сейчас речь, а о судьях. А судьи кто? Действительно ли они так умны и честны, что любому их приговору можно безоговорочно доверять?» — так я писал четыре года назад. Но теперь это не только остается актуальным, но приобретает особый смысл. Потому что «натовские судьи», самозабвенно вещающие от имени так называемого «мирового сообщества», окончательно смыли с себя последнюю косметику объективности, помазавшись «миролюбивым элементом». Конечно, толпа «беспомощных албанских беженцев» — ужасное зрелище. Но беспорядки, погромы происходят всегда, когда начинается война. Ясно, что заинтересованы в этой «гуманитарной катастрофе» те же, кто заинтересован в натовских бомбардировках. Сербия же — те из них, кто участвует в погромах, — лишь помогают УЧК. Ясно также, с тех пор, как «Цейрушкин» содействовал созданию УЧК, гуманитарная катастрофа стала запрограммированной. Албанские ученики нападают, убивают, взрывают... В ряде случаев сами поджигают дома, принуждая людей стать беженцами. Я этому верю, потому что это отвечает их целям. Нечто историческое это мне напоминает, косвенно, конечно. Исторические события никогда не повторяются в точности. Чешские Судеты... Посмотрите газеты и хронику 30-х годов.

Чешские полицейские преследуют, нападают, избивают. Тогда виновными, как у Гитлера, так и у западных демократов Чемберлена, Делады, были не сербы, а чехи. Это бы хотелось напомнить пану Гавелу — нынешнему чешскому президенту, новоиспеченному натовцу. До бомбежек «Luftwaffe» тогда дело не дошло, чешский

президент «eingelenkt» (уступил). Гитлер добился своих целей «миролюбиво». Но нынче «нехороший Милошевич» подписывать «мира» не хочет. Что ж, как изволят деликатно выражаться натовцы: «Будем бомбить, пока он не станет на колени и не подпишет мирный договор». Я не хочу идеализировать Милошевича и не хочу переоценивать цифру в 90% населения, которое его поддерживает. Дело не в процентах. Главного нынешнего оппонента Милошевича — президента Клинтон, который лгал под присягой и развратничал, как пьяный матрос, тоже поддерживал высокий процент населения. Чем более обнаруживалось грязных фактов, тем более и поддерживали. Кажется, если бы обнаружилось, что он изнасиловал малолетнюю, этот процент возрос бы до 90%... Толпа, потерявшая моральные ориентиры и живущая только удачами желудка и половых органов, а также процессы полной материализации жизни за последние десять лет, наряду с техническим и финансовым прогрессом, не могут не оказывать воздействия и на моральное состояние своих вождей.

Лишний раз это подтверждается «делом Клинтонов», потому что в США коллективное руководство — супруги Билл и Хиллари Клинтон. Случайно ли, что заполнявшее не так давно телеэкраны «дело Моника и Клинтонов» теперь сменилось «делом Косово и Клинтонов». Это лишний раз подтверждает, что мораль неделима. Как бы ее ни пытались разделить на личную и общественную — уличная толпа с ее «пропрезидентскими» опросами и интеллектуалы с их знаменитыми именами. Супругам Клинтонам сильно повезло, что цикл экономического развития в США совпал своим подъемом с их президентством. Но во внешней политике супруги Клинтон ведут себя так же, как и в личной жизни, — лицемерно и лживо. Это неприлично и для личной жизни сапожника или парикмахера, но кто хочет убедиться, к чему это приводит у персон политических, чьи решения влияют на судьбы стран и народов, пусть читает «Леди Макбет» Шекспира. Я же скажу, что супруги Клинтон, Хиллари с ее властолюбивой страстью и Билл с его фарисейской набожностью — и это при такой-то половой потенции, — внесли свой особый вклад в кровавый косовский кризис. С какими бы посланиями к сербскому народу ни обращался Клинтон, отныне имя его навсегда войдет в психологию, а может быть, и в мифологию сербов как имя кровавого национального врага, наподобие библейского Амана у евреев и летописного Батюга у русских. Потому что нынешняя война — это во многом личная война Клинтон. И если бы состоялся импичмент, то ее, возможно, вообще не было бы или она не приобрела бы такого «миролюбивого» ожесточения. Особенно если прибавить сюда неразумных советников — Бергера с его твердой мозолистой головой, циничного солдафона Кларка и не менее циничного «штатского испанского генерала» Салану, то становится ясным, кто заказывает натовскую ракетно-бомбовую музыку с ее лейтмотивом: «Бомбить, бомбить и еще раз бомбить, пока не станут на колени». Сербские города все более напоминают «Гернику» Пикассо, но это не удовлетворяет натовцев. У Хемингуэя когда-то спросили: «Много ли в Америке фашистов?» Он ответил: «В Америке много людей, которые еще сами не знают, что они фашисты, но пройдет время — они это узнают». Добавлю: если не поймут, то им подскажут, и уже подсказывают на многочисленных демонстрациях от Москвы до Сиднея.

Можно говорить самые прогрессивные миролюбивые слова, на которые Клинтон падок, как лакомка на сладости. Но ядовитая горечь дел превращает эти сладкие слова в тошнотворно-приторные.

Когда Клинтон говорит об уважении к сербскому народу, о том, что не против сербов он ведет войну, а только против Милошевича, мне вспоминается лживый палец, который под присягой на Библии утверждал отсутствие каких-либо интимных связей с мисс Левински. Потому что нет личной и общественной морали, лживый человек остается лжив в общественном, если он лжив в личном, как бы тому ни пытались противоречить опрошенная на улицах толпа и интеллектуалы-подписанты.

В берлинской газете «BZ», о которой говорят, что в ней правдивы только число и футбольный счет, за 27 марта на первой странице — большой портрет Милошевича и крупная надпись «Сербский вождь Милошевич». Ниже, очень большими платкатыми буквами — «der Feind intim» (враг интимно). Ниже чуть помельче: «Алкоголик не доверяет никому. Как психологи его „объявляют“».

Мне кажется, материал бульварной газеты — квинтэссенция пропагандистской кампании, развернувшейся в средствах информации и в кругах политических. Не думаю, что дебаты в бундестаге, если их можно назвать дебатами при подавляющем единодушии ораторов, выглядят галантнее, чем в «BZ». Все партии настолько подвержены патриотической эйфории по поводу балканской войны, что это напоминает мне голосование о военных ассигнованиях 1914 года.

Вспоминаются слова Вильгельма II: «У меня нет партии. Есть только немцы». Тогда, кстати, речь шла тоже о балканских делах и о «нехороших сербах». Теперь 10. «Октябрь» № 6

слова Вильгельма мог бы повторить *Herr* Роман Герцог. «Нехорошим немцем» оказался только немецкий еврей Карл Либкнехт с кучкой своих сторонников. Тот самый Либкнехт, которому через четыре года при попустительстве социал-демократа Носке прикладом проломили затылок, так же как и Розе Люксембург. На этот раз протестующих оказалось меньше, да и люди это, к которым, скажу откровенно, не слишком лежит мое сердце: от «зеленых» — Штробеле, от ПДС — Грегор Гизи. Однако факт — протестовали. Надеюсь, прикладами им голову не проломают, но коллеги со всех сторон их затюкали. И одна «зеленая» коллега, бывшая пацифистка, ныне числившаяся военным экспертом, заявившая, что бомбардировкам альтернативы не было и бомбардируют «из гуманных соображений». И министр обороны Шарпинг — СПД — тоже за «гуманизм».... Как пацифисты обращаются в воинствующих демагогов и как «гуманные» глаза обращаются в стальные, даже за стеклами очков,— из 30-х годов известно.

Главные натовские страны, участвующие в балканской бойне, имеют социалистические правительства. Вообще-то социалисты связаны с антивоенными движениями и даже с пацифистами. Но если уж социалист становится воинственным, то это напоминает постника-монаха, ставшего обжорой, или возбудившегося аскета, врывающегося в публичный дом.

Не знаю как социалисты других европейских стран, но вам, господа Шредер, Шарпинг, зеленый Фишер, скажу: очень скоро вы получите счет от избирателей, потому что аплодирующая вашей воинственности публика голосует за другие партии. Аплодировать она вам будет, но голосовать за вас не будет. Многие ваши избиратели либо не явятся к избирательным урнам, либо будут голосовать не за вас. Я, например, больше за SPD голосовать не буду.

Но не об этом сейчас речь. Скажу лишь, что главный аргумент — «гуманитарная катастрофа» — имеет под собой те же основания, что и в бульварной «BZ» — слухи. Даже Франция заявила, что прямых доказательств нет, все — слухи. Достоверно известно, что в Косово — бой между сербскими правительственными войсками и учекистами. Альтернатива мирного решения косовских проблем была, пока не признали террористов стороной в конфликте и не решили «лечить» этот конфликт шокком бомбардировок. Это нечто наподобие гайдаровской шоковой терапии — но шок есть, а терапии нет.

Попутно несколько слов о наших «реформаторах», Гайдаре и других. Они все более и более становятся фигурами комическими и внутри России, и вне ее. Пример тому — нынешняя белградская история. Забыв, видно, мораль басни Крылова «А вы, друзья, как ни садитесь — все в музыканты не годитесь», трое — Гайдар, Немцов, третьего не помню, условно назову «косолапый мишка» — решили из реформаторских кресел пересесть в дипломатические, посредничать в нынешнем балканском конфликте. Поехали в Белград. Там их далее «передней» не пустили, и вообще принял их какой-то дворник или швейцар. В прессе обозвали нехорошими словами: «мошеники», еще как-то, «развалили Россию, а теперь приехали развалить Югославию». А на улице так обозвали, что и в текст вставить нельзя. Да и что ждать от их детских игр — поиграли в «перестройки», «реформы», теперь захотели в «дипломатов» поиграть. Не поняли, что мир опять становится взростлым, построеным не из детских кубиков, а из реальных блоков. Ибо в будущем XXI веке возникнут опять противостоящие друг другу блоки. Не знаю, будет ли новый занавес из железа или из другого, более современного материала, но, думаю, он будет. И дирижирующий палец Клинтона, под который хором поют немецкий нынешний бундестаг и вся Европа, закладывает первые камни в этот новый разделенный мир. Гася балканский пожар бензином, окончательно сжигают едва наметившиеся связи между Востоком и Западом. Но при этом утверждают, что единственный поджигатель — Милошевич, который не хочет пускать подобных «пожарников» с пахнущими бензином и кровью руками в легко воспламеняющееся Косово.

Все дело, если исходить из «BZ», в неудачной генетике господина Милошевича. Родители-самоубийцы, и у жены Миры, согласно писаниям, тоже нехорошая генетика — мать-партизанка, убитая во время второй мировой войны, то есть во время немецкой оккупации. Убито тогда было немало, но немецкие оккупанты, уж на что хорошие каратели, так и не смогли преодолеть сопротивление.

Те, кто подумывает о посылке наземных войск, должны помнить — не высоко в небе окажутся солдаты, а на земле, в горах и лесах, в условиях жестокой партизанской войны. Профессия солдата — трагична, если он, конечно, не бессердечный и циничный садист. Профессия, предусматривающая также и смерть. И в войне по защите отечества или правого дела это ужасно. Но что может быть хуже смерти во имя

сомнительных, неопределенных и живых целей, провозглашенных «Клинтоном с компанией»?

Во многих странах, в том числе в Германии и России, ведутся дискуссии о профессиональной армии или армии призывников. Балканский кризис явил неожиданный аспект этого вопроса: громче всех кричат о необходимости посылки в Югославию наземных войск страны с профессиональными армиями... Не возрождает ли это средневековый культ наемника, для которого профессия — война? И не является ли для таких стран война более приемлемой, чем для тех стран, в армиях которых служат граждане?

Клинтон, кстати сказать, во время вьетнамской войны отказался служить в армии, преодолевать «гуманитарную катастрофу», созданную коммунистическим режимом Вьетнама и Камбоджи с Пол Потом и прочими. Теперь они Пол Пота тоже стараются навешивать Милошевичу. Клинтон дирижирует из безопасного Белого дома, а в косовские горы хочет послать других. Может быть, дело тоже в происхождении? По слухам, отец Клинтона — алкоголик, но я доверяю не слухам, а лишь веским доказательствам. И в случае с Милошевичем, и в случае с Клинтоном.

На том же первом листе «BZ» от 27.03.99, на котором изображен «враг Милошевич», изображена «подруга друга» — улыбающаяся Моника, посетившая Берлин с целью рекламы своей скандальной книги «о друге Билле», а на другой странице — даже двуспальная кровать отеля «Four Seasons», на которой Моника будет спать одна. Если об интимностях «врага Милошевича» — слухи, то об интимности «друга Клинтона» — не только скандальная книга любовницы, но и многотомные юридически обоснованные обвинения конгресса США, а также его собственные, хоть и путаные, но признания, во лжи и клятвопреступлении. Может быть, придет время и ему придется, так же путано заикаясь, признаваться во лжи и клятвопреступлении на Балканах? Потому что правитель дает клятву не только земле, но и небу. К сожалению, многие правители — клятвопреступники. В этом одна из главных причин трагедии человеческой истории, но и тут степень клятвопреступности разная. Одно дело — Гитлер, «честный преступник», другое дело — «западный демократ». В какой-то степени это еще хуже, поскольку происходят профанация надежд, опошление и осквернение идеалов.

Может быть, не все такие идеалисты, как я? Прожив более сорока лет на низших ступенях тоталитарного общества с сомнительной биографией, скрывая факт расстрела отца в сталинском концлагере, я по-донкихотски думал встретиться на Западе с одной лишь честностью, разумом, справедливостью. Такое донкихотство, думаю, еще более присуще российским умам, чем испанским, и оно традиционно.

150 лет назад Александр Герцен писал: «Первая встреча с Европой веселая. Как же было не веселиться, вырвавшись из николаевской России после 2-х ссылок и одного полицейского надзора? Веселый тон писем скоро тускнеет, начинается зловещее раздумье и патологический разбор».

Такие же чувства испытываю и я, однако нынешние балканские события особенно призывают к зловещим раздумьям и патологическому разбору. Но самое худшее, что подобные чувства испытывают не только отдельные личности, но и большинство российского народа. В сентябре 1995 года при натовских бомбардировках боснийских сербов, которые не остановили войну, как натовцы воображают, а только ее заморозили, я писал: «В темные, злые и смешные времена, когда кокакола и НАТО звучали одинаково опасно для произносившего их с симпатией, во времена сталинского кованого сапога и хрущевского тупого ботинка, мы надеялись на Запад и верили в Запад. Но если «миролюбивые бомбы НАТО» и посеяли сомнения в постоянно существующей западной справедливости даже у людей западной ориентации, то какова же реакция большей части российского народа, десятилетиями разращенного антизападной пропагандой?»

Хочу добавить: нынешние «гуманные» бомбардировки лишают Запад в России последних друзей. Уже Егор Тимурович Гайдар с гневом заявил, что НАТО, перечеркивая справедливость, устанавливает право сильного. А несколько ранее М. С. Горбачев, любимец Запада, жаловался в «Los Angeles Times» на то, что Запад его обманул, не распустил НАТО в ответ на роспуск Варшавского договора, а даже НАТО расширяет. Хочется сказать: «А ты сам куда смотрел, голова еловая?» Но это уже другая тема. Конечно, есть еще небольшая группа «прозападников», которые слепо одобряют все, что бы западные страны ни сделали. Конечно, нынешние правители России — политические и «финансовые», в том числе и высшие, — слишком тесно связаны, точнее, привязаны к своим западным экономическим интересам. Привязаны вплоть до личных банковских счетов и не желают разрывать связи со своими виллами, построенными в живописных местах на Западе. Однако время нынешних пра-

вителей, вплоть до самого высшего, истекает, и это как-то не учитывают те профессора, комментаторы, журналисты да и сами западные правители, в очередной раз совершающие ошибку Наполеона — Гитлера. «Лежит на земле... Зависит от Запада... Политический импотент... В ООН оказалась «побитой собакой»... Дать деньги можно, лишь сказав: «Возьми деньги и заткнись».

«Какой урок дают западные натовцы гражданам России, тяжело, с большими ошибками пытающейся выбраться из трясины своего сталинско-брежневского прошлого? При сталинской диктатуре или даже при брежневском «мирном сосуществовании двух систем» не посмела бы капиталистическая система так пренебрегать интересами и мнениями России», — так писал я четыре года назад. И при этом указывал, что такие насмешки с пренебрежениями и бомбами приведут к избранию национал-коммунистической в своем большинстве Думы. Не надо было быть пророком, чтобы такое предвидеть. Теперь иные комментаторы, вздыхая, вспоминают, как хорошо сотрудничала Россия с НАТО в 1995-м при бомбардировках. Немножко протестовала, но сотрудничала. И спрашивают специалистов профессоров: отчего сейчас не так? Профессора мямлят нечто в ответ, выражают надежду. Напрасны надежды, господа! В 1995 году удалось втянуть в нечестные боснийские дела Россию, потому что прозападные политики еще сохраняли популярность и влияние. Теперь они вплоть до самых высших — банкроты.

Когда вы говорите «Россия», то имеете в виду Ельцина. Ельцин, который все время то ли стыдит, то ли просит «друга Билла»: не бомби, нехорошо, негуманно... А Билл слушает да бомбит. Эти двое даже чисто визуально воплощают в себе не только безнравственность, но и постыдную пошлость царящей в мире власти. Клинтон похож на бильярдиста во взятом напрокат пиджаке, а Ельцин все более становится похож на некий персонаж, даже не гоголевский, а щедринский, потому что пошлость его скорее публицистична, чем художественна. О Ельцине забудьте, господа. Скоро вы будете иметь дело с совсем другой Россией. Только самые малахольные «прозападники» продолжают верить в выдуманное вами «партнерство во имя мира» между Россией и НАТО. В этом «партнерстве» у России не больше прав, чем у собаки, привязанной к телеге. И балканская война демонстрирует данный факт наглядно. На ближайших же выборах российских «прозападников» публично высекут. И поделом.

Своими нелепыми, а иной раз и воровскими реформами они обесчестили демократию. А то, что еще не успели обесчестить, те демократические «остатки», вы, господа, разбомбили. Конечно, с «гуманными целями». Главный ваш аргумент, единственный аргумент — «гуманитарная катастрофа», но в последние дни эта формулировка заменяется иной — «фолькенморгд» — геноцид, устроенный сербами по отношению к албанцам.

О, господа, вы запутались, заблудились в формулировках. Гитлер не изгонял, а сгонял евреев, причем всех подряд — женщин, детей, стариков для геноцида. Конечно, в изгнании ничего хорошего нет, но если бы Гитлер евреев изгонял — это было бы большой удачей. Впрочем, «союзы изгнанных» в Германии уже пытались избрать случившееся с ними как геноцид. Осторожно с формулировками! Такая пропагандистская профанация еще более кощунственна, чем использование страданий и озлобления беженцев в своих военно-политических целях. Поэтому я в «фолькенморгд» не верю. Конечно, в Косово — война, этническая война, и с обеих сторон происходят деяния предосудительные. Но все ваши аргументы, господа, аргументы особой «жестокости сербов», односторонне исходят от заинтересованных. Они стрелять могут, а в них стрелять нельзя. НАТО и Клинтон запрещают. А скажите, господа, если Милошевич и «злые сербы» в одностороннем порядке хотели провести этот «геноцид» по отношению к албанцам, то почему они ждали так долго? Почему они этого не сделали раньше, когда существовал Варшавский договор, когда существовал Советский Союз с его ракетами? У Милошевича для того было время. Почему же он ждал ослабления своего союзника — России, чтобы начать «геноцид»? Ведь признайтесь, господа, при наличии советского военного превосходства ваш «гуманный гнев» не принял бы таких масштабов. Поэтому я вашим «гуманным» аргументам не верю.

Если бы в ответ на ваш «гуманизм» сербы ударили ракетами по итальянскому аэродрому, откуда «гуманность» взлетают для своего ракетно-бомбового гуманизма, если бы ударили по английским аэродромам, по НАТО, война быстро бы закончилась и проблемы беженцев можно было бы решить мирным путем. Проблема беженцев — да, но проблема захвата натовцами Балканского полуострова — нет. Это признано. Поэтому натовцами, которые за десять дней разрушили Сербию больше, чем Гитлер за четыре года, проблема односторонне решается бомбами. Таково «решение проблемы беженцев». Однако, пока УЧК будет «освобождать» Косово, а НАТО ей в этом бомбами помогать, никакого решения проблемы беженцев не будет.

Боже мой, абсолютная деградация Америки! Где Америка Рузвельта? Где Америка Кеннеди? Деградация, национальная спесь, бомбовый террор. Америка Клинтон. Сначала разврат, потом клятвopеcтупление, потом — кровь.

Как мог ваш главный «дирижер», под воздействием пальца которого вы хором поете, сказать, что в наказание он заберет у Милошевича Косово и отдаст его албанцам? Клинтон, приобщение которого к культуре состоит в пирушках с голливудскими знаменитостями и дудении на саксофоне, как-то не соображает, что Косово принадлежит не Милошевичу, а сербскому народу, что это многовековой центр сербской, славянской, православной культуры, оттуда в значительной степени началась письменность славянская, в том числе и русская. Я не русский, не славянин, не православный, но эти места, где я не бывал, дороги мне не только как пишущему по-русски, но и как ценящему и любящему корни всякой древней культуры, особенно библейско-христианской. И вот явился некто Клинтон и заявил, что он намерен подарить эти сербские, славянские православные культурные древности албанцам, как дарил тряпочки и колечки своим фавориткам. И так при том разгорячился, что уж ракет не хватает для обстрела сербских городов. Настолько их щедро за неделю потратили, что новые надо заказывать. И о наземном вторжении подумывает. А я вам, господа, скажу: при воздушном вторжении не хватает ракет, при наземном вторжении не будет хватать гробов. Особенно «брюссельские рыцарям» это следует помнить. Может, не случайно во главе этого «рыцарского ордена» — испанец?

В руках у «рыцарей» находятся не копыя и мечи, а новейшее оружие, однако на головах, судя по безумию военных планов, медные тазики для бритвы. Среди этих, в тазиках, его превосходителство Весли Кларк — самый воинственный. Напоминает Форестолла, министра обороны США 50-х годов, который в военной психопатии из окна выбросился.

С первого же дня натовцам, которые свои действия оправдывают страданиями косовских албанцев, говорили разные люди со всех сторон, что их бомбы не облежат, а усугубят страдания и сербов, и албанцев. Но они упорствовали и упорствуют в своих действиях, как «амоклойфер» — ожесточившийся вооруженный психопат, разум и совесть которого оглушены собственными выстрелами. Если до бомбардировок происходил массовый и полный страданий исход населения из Косово, кстати, и албанцев, и сербов, то почему натовские пропагандисты его не показывали? Эти страшные кадры появились только после бомбардировок, как бы это ни пыталась скрыть лживая клика пронатовского журнализма. И все чаще о Косово говорят — «натовский протекторат». Знакомые слова гитлеровских времен. Интересно, как чувствуют себя в словенском и хорватском протекторатах? Как чувствуют себя в македонском протекторате, понятно. Эти носители «бомбового синдрома» не хотят понять, что бесчестят себя даже в глазах «союзных наций». А то, что Америка и ее сателлиты на десятилетия обесчестили себя в глазах россиян, украинцев, белорусов, не говоря уже о сербах, — необратимый свершившийся факт. И под воздействием натовского «бомбового синдрома» даже я, не космополит, скорее — лермонтовский человек без родины, становлюсь панславистом. Потому что ныне только панславизм может противостоять натовским мировым притязаниям. Ибо, как показали балканские события, «паннатовцы» использовали «миролюбивое» десятилетие «единой Европы» главным образом для технического накачивания своих военных мышц. В Америке, этой стране-подростке, где спортивный азарт везде и во всем, военные действия уже приобрели характер «спортивной чести». Администрация, сенаторы, конгресс, вышедшие в тираж политики типа Киссинджера — все охвачены спортивным балканским азартом: раз начали, надо продолжать до конца, мы должны выиграть. Речь идет уже главным образом не о «гуманитарной катастрофе», а о том, чтобы престижу Клинтон и НАТО, видите ли, не был нанесен ущерб. Во имя этого клинтоновского престижа Сербия должна превратиться в выжженную землю. А я говорю: продолжите «состязание» до конца — окончите не только измазанной в дерьме совестью (этого вы уже добились), но и окровавленным носом.

Россией пренебрегают — «лежит на земле». Господа, Россия очень быстро может подняться и, наоборот, поднимется. Печальный пример прошлого — как быстро поднялась веймарская Германия в 30-е годы. Я молю Бога, чтобы новый путь России не был преступен, хотя своими действиями вы, господа, способствуете укреплению фашистских, черносотенных сил. Однако то, что новый путь России, особенно после избрания нового парламента и нового президента, вряд ли будет слишком демократическим, ясно. В этой стране без государственного гимна и без государственных символов со звездами на кремлевских башнях, с двуглавым орлом на государственных учреждениях и со святым Георгием на знамени под воздействием натовских

бомб появилась национальная идея патриотизма и славянского единства. Впрочем, гимн там появился. Музыку уже утвердила Дума, и текст я мог бы продекламировать полностью. Однако ради экономии места ограничусь лишь первым куплетом и припевом:

«Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов великий, могучий славянский союз. Славься, отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот. Знамя славянское, знамя народное, пусть от победы к победе ведет».

Не так уж часто я бывал и бываю согласен с публицистикой и художественностью Александра Исаевича Солженицына. Не согласен был и с его идеей роспуска прогнившего Советского Союза, но образования нового добровольного союза славянских республик. Я в этом ошибался, и это доказали последние балканские события. Такой союз славянских республик необходим, но при условии: неславянские нации в нем должны иметь полные права, а личности типа Анпилова, Макашова и Баркашова не должны иметь никаких прав. Когда Солженицын выступал в Думе, значительная часть циничных думцев почти открыто смеялась над ним, как глупые пастухи над Дон Кихотом. При таких «ветвях власти», конечно же, государственные корни слабеют и дерево народной жизни болеет.

Так что желаемых целей на Балканах натовским бомбометателям, думаю, не добиться, а вот нежелаемых целей в России уже добились. При новом парламенте и новом президенте произойдет объединение России с Белоруссией в союз славянских социалистических республик с восстановлением старой аббревиатуры — СССР. Очень может быть, что к этому союзу присоединится Сербия. Начнется гонка вооружений, будет создан военный блок с участием ряда стран. Балканский кризис продемонстрировал: равновесие сил — вот главное для сохранения мира.

Как в политике, так и в биологии нарушение равновесия даже при изгнании хищников несет свои большие опасности. Впрочем, на Западе это некоторые уже поняли. Те западные консультанты-диверсанты, которые подавали разрушительные советы придурковатым, а то и вороватым «приватизаторам», не могли сообразить, что атомное оружие в твердых руках гораздо менее опасно, чем атомное оружие в руках нетвердых. И против расплозания по миру атомного оружия твердые руки безопаснее. Задним умом поняли, но слишком поздно. Задним умом поймут, что разрушения, причиненные натовскими бомбами, в Нью-Йорке гораздо хуже, чем в Белграде. Белград и другие сербские города рано или поздно будут восстановлены, а разрушения, причиненные ООН, необратимы. Унизив и оскорбив ООН, НАТО лишает ООН возможности воздействовать на таких, как Саддам Хусейн с его оружием массового уничтожения. ООН еще может год или пять лет принимать резолюции, но это уже не более чем мираж. На что же остается вам, господа, надеяться? На Международный валютный фонд? Не надейтесь — сказано: что можно купить за деньги — ничего не стоит.

Конечно, удручают эти маниакальные попытки мирового или хотя бы полумирового господства. Гитлер с «новым порядком», Сталин с «интернационалом», теперь вот майне дамен унд херен, ледиз энд джентельменз с Международным валютным фондом — все одно, хотя методы разные. Сперва экономическое порабощение, потом политическое. А против неугодных — каратели НАТО. Сербов поставим на колени, России подадим медную копеечку Международного валютного фонда и хлебную корку продовольственной помощи — замороженное мясо, залежавшееся зерно... Все будет о'кей. Нет, не будет все о'кей, да и грядущий XXI век вряд ли будет о'кей, ибо такова посюсторонняя реальность. А потусторонняя реальность на то же указывает. Вервольфами и дракулами, потребляющими человеческую кровь, станувшая те, кто подвергается укусу вервольфа или дракулы. Иногда кажется, что Варшавский договор перед смертью укусил НАТО. НАТО, оборонительный союз против агрессии, больше не существует. НАТО покончило моральным самоубийством, и дата этого самоубийства — 24 марта 1999 года. Может быть, эта дата когда-нибудь будет внесена в школьные учебники наряду с другими прочими датами, поразившими политические и моральные кошмары, которыми переполнен XX век.

24 марта 1999 года кончилась эпоха «единой Европы», начатая в 1989 году рядом непродуманных односторонних мероприятий «горбачевщины», которые западные политики использовали в своих эгоистических целях для создания односторонних преимуществ. Что ж, пусть обе стороны пожинают плоды. Не сумели жить в единой Европе — живите в разделенной. Они, политики, того заслужили. Но народы того не заслужили.

Может быть, о 24 марта сочинят когда-нибудь песенку наподобие песенки о 22 июня 1941 года. «22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что на-



чалася война». Не знаю, что думают об этой войне нынешние руководители России, постоянно изобретающие новые «мирные инициативы». Я думаю, что в этой войне «под звездами балканскими» решается будущая судьба рязанских, ярославских и смоленских мест. Добавлю от себя: гомельских тоже и полтавских...

После балканского натовского «учения» даже Украина задумалась. Дунька хотела, чтобы ее пустили в Европу, а начинает понимать: и в бедные родственники, как Польшу или Чехию, не примут. Может быть, в службу возьмут за денежные подачки? Однако вот деньги, выделенные на безопасное содержание чернобыльского несчастья, украдены в Страсбурге европейскими комиссарами и комиссаршами.

Все эти мысли не дают мне покоя днем, не дают спокойно спать ночью. Думаю, однако, что и «брюссельские рыцари», западные политики, спят сейчас не слишком хорошо. Может быть, за исключением херра Шарпинга, министра обороны ФРГ, потому что у херра Шарпинга стальные глаза. Но Йошка Фишер, министр иностранных дел, просыпается в холодном поту с криком «хильфе!». Дурное снится и Клинтону: какие-то ракеты в презервативах. Тоже кричит спросонья, пугает Хиллари. Не кричите, не зовите на помощь. Это вам не поможет, майне дамен унд херен, ледиз энд джентельменз. Сами залезли в болото, как барон Мюнхгаузен или автомобиль «студебеккер», сами и тащите себя из болота за волосы, как Мюнхгаузен, или на канате, как «студебекер». Вундербар! О'кей!

Если все будет идти по плану, то следующая «гуманитарная катастрофа» возникнет в Белоруссии. Потом будет создана АОК — армия освобождения Крыма. Для предотвращения «гуманитарной катастрофы» начнут бомбить военные объекты в Житомире, взорвут мост через бердичевскую речку Гнилопять. Запустят крылатую ракету в Бесарабку — киевский крытый рынок. Все возможно в этом лучшем из миров, где патриотизм проповедует дезертир, а мораль — клятвопреступник.

Когда сербы показали западным журналистам страшные развалины убитого НАТО города Приштины — центра Косово, генерал английских ВВС Дэвид Уилби заявил в Брюсселе на пресс-конференции: я вам гарантирую, что НАТО к этому не имеет никакого отношения. Это взорвали сами сербы. «Я вам гарантирую...» — знакомый оборот, напоминает клятву Клинтона на Библии, напоминает палец Клинтона. А в Белграде тоже сербы взрывали, сэр? И в других сербских городах, обращенных в руины? Не к сэру ли генералу Дэвиду Уилби относятся слова Фальстафа из шекспировского «Генриха IV»: «В тебе столько же честности, сколько в вареном черносливе».

Натовские пропагандисты изолгались, как последний карточный шулер, вынашивают теперь планы взрыва белградского телевидения. Конечно, во имя «свободы слова». Но меня они взорвать не могут и в меня запустить ракетой не смогут.

О себе же скажу: я не страшусь прослыть поджигателем «холодной войны», хотя ныне надеюсь на ее более цивилизованные формы. Я все более и более прихожу к выводу, слушая сообщения о балканском кризисе, что единственной альтернативой приближающейся опасности европейской, мировой атомной войны является «холодная война». В этом убеждает меня безумие нынешней западной политики.

Лучше уж холодная война, чем такой «горячий» мир с кровью, слезами, пожарами и руинами. Лучше уж мир, разделенный на блоки, чем возврат ко временам римского владычества, когда до самых парфянских границ жизнь и судьбу народов определяет палец правой руки или левой ноги владыки, как бы он ни назывался — римский император со своей преторианской гвардией или американский президент со своими натовскими «рогметами». Так на уголовном жаргоне именуются люди, совершающие преступления и не задумывающиеся о последствиях, идущие на крайности.

*Берлин*



## К 90-летию выхода в свет сборника «Вехи»

В марте 1999 года исполнилось девяносто лет со дня выхода в свет сборника «Вехи» — одного из самых значительных публицистических проектов XX века. В неутихающих спорах о России и интеллигенции «Вехи» и в наши дни остаются настольной книгой. В канун своеобразного юбилея, пришедшегося на конец века, конец тысячелетия — время подведения итогов, рядом петербургских и московских авторов — философов, литераторов — написан цикл статей для сборника «Мулета-Вехи», который будет издан в Париже под редакцией В. Котлярова. На страницах «Октября» представлена часть этого обширного проекта.

Авторы новых «Вех» так же, как и их предшественники, не стремятся выскомерно судить русскую интеллигенцию, но объединены тревогой за ее настоящее и будущее. «Революция 1905—1906 годов и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека, как высшую святыню, блюла наша общественная мысль... Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязаемой истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесоюзной потребности в такой проверке... Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность, но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик». — писал М. Гершензон в предисловии к «Вехам» в 1909 году.

Сказанное Гершензоном девяносто лет назад можно было бы предпослать новым «Вехам», лишь изменив даты, если бы это не противоречило сложившимся литературным традициям.

Александр СКИДАН

## П р о с л о й к а

### I

Декарт, попав в Россию, сходит с ума, говорит философ. Слово *intelligentia*, попав в Россию, обретает новый, совершенно невероятный смысл. Это уже не понимание, не познавательная сила, не умственные способности; русская интеллигенция не поддается ни обратной пересадке на латинскую почву, ни переводу на какой-либо из европейских языков без невосполнимых утрат. В чем же уникальный, русский смысл этого слова?

При ближайшем рассмотрении выясняется, что он не только менялся от одной исторической эпохи к другой, образовав в итоге конгломерат значений, семантическое слоистое облако, но и варьировался в пределах одной и той же эпохи в зависимости от расстановки сил, политической конъюнктуры, различных социальных и дискурсивных практик, придающих ему тот или иной оттенок, включая сюда цели и задачи употребляющего это слово, его самоидентификацию и проч. Чтобы разобраться во всех этих тонкостях, требуется специальное исследование, на которое я, признаться, не рассчитываю. (Отсюда «прослойка», что нужно понимать как уточнение не столько социального статуса, сколько литературного жанра, причем с акцентом на отглагольность существительного, таящегося в нем жеста, а не предмета.)

Размытость, или слоистость, значения дает знать о себе в характерной инерции: «интеллигенция» неизбежно тянет за собой союз «и». Хрестоматийный пример: «Интеллигенция и революция», «Интеллигенция и культура», «Интеллигенция и народ» и/или «власть». Словно бы сама по себе она ничто, пустое место и требуется дополнение по контрасту, противопоставление, чтобы придать ей определенность. Что-то вроде внешнего ограничителя, полифункциональной стенки, о которую можно с равным успехом опираться или биться, от которой можно оттолкнуться, а можно и стоять с повернутым к ней лицом (но это недолго).

Вообще говоря, сходную роль означающих без означаемого (или с «плавающим» означаемым) играют многие заимствованные слова. Иностранность наделяет их своеобразной аурой, на этот священный ореол напыляются новые смыслы, а старые конкретные отходят на задний план, вытесняются. Таков греческий «логос» в языке (негреческой) философии: не речь, не слово, не рассуждение, а все это вместе плюс тот же самый «логос» как словоформа, но специфически окрашенная, возведенная в степень философемы. Этот семиотический феномен можно назвать двойным кодированием; иностранное слово должно оставаться непереводаемым, непрозрачным, иератическим, в пределе — магическим словом. Его функция — это функция грамматической смазки или *оператора дискурсивности*.

Волошинов в книге «Марксизм и философия языка» писал: «История не знает ни одного исторического народа, священное писание которого или предание не было бы в той или иной степени иноязычным и непонятным профану». Он высказал смелую гипотезу, что именно чужое, иноязычное слово приносило «свет, культуру, религию и политическую организацию». В качестве исторических примеров он приводит шумеров и вавилонских семитов, яфетидов и эллинов, Рим, христианство и «варварские» народы, Византию, «варягов», южнославянские племена и восточных славян. Не менее любопытен вывод, к которому приходит Волошинов; он касается властных отношений, лингвистической иерархии, пронизывающей язык и, стало быть, сознание: «Эта грандиозная организующая роль чужого слова, приходившего всегда с чужой силой и организацией или преднаходимого юным народом-завоевателем на занятой им почве старой и могучей культуры, как бы их могил порабошавшей идеологическое сознание народа-пришельца, привела к тому, что чужое слово в глубинах исторического сознания народов срослось с идеей власти, идеей силы, идеей святости, истины и заставило мысль о слове преимущественно ориентироваться именно на чужое слово» (курсив мой.— А. С.).

## II

Как особая категория «непроизводительных трудящихся», претендовавшая на роль *оператора дискурсивности* в духовной или идеологической сфере, интеллигенция, судя по всему, сходит с исторической сцены. Одним из симптомов этого процесса является наблюдаемый в образованной среде постепенный отказ от употребления самого термина «интеллигенция» в пользу принятого на Западе «интеллектуал». Такое предпочтение говорит о многом. И не в последнюю очередь — о настоятельной потребности избавиться от целого шлейфа неприятных ассоциаций, связанных со словом «интеллигенция», будь то «русская» или «советская». И та и другая, очевидно, настолько скомпрометировали себя, что никакая самоидентификация с ними уже невозможна; более того, в силу радикально изменившихся условий она представляется еще и невыгодной с чисто прагматической точки зрения, поскольку подразумевает преемственность, наследование определенного комплекса идей и психологических черт, обусловленных иной исторической ситуацией и отнюдь не способствующих успешной самореализации в новых обстоятельствах. И потом идентификация предписывает разделять корпоративные интересы и, стало быть, ответственность, а это именно то, от чего новому самоопределяющемуся в свете официально освященной ориентации на буржуазные ценности — индивидуализм, частную инициативу и респектабельность — необходимо отмежеваться любой ценой.

Так «комплекс идей и психологических черт» превращается в глазах стоящего перед выбором аутентичной терминологии «просто» в «комплекс», в камень, тянущий на дно допотопности, социальное дно. Грубо говоря, представители традиционно самой массовой «интеллигентной профессии» — учителя — сегодня попросту не получают зарплаты, престиж этой профессии упал практически до нулевой отметки. Падение, свидетельствующее о парадигматическом сдвиге, затрагивающем все общество в целом, сдвиге, который можно охарактеризовать как крах просветительства и стоящей за ним идеологии Просвещения. Как ни странно, но этот крах выступает своеобразным контрапунктом к торжеству (по край-

ней мере формальному) той же самой идеологии в политической и экономической сферах под именем «прав человека», «свободного рынка», «демократии», «открытого общества».

Если отождествлять себя с русской интеллигенцией значит совершать мертвую историческую петлю, некритически проецируя себя в некий идеологический конструкт прошлого, рискуя к тому же в очередной раз наступить на народовольческие грабли или превратиться в садово-парковую чеховскую «мисюсю». Но с советской интеллигенцией дело обстоит еще менее привлекательно. Феномен советской интеллигенции — это феномен двойного сознания, описанный Кормером в его статье 1969 года «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» и одновременно — с не меньшей пронизательностью — Андреем Битовым в «Пушкинском Доме».

Не случайно парадигмой такого сознания выбрана филология в лице Левы Одоевцева, «из тех самых Одоевцевых». Статус филологии как одной из «наук о духе» двойственен, в каком-то смысле это (дильтеевское) определение несет в себе противоречие в терминах. Кроме того, учитывая, что актуальными живыми авторами заниматься было фактически невозможно, филология в романе выступает зеркалом некрофилических стратегий режима, интродуцированных «аполитичным» гуманитарием. «Ведь мы же друг на друге живем, в один сортир ходим, один труп русской литературы жрем», — говорит «демоническая» ипостась Левы Митишительва. Интродукция и параллелизм пронизывают романную логику: подобно тому как название романа — краденое (оно украдено у государственного учреждения, и даже больше чем учреждения, о чем прямым текстом заявляет автор в одном из многочисленных отступлений), так краденым оказывается в «Пушкинском Доме» буквально все, от кольца Фаины и дедовского «формального метода», оприходованных Левой, вплоть до социального (аристократического) статуса и самой квазилитературности Левы как персонажа, удвоенной авторской иронией. Даже совершаемое им предательство отца, дезавуированное вернувшимся из лагерей дедом, оказывается здесь заимствованным (у отца же) чуть ли не литературным «приемом»: отец Левы в свое время отказался от отца-формалиста, и в детстве Лева как «интеллигентному» мальчику не давали читать «никаких ни Павок, ни Павликов».

В плане психологии Битов следует открытой Достоевским словесной «казуистике» или логике «слова с лазейкой» (Бахтин), а также тому, что современные лингвисты называют *double bind*. Этот термин перекочевал в теорию речевых актов из фехтовального искусства, где означал «двойной захват», то есть такое положение, из которого одной из сторон не выбраться, не подставив себя так или иначе под удар противника. Эпизод с поставленной на карту репутацией Левы, от решения которого зависит судьба его друга («друг этот не то что-то написал, не то что-то подписал, не то напечатал, не то вслух сказал»), является руссифицированной версией *double bind*: «...однажды возникла ситуация, когда Левина репутация заставляла его поступить совершенно определенным и совершенно невыгодным образом. Лева, до сих пор не испытывавший особых затруднений со своей репутацией, не знал, что теперь с нею делать, и устрасшим образом потерялся. Он как бы дрожал в кресте прицела, причем наведены были сразу два пулемета — один на него, другой на репутацию, от него требовались лишь “да” или “нет”, а он совершенно не знал, как тут быть. То есть, с одной стороны, он очень хорошо знал, что “да”, но в этом случае нажималась гашетка одного пулемета — тогда уж “нет”, но в этом случае срабатывал второй». Когда дело доходит до не терпящего никакой двусмысленности поступка, Лева самоустраивается, в результате отказывая «старинному, самому близкому другу» в поддержке. С этической точки зрения его жизнь выстраивается в цепочку более или менее мелких предательств и компромиссов; с психолингвистической — безвыходность его положения в том, что он говорит на навязанном ему языке власти, он интродуцировал этот язык, впитал его, если можно так выразиться, с молоком отца; его бессознательное, бессознательное интеллигенции, структурировано, как этот язык.

Одоевцев-дед формулирует эту зависимость с жестокостью приговора: «Да все, все уже — советские! Нет не советские. Вы же — за, против, между, — но только относительно строя. Вы ни к какому другому коду не привязаны. О какой

свободе вы говорите? Где это слово? Вы сами не свободны, а это навсегда. Вы хотите сказать от себя — вы ничего не можете сказать от себя. Вы только от лица той же власти сказать можете. А где вы еще ее найдете?.. Для вас уже нигде не найдется условий: если вы себя экспортируете, то вы не можете захватить с собою то, *относительно чего вы только и есть для себя*. Да отвяжи вас — вы назад запроситесь, у вас шея будет мерзнуть без ошейника... Вы обнаружите, что без этой власти вас-то таких и нет. Это только здесь вы — есть» (курсив мой. — А. С.).

Что касается кормеровского диагноза, то имеет смысл добавить следующее. В том же романе Оруэлла «1984», откуда он почерпнул свой «принцип двойного сознания», описывается деспотическая машина отречения/признания, особенность которой состоит в том, что она не столько «мучает потребности», сколько «искушает желание». Применительно к интеллигенции это (бессознательное) желание власти; вспомним Шкловского: русская интеллигенция сыграла в русской истории роль пробников, она «ярила» кобылу-Россию, а поимели ее другие, это говорит бывший эсер и подрывник, вводя аллегорическую фигуру, в которой спаривание, репродуктивный акт, приравнено к политическому акту, что подтверждает и предпринятое недавно интеллигенцией очередное «хождение во власть», вновь, по-видимому, завершающееся фрустрацией и оправлением галстука.

Будучи симбиозом искушения и желания, советская интеллигенция — во многом вопреки собственным представлениям или воле — выполняла задачу легитимации системы, осуществляя идеологическое обеспечение массовой поддержки режиму и техническое обеспечение индустриализации, а затем наращивания на их основе военного и культурного потенциала. Подобная сервильность, как и ее противоположность, сохраняющая нетронутой господствующую языковую структуру, *basic language*, будет почище вменяемого в вину русской интеллигенции Петром Струве «безрелигиозного отщепенства от государства»; сервильность принимала форму отчуждения от последнего в тот момент, когда поставляемый интеллигенцией товар (идеология) оборачивался против нее же самой. Разумеется, интеллигенция всегда чувствовала двусмысленность такого положения, бесконечно рефлексировав по поводу «государственности» (чудовищной) и «народа» (никакого), но всегда оставалась, выражаясь гегелевским языком, на уровне сознания, не достигая самосознания.

Кстати, о Гегеле. У него тоже имеется версия «двойного», или, как он еще его называет, «раздвоенного», сознания. Не знаю, учитывал ли ее Кормер, однако она не менее поучительна в том, что касается склонности такого сознания «возиться со случайным», «впадать в несущественность» и «кончать пустословием». Эта «феноменологическая» деградация во многом параллельна деградации самого понятия «интеллигенция»: от наиболее сознательной и критически настроенной части образованного общества как противоположности «косности» и «обскурантизма» к синониму особого рода деликатности, воспитанности и умению вести себя в обществе как противоположности хамства.

### III

У «заката» интеллигенции есть и более экономичное объяснение. Это объективный процесс, связанный с целым рядом причин, и прежде всего с тем фактом, что функция формирования общественного мнения отошла независимым (в том числе и от интеллигенции) средствам массовой информации. Не успев войти в мировое экономическое сообщество на правах равного, Россия подключилась к мировой информационной сети, оказавшись тем самым в ситуации постинформационного общества, где основным товаром является уже не столько даже сама информация, сколько *скорость* ее получения, кодирования и доставки потребителю. «Свобода слова» подразумевает оперативность, а эта последняя — новые технологии. Те, в свою очередь, требуют капиталовложений. Стоит ли удивляться, что «свобода слова» рикошетом ударила по тем, кто так долго ее ждал и готовил? В результате интеллигенция разом лишилась: 1) своей традиционной просветительской миссии; 2) главной сферы либидинозных инвестиций; 3) мученического ореола веч-

ной оппозиции и 4) привилегированного положения в смысле эксклюзивного доступа к банкам данных («голоса», сам- и тамиздат, всевозможные раритеты вроде «Вех» и т. п.).

В сводящихся к «неинтеллигенции» и «некультурности» обвинениях масс-медиа со стороны в основном «шестидесятников» можно, таким образом, расслышать ностальгию по былой «сильной» позиции в иерархии символических ценностей: позиции *знающего*. В свое время именно она компенсировала социальное унижение, выраженное в пренебрежительном (марксистском) определении интеллигенции как «прослойки». Этот компенсаторный механизм работал как для лояльной части интеллигенции, так и для радикальной. Уже простое знание фактов (например, репрессий) наделяло обладающего этим знанием символическим весом. Кастовость интеллигенции, лишь внешним признаком каковой служило высшее образование, жидилась в действительности на причащении особого рода знанию, недоступному остальным (в роли такого сакрального знания может выступать — в условиях самодержавия или деспотии — идея республики или конституционной монархии, социализм, коммунизм, наконец, открытое общество). Но именно это последнее, общество общедоступных компьютерных терминалов, подключенных к глобальной сети, по определению исключает подобную прерогативу как пережиток.

Одновременно с утратой смыслообразующей сакральной функции интеллигенция понесла не менее ощутимый урон еще в одной области своей традиционной деятельности. Возникновение гражданских свобод, правовых норм и прочих «демократических институтов», установление, защиту и контроль за которыми взялись осуществлять, с одной стороны, государство, с другой — различного рода общественные комитеты и независимые эксперты (в данном случае не важно, насколько они справляются с этой задачей), выбивает почву из-под притязаний интеллигенции на то, чтобы быть единоличным проводником «европейского» («правового», «гуманистического») сознания.

Иными словами, интеллигенция *оказывается не у дел* совсем в ином, нежели некогда, смысле (классическом смысле двойного отчуждения: от «государства» и от «народа»), что мгновенно сказывается на ее формальном единстве. Параллельно со снятием запрета на предпринимательство начинается внутреннее расслоение, своего рода исход из нее тех элементов, что пребывали в стане интеллигентов лишь в силу неблагоприятных обстоятельств, за отсутствием, так сказать, лучшего, — явление, обратное тому, что едко описывал в 1969 году Кормер: «Люди с темпераментом коммивояжеров занимаются научной работой, несбывшиеся содержатели притонов выбиваются в академики, несостоявшиеся проповедники пишут статьи в академические журналы». Ряд этот можно продолжить.

Так или иначе формирование новой элиты происходит вокруг новых осей, а именно — хлынувших в сторону финансовых и информационных потоков. За приватизацию этих потоков ведется борьба, в которой интеллигенту не выжить. Идет стремительное сращение воспетого Бахтиным неофициального низа и официального верха: бюрократии и бандитов. Технократы и гуманитарии играют в нем роль прокладки от либеральной идеологии. Сегодня элита — это банкиры, политологи, политики, телеведущие, программисты, имидж- и клипмейкеры, они же по совместительству владельцы колоссальной культур- и просто индустрии: печатных изданий, клубов, телеканалов, концернов. В этой среде, как бы замкнутой на себя самое, циркулирует капитал, отрезающий попавшему в нее (снаружи) пути к отступлению. Журналисты, готовые обслуживать интересы новой элиты, закрывая глаза на проблему ее легитимности, сами становятся акционерами газет и телеканалов, проводят отпуска на престижных зарубежных курортах, их дети получают элитное образование за рубежом. Эта политика «выжженной земли» с ее абсолютным (абсолютно самодостаточным) цинизмом пронизывает собой все социальное тело.

#### IV

В попытке отмежеваться от «интеллигенции» и идентифицировать себя как «интеллектуала» можно при желании увидеть запоздалое стремление достичь наконец самосознания, перестать быть пробниками. Ее стоило бы всячески приветство-

вать, если бы к ней не примешивалось одно не проработанное (в психоаналитическом смысле) «но». Она (попытка) подозрительно напоминает фрейдовский механизм защитной реакции или вытеснения патогенного травматического опыта, где «нейтральное» определение «интеллектуал» выступает в роли своеобразного суррогата Идеала-Я, то есть того образцового Я, каким субъект хотел бы выглядеть в глазах другого (других). Я намеренно несколько отклоняюсь от данной Фрейдом формулы и ставлю акцент на конституирующей роли «другого», поскольку этот «другой» — все возвращается на круги своя — Запад.

Именно Запад с его культурными традициями, правовыми нормами и экономически оправдывающим себя капитализмом, во многом воплотившим социалистические чаяния благодаря социальным программам и тем самым лишившим революционного потенциала то, что некогда носило имя угнетенного класса, равно как и выступавших от его лица интеллектуалов, призван легитимировать переход от устаревшего и ставшего умозрительным понятия к более релевантному (отметим и переход от недифференцированного, соборного «интеллигенция» к индивидуалистическому, дифференцированному «интеллектуал»). Но в такой перспективе «нейтральность» термина «интеллектуал» предстает весьма проблематичной.

Стараясь простым переименованием не критически устранить асимметрию «интеллигенция»/«интеллектуал», параллельную асимметрии Россия/Запад, не попадаем ли мы в ловушку, сходную с той, в которой сегодня оказалась российская экономика и прочие «рыночные» институты? Настораживает и то, что Запад по-прежнему продолжает выступать для нас в роли «другого», тогда как сами западные интеллектуалы немало сил в последнее время прилагают к тому, чтобы поставить под вопрос эту роль (под именем европеизации «препятствующую становлению порабощенных народов»), а также капитализм постиндустриального общества и выпестованный этим последним тип интеллектуала. Например, Жан-Франсуа Лиотар в «Толковании на сопротивление» писал: «Обещанное раскрепощение [науки, техники, искусства, человечества] напоминалось, защищалось, представлялось великими интеллектуалами, этой ведущей свое начало с века Просвещения категорией людей, хранительницей идеалов и республики. Те, кто сегодня хотел продлить эту задачу иначе, чем в форме минимального сопротивления всем формам тоталитаризма, бесстыдно заявив, что правое дело кроется в конфликте идей или властей между собой, хомские, негры, сартры, фуко — все они драматически ошиблись. Знаки идеала перепутались. Ни освободительная война не возмещает больше, что человечество продолжает раскрепощаться, ни открытие нового рынка — что оно обогащается, школа же больше не формирует граждан, а всего-навсего профессионалов».

Что значит быть интеллектуалом, а не всего-навсего профессионалом в этих новых условиях, условиях, когда, как показал тот же Лиотар, вопросы типа «Истинно ли это?», «Справедливо ли это?» сменяются и покрываются вопросом «Можно ли это продать?»; в которых, как пишет К. Мюллер, имея в виду развитые постиндустриальные общества, «законно-рациональная легитимация заменена технократической легитимацией, которая не придает никакого значения ни убеждениям граждан, ни самой нравственности»; когда (вновь Лиотар) «цель жизни остается на усмотрение каждого, каждый предоставлен *сам себе* и каждый знает, что этого "самому себе" — мало?»

Может быть, свидетелем на своем собственном языке о мире: человеческом, социальном, но и животном, природном? О постыдном в этом мире. И, кто знает, тем самым объективировать, делать эксплицитным тот несформулированный (или даже неформулируемый, по словам Бурдье) опыт, который лежит в основе таких понятий, как «быть предоставленным самому себе», «солидарность», «сопротивление», «подавление», «произвол» или «желание», желание сопротивления любым формам подавления в том числе? (О постыдном? Может быть, стыд — аристократичнейшее из чувств и именно в нем неожиданно совпадают интеллигент Белинский и интеллектуал Делез. Каждый по-своему, они проливают свет на экзистенциальную низость и вульгарность предлагаемого современностью статус-кво: самодержавие, православие, народность в одном случае и права человека — в другом?)

В любом случае интеллигенция (даже под респектабельным именем интеллектуалов) никогда уже не будет тем, чем она была еще недавно. Определяя себя от противного, а(по)фатично, она вела расстраивающий государство великий рассказ об освобождении: крестьян, печати, общества, трудового народа, народа вообще, вероисповедания, экономики. Совпадая в этом с требованиями интеллектуальной элиты Запада, сформировавшейся на идеях Просвещения и также призывавшей к раскрепощению, расколдовыванию мира, русская интеллигенция в то же время по своему складу разительно отличалась от европейского типа интеллектуала на всем протяжении своего существования. Отличалась так же, как русское «государство» отличается от английского *State*, французского *Etat* или немецкого *Staat*; если первое этимологически связано с личностью государя-господина-Господа (парадигма сакральной власти, господства), то вторые означают секуляризованные «состояние» или «положение дел».

Конкретно же разница заключалась, во-первых, в самоопределении относительно власти, точнее, в степени (осознания) зависимости от ее языка; во-вторых, в том, что русская интеллигенция не столько расколдовывала, сколько заклинала мир, равно как и собственные претензии на монополию в сфере идеологий (функция *оператора дискурсивности*); и в-третьих, что за редчайшими исключениями она лишь импортировала и приспособляла к специфическим российским условиям созданные на Западе концепции — притом что эти концепции (и гегелевская тому яркое подтверждение) оставляли Россию за бортом исторического развития, вне победного шествия мирового духа. Европейски образованные, эти люди не выработали, однако, ни самостоятельного аналитического инструментария, с помощью которого могли бы методично подрывать, демистифицировать или деконструировать как свои претензии, так и дискурс власти, укорененный в столь восхваляемых религиозными философами «народных верованиях», ни адекватного языка самоописания. Зато преуспели в сверхкомпенсации, синдроме русских мальчиков, перекраивающих карту звездного неба над головой и превращающих любую, самую материалистическую доктрину в идеалистический догмат, который, в свою очередь, диктовал риторике вины (перед «народом», перед павшими за «правое дело»), повинности (трудовой, героической, коллективной), неизменно требовал символического или реального жертвоприношения (мысли во имя «идеи», человека во имя «родины», «человечества» или такой абстракции, как «светлое будущее»); одним словом, являлся «превращенной формой» русского коллективного бессознательного с его своеобразным культом соборности, этой просветленной мистики «крови и почвы». (Не в этом ли причина того, что сегодня риторика «левых» так легко сливается с риторикой крайне «правых», образуя новую, негерманскую версию риторики национал-социализма; и те и другие продолжают пребывать на стадии инцестуозной фиксации: Родина-Мать зовет их в эсхатологический бой; вновь приходит на ум Виктор Шкловский — пробники, на сей раз в виде инверсии: человек с расколотым сознанием, Раскольников, идет делать *пробу*, он раскалывает череп старухи процентщицы, а кончает все тем же целованием *почвы*, возвращается в лоно церкви; идиоматическое «по матери» посылает нас в своей общеупотребительности (универсальности) к своего рода архиинцесту, является его предпосылкой.)

Вероятно, тут сказывалось экономическое, культурное и просто технологическое отставание России, «географический», как называл его Чаадаев, а точнее, геополитический «фактор», особенности православия, также импортированного в свое время и насаждавшегося огнем и мечом; весь этот комплекс причин, по-видимому, и приводит к отсутствию гражданского общества и его институтов, без которых невозможно продуктивное развитие не только мысли, но и самих мыслительных способностей; эти последние как бы целиком уходили на стратегии выживания в условиях катакомбного противостояния аппарату подавления и контроля, в то время как западным интеллектуалам удалось уже к началу девятнадцатого века навязать господствующим классам свой язык, отлившийся в понятие «общественный договор» или «мнение».

Вместо интеллектуальной дисциплины у русской интеллигенции превалируют «мировые вопросы», вместо самоанализа — самокопание, вместо «абсолютной корректности светского человека» — «интеллигентность», тот специфический шарм,



который Гегель называл «кончать пустословием». Впрочем, благодаря этому пустословию мы имеем непревзойденный документ, настоящий памятник, который я хотел бы здесь (чужими руками) еще раз воздвигнуть в честь более или менее веселого расставания с прошлым:

*Они говорили о погоде, о свободе, о поэзии, о прогрессе, о России, о Западе, о Востоке, о евреях, о славянофилах, о либералах, о кооперативных квартирах, о дешевых заколоченных деревенских домах, о народе, о пьянстве, о способах очистки водки, о похмелье, об «Октябре» и «Новом мире», о Боге, о бабах, о неграх, о валюте, о власти, о сертификатах, о противозачаточных средствах, о Мальтусе, о стрессе, о стукачах (Бланк без конца предостерегающе подмигивает Леве за спиной Готтиха...), о порнографии, о предстоящей перемене, о подтвердившихся слухах, о физике, об одной киноактрисе, о социальном смысле существования публичных домов, о падении литературы и искусств, об их одновременном взлете, об общественной природе человека и о том, что деться — некуда...*

Мне нравится этот ряд, я бы даже сказал — рядоположенность, он внушает некое подобие гордости за широту открывающихся горизонтов смыслополагания; от него, и от него тоже, правда, совсем по-другому, чем от общественной природы русского человека, никуда не деться.

Павел КУЗНЕЦОВ

## Сироты–отцеубийцы, или Рожденные от идеи: постскрипtum к трагедии интеллигенции

Путается ум. Гадаешь и не умеешь разгадать: да отчего пошлое, отчего именно убогое и бессильное лезет к власти, силе и положению? И никто не может его одолеть, удержать, противиться? «Тут что-то подспудное, темное, всемирное...» — бормочешь, хватаясь за голову...

*Василий Розанов*

Сам тип «умника», судящего и рядящего всех и вся, в русской культуре ошибочен. Он вызывает антипатию. Тип мудреца, всю жизнь безнаказанно умничавшего и затем тихо умершего глубоким старцем и благоговейно похороненного благодарными кенигсбергцами, совершенно невозможен в России.

*Дмитрий Галковский*

**Е**сли в XIX веке русская интеллигенция стремилась к свободе, то в XX столетии она стремится не только к свободе, но и к власти. Но как и тогда, так и теперь, — каждый раз терпит поражение. На расчищенное ею пространство для торжества «справедливости», «законности», «благоденствия» или «творчества» каждый раз почему-то приходят бесы, варвары или бандиты и одним пинком отправляют интеллигенцию на свалку. Не история, а какое-то сплошное недоразумение...

После катастрофы, на пепелище, всегда подводят итоги. Вслед за крушением в 17-м русской интеллигенции пришлось подводить итоги в изгнании. В то время начало века выглядело совсем не грандиозным ренессансным собором, каким оно кажется теперь из исторического далека, — тогда это были дымящиеся руины...

Георгий Федотов, изображая «трагедию интеллигенции», в 1926 году писал, что «столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие она наносила сама себе в вечной жажде самоожжения»<sup>1</sup>. Но самый суровый диагноз был поставлен в «Путиях русского богословия» «разочарованным евразийцем» о. Георгием Флоровским — он назвал эту болезнь «мистическим непостоянством», или «исторической безответственностью»: «Слишком привыкли русские люди праздно томиться на роковых перекрестках, у перепутных крестов. «Ни Зверя скипетр нести не смея, ни иго легкое Христа...» И есть в русской душе даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким перепутьям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры... В истории русской мысли с особенной резкостью сказывается эта безответственность народного духа. И в ней завязка русской трагедии культуры... Это христианская трагедия, не эллинская античная. Трагедия вольного греха, трагедия ослепшей свободы... Это трагедия двоящейся любви, трагедия мистической неверности и непостоянства. Это трагедия духовного рабства и одержимости... Потому разряжается она в страшном и неистовом приступе красного безумства, богоборчества, богоотступничества и падения...»<sup>2</sup>

Сегодня, несколько десятков лет спустя, можно утверждать еще с большим основанием, что история русского самосознания *par excellence* — это история пленения (и вместе с тем история сопротивления этому пленению).

В нашем столетии (не только в России, конечно) настойчиво повторяется один и тот же сюжет, демонстрирующий глубоко иррациональную тайну истории: идеомания интеллектуалов, «власть идей», навязчивая и неизбывная вера (на другом полюсе порождающая идеофобию и обскурантизм), что с помощью внедрения в реальность метафизических и социальных схем, доктрин, учений можно разрушить старую (ложную) историю и создать новую (истинную), «оседлать тигра» и наконец-таки овладеть и покорить Клио. Первая, разрушительная часть удается: не выдерживая агрессивного напора «ноосферы», жизнь рушится, и кажется, что впереди — победа... А Клио вновь ускользает, растоптав и похоронив идеологов, идеософфов и идеократов. Гегель называл это иронией истории, но, к сожалению, не объяснил, почему так происходит...

В свое время Виктор Шкловский не без некоторого цинизма в стиле двадцатых годов сразу же после революции провел злую аналогию: он назвал русскую интеллигенцию пробниками: «У русской литературы плохая традиция. Русская литература посвящена описанию любовных неудач. Во французском романе герой — он же обладатель. Наша литература, с точки зрения мужчины, — сплошная жалобная книга...» Во время случки лошадей, перед тем как отдать кобылу жеребцу-производителю, к ней сначала подпускают малорослого жеребца «для легкого флирта», но в последний момент оттаскивают... Этого жеребца зовут пробником. «Ремесло пробника тяжелое, и говорят, что иногда оно кончается сумасшествием и самоубийством. Оно — судьба русской интеллигенции. Герой русского романа пробник. Я хотел назвать какого-нибудь определенного героя. Но не могу, это кажется оскорблением. В революции мы сыграли роль пробников. Русская эмиграция — это организация политических пробников, лишенных классового самосо-

<sup>1</sup> Федотов Г. Лицо России. Статьи 1918—1930. Paris, 1988, с. 74.

<sup>2</sup> Флоровский Н. Пути русского богословия. Париж, 1988, с. 501—502.

знания»<sup>3</sup>, — так завершает свой пассаж Шкловский и из эмиграции возвращается в Россию, от «пробников» к «победителям». Но, как известно, и это была пиррова победа. Интеллектуалы-победители от Маяковского и Мейерхольда до Троицкого и Бухарина либо погибли, либо снова оказались в подполье, на обочине истории.

Станным образом этот же сюжет повторился во время революции (или контрреволюции) 1986—1993 годов, когда диссиденты и либеральная интеллигенция, и подготовившие, и совершившие ее, оказались оттесненными на периферию воцарившейся плутократией и бандократией. Иррациональные стихии распыления и развоплощения, «подсознания истории» каждый раз роковым образом оказываются сильнее ее «самосознания» и, как семьдесят лет назад, разбивают в пух и прах все претензии интеллектуалов на власть и обладание. Но самое удивительное в том, что интеллигенция по-прежнему не чувствует своей ответственности, вины и неизбежной расплаты за происходящее. Как тогда, так и сегодня, «самосознанию» ничего не остается, как жаловаться и давать советы, которые остаются гласом вопиющего в пустыне: «Бедная Россия! Весною, как и зимою, ей всегда суждено быть жертвой бессмысленной стихии и терять свой путь. Зимою — беспутица, а весною — распутица! Ей нет спасения, пока не будет прорван этот заколдованный круг! — восклицал князь Е. Н. Трубецкой в 1908 году. — Власть стихийного начала в нашей общественной жизни обуславливается слабостью развития у нас личности. Безумие нашей революции, как и безумие нашей реакции, обуславливается главным образом одной общей причиной — тем, что у нас личность еще недостаточно выделилась из бесформенной народной массы... От этого зла есть только одно спасение — развитие сознательной личности»<sup>4</sup>. Иногда кажется, что с тех пор почти ничего не изменилось — нет ни «сознательной личности», ни гражданского общества, ни партий, ни крепких структур, все те же «стихии», зимою — беспутица, а весною — распутица...

Евразийцы попытались выйти из заколдованного круга и соединить несоединимое. Россия — это не Европа и не Азия, в своем идеальном проекте евразийский континент — это мост (и одновременно синтез) между Востоком и Западом... Но, увы, в действительности это бесконечное пространство было и остается полем столкновения энергий Европы и Азии, образующего гигантские завихрения, воронки, впадины, куда время от времени проваливаются история, культура, цивилизация, и все нужно начинать сначала. Синтез не удается, и благозвучная «Евр-азия» все время грозит превратиться в неприличную «Азиопу».

И все имперские тенденции российской государственности проистекают не только из «похоти власти» (Г. Федотов), но оказываются вынужденными попытками скрепить распадающееся пространство, в котором центробежные силы раздирают ткань империи и на пепелище — вновь обломки и руины «трагического империализма». Поэтому почти каждое последующее поколение отрицает предыдущее, совершая реальное или символическое «отцеубийство», ибо «отцам история не удалась». Отсюда и «детскость» — пресловутый русский инфантилизм с его беспамятством, нежеланием взрослеть и неуютным чувством сиротства, избличаемый, начиная с Чаадаева, уже полтора столетия. Но точнее было бы сказать — не нежелание, а роковая невозможность взрослеть, хотя этнос по возрасту уже более чем зрел. Однако как возможно реальное достижение зрелости в рамках одного поколения?.. «Сирота-отцеубийца», начинающий историю с нуля, неизбежно юн и незрел, а потому открыт и всеотзывчив: всечеловечность Достоевского — изнанка, вернее, прямое следствие трагической детскости, вечно пытающейся освободиться от агрессивного патернализма «промотавшихся отцов». Но освобождение от своего может дать только чужое. Так начинается странствие, странничество,

<sup>3</sup> Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М., 1990, с. 322—323.

<sup>4</sup> Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994, с. 323.

скитальчество, так или иначе оборачивающееся пленением. И от него будет освобождаться уже следующее поколение «сирот-отцеубийц», в лучшем случае отправляющее отцов на пенсию, в худшем — сбрасывающее памятники и устраивающее пляску на гробах...

В наши дни, во времена очередного катастрофического разрыва национальной традиции, свержения старых идолов и водворения новых, жизнь опять начинается сначала — какой раз за столетие! — «ложная история» уничтожается и начинается «истинная». Но вопреки «смерти идей» и размягчающей ситуации постмодерна, которую после многочисленных идейных опьянений двадцатого века можно назвать «похмельем истории», все повторяется в самых гротескных формах. Казалось бы, постмодерн с его «герменевтикой подозрения» больше не верит в идеи, не воспринимает их всерьез, но у нас это почти ничего не меняет. Как прежде читались Байрон, Гегель или Ницше (даже какой-нибудь Томас Бокль), как недавно читались Хемингуэй, Ремарк, Камю и Сартр, так и сегодня прочитываются — можно взять наугад десяток самых разных имен — Хайдеггер, Деррида, Кастанеда, Гуссерль, Юнг, Гроф, Фуко, даже Хайек или Поппер, Ален де Бенуа, французские «новые правые» и германские геополитики, не говоря уже о Геноне и восточных учениях (по-прежнему в основном поступающих в западной обработке), тем более о сектантстве и бульварном оккультизме — все эти тексты воспринимаются как сакральные. Их адепты и истолкователи выступают как «посвященные», а неофиты проходят через инициацию, приобщаясь к «тайному знанию». На другом же полюсе это неизбежно порождает яростное отстаивание самобытности, истерическую идеофобию и ксенофобию, пленение и невротическое увязание в нашем историческом «идеальном» прошлом...

Определение о. Г. Флоровского об особом пристрастии русских к перекресткам и перепутьям трудно оспорить. Что поделаешь, если Россия-Евразия — маргинальный континент, всемирный перекресток, где столкновение планетарных стихий доводит историю до апокалиптического напряжения. И евразийский «всечеловек», призванный разрешить мировые противоречия, раздирается ими в клочья, оставаясь трагическим странником, вынужденным блуждать и скитаться всегда «между», «вне», посреди и отрицать самого себя. Ибо синтез не удастся, а преждевременный выбор обедняет...

На закате первой эмиграции, в 1967 году, Георгий Адамович, поэт и критик, казалось бы, далекий от историософских спекуляций, начал свою итоговую книгу следующими словами: «После всех бесед, споров, недоумений, надежд, гаданий, обещаний, после евразийства, после русского шпенглериянства, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации, оставался человек один, наедине с собой, вне общества, и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне общества можно еще существовать, любить, думать, жить, —...после всего этого... главный для нас, общерусский вопрос, над личными темами, есть вопрос о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется различиться: Россия — страна промежуточная. И, конечно, это вопрос, будучи главным везде и всегда, остается главным и в литературе»<sup>5</sup>.

Тридцать лет спустя текст Георгия Адамовича можно продолжить и сказать, что после коммунизма с его «оттепелями» и «заморозками», после либерализма и диссидентства, после структурализма, концептуализма и постмодернизма, после реформ, монетаризма и «дикого капитализма», после очередных путчей и переворотов, неизбежных крушений и очередного «конца истории» — этот вопрос по-прежнему остается открытым. Как давно замечено, история никогда никому не учит: все приходится начинать сначала, и ситуация все так же напоминает русскую сказку с витязем на перепутье, томящимся у рокового камня...

<sup>5</sup> Адамович Г. Комментарии. Washington, 1967, с. 5.

Александр СЕКАЦКИЙ

# Тайна Кащея Бессмертного

Тот очевидный факт, что сборник «Вехи» оказался памятником русской философии, свидетельствует о многом. И, прежде чем в очередной раз углубиться в знакомое содержание, было бы полезно обратить внимание на понятие очередного раза, ибо уже в этой монотонной очередности сказывается некий рок. Можно заметить, что в самом словосочетании «русская идея» вынесен приговор — философы и публицисты России роковым образом приговорены к несчастному предмету, примерно в том же смысле, в каком мы называем ружье «пристрелянным» одновременно с пристрелянной мишенью. И никак не удастся повесить ружье на стену, все время находится желающий всадить пулю в ту же дырку, в черную дыру паразитарного дискурса.

Начиная с «Философических писем» Чаадаева, установилась наезженная колея, в которой оставил след едва ли не каждый русский философ. Песенка «о судьбах России», несомненно, есть род пьесы, написанной для механического пианино (для шарманки), но назвать ее неоконченной было бы не совсем точно. Дело обстоит куда печальнее — она нескончаема, и всякий, присоединяющий свой голос к незатейливой мелодии, автоматически претендует на то, чтобы именоваться русским философом, мыслителем или пророком. По мере того как проходит время, возникает нечто, удивительно напоминающее монгольское горловое пение: «хор, поющий без слов, сомкнув губы»<sup>1</sup>, в этом трансперсональном припеве утрачивают смысл понятия заимствования, плагиата, первичности и вторичности.

Какова же природа того специфического резонанса, всякий раз возникающего в душах и поющих, и слушающих? Почему предметом русской философии является сама Россия, как если бы писать стихи можно было только о том, как пишутся стихи? Почему, наконец, трактовать Россию важнее, чем, например, схематизм чистого разума, диалектику воли и желания или проблему сновидений? Сразу же возникает зеленая улица внимания, какое-то повышенное напряжение умов, признающих при этом, что умом Россию не понять.

Конечно, полуторавековая инерция дискурса играет свою роль, но ее недостаточно для того, чтобы объяснить удивительный феномен повторения мантры. Посмотрим, какого рода духовное единство создается этим повторением. Перед нами человек образованный, мыслящий, думающий по-русски. Однако ни одно из этих качеств, ни даже все три вместе еще не дают ему окончательной признанности: он остается кимвалом бряцающим, одиноким мыслящим тростником, пока не подсоединится к трансляции горлового пения, но зато уж тут он попадает в пространство коллективной идентификации, в объятия квазисубъекта, имеющего множество псевдонимов — Соборность, Софийность, Троиединство, наконец, собственно Россия (или «Небесный синклит России», как предпочитал выражаться Даниил Андреев). Совместное радение приносит каждому участнику желаемый результат, смутно ощущаемый как гарантия признанности.

Причастность к чему-то более надежному и долговечному, чем «я», уменьшает мучительность бытия-к-смерти. Вслушиваясь в припев, состоящий из перечисления величественных имен (псевдонимов), можно разобрать тональность надежды: есть нечто, что сохранит меня, что увеличит шанс на спасение, предоставленный Тем, пути Которого неисповедимы. Этот коллектор памяти — Россия (точнее, текст о России, песнь о ней), вот почему я вношу в коллектор часть своего присутствия, специально отобранную лучшую ипостась, ту, что в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит.

При строгом соблюдении рецептуры надежда вполне обоснована. Мы еще вернемся к рецептуре, а пока заметим, что создаваемое таким образом духовное единст-

<sup>1</sup> Так в книге Чжуан-цзы определяется «изначальное свойство», предшествующее личностному началу. Мудрецы Китая. СПб., 1994, с. 196.

во в общих чертах уже узнаваемо: это интеллигенция. Ее отчужденная воля позволяет примкнувшему индивидууму отказаться от своей самостоятельности перед лицом бытия-к-смерти, но одновременно совершается и отказ от самостоятельности первых христиан. Трансляция горлового пения материализует химеру, получающую щедрые жертвоприношения.

Русский мыслитель, или — в более широком контексте — авторствующий интеллигент, на первый взгляд может показаться существом хилым, гонимым, претерпевающим всяческие страдания и муки. Но это видимость, притом в высшей степени обманчивая. На деле он больше всего напоминает Кащея Бессмертного, персонажа русских сказок. Кащей запрятал свою смерть за пределами собственного тела, и только благодаря сказке нам известно, что смерть его на конце иглы, игла в утке, утка в зайце, заяц в ларце и так далее. Пока не надломили иглу, с Кащеем ничего не случится. Акт идентификации индивида в качестве авторствующего интеллигента вполне сопоставим с Кащеевой хитростью: интересующий нас персонаж неистребим и в известном роде бессмертен — он тоже поместил свою смерть в надежное место, вдалеке от повседневного присутствия. Смерть интеллигенции (а стало быть, и жизнь) хранится в русской идее, которая заключена в кокон русской государственности и помещена в дремучий лес российской истории. Оставляя пока в стороне действительное содержание этой идеи, обратим внимание на бессмертие особого рода — ведь Кащей, закостеневший старец, хотя не умирает, но, по сути дела, и не живет, а только лелеет в мыслях свое надежно спрятанное сокровище.

Здесь уместно прибегнуть к помощи Гегеля, который различал истинную и дурную бесконечность — пустое перечисление одного и того же. В нашем случае можно говорить о *дурном бессмертии* как о единственно возможной награде за Кащеву хитрость. Эссенция бытия изъята из существования, удалена, законсервирована; что бы ни происходило с интеллигенцией, течение действительности не проникает в ее виртуальную Россию, траектория реального времени не способна скорректировать набор заклинаний, расписанный на два голоса, дуэт славянофилов и западников.

Ошую берега великой реки,  
Одесную изъятый из них поток.  
(Д. Гольинко)

Отложенная смерть означает одновременно и отложенную жизнь — таково правило дурного бессмертия. Здесь, впрочем, возникает одно существенное отличие, свидетельствующее о явном преимуществе нашего квазисубъекта над сказочным персонажем: бессмертный Кащей трепещет и корчится, как только герою удастся взять в руки яйцо, тем более прикоснуться к хрупкой игле. Авторствующий интеллигент ведет себя в этих случаях иначе — он тоже корчится и впадает в трепет, но не от ужаса, а скорее от сладкой муки. Ситуация «полной гибели всерьез» каким-то образом входит в условия его странного бессмертия: и воспевание русской идеи, и ее развенчание в равной мере способствуют воспроизводству интеллигенции, продлению монотонного внеисторического бытия.

Видимость спора и яростного несогласия во всем, определяющая, казалось бы, саму атмосферу русской мысли, при ближайшем рассмотрении оказывается бессознательным подпеванием друг другу, естественным следствием двухголосой партитуры. Сказ о величии и державности России лучше всего воспринимается на фоне оплакивания ее океанной доли.

Важно отметить, что пресловутый спор об исторических судьбах России является внутренним делом интеллигенции, необходимым компонентом хронического скандала, характеризующего выживание в условиях дурного бессмертия. Главный принцип, соблюдаемый обеими сторонами, — держаться подальше от конструктивности, а уж какая взята первая нота — «слався!» или «будь проклята!», это определяется в известной мере случаем. Любопытно, что почти все авторы «Вех» в разное время отдали должное и тому и другому — и всякий раз убедительно, с подобающей риторической силой. Поэтому недавние метаморфозы Лимонова или Александра Зиновьева не могут удивить человека, сколько-нибудь знакомого с традицией интеллигенции. Как пел Булат Окуджава: «Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврозь, а то попеременно...»

Можно попробовать совместить два голоса в одном, применить механизм сгущения, исследованный Фрейдом. Тогда получится что-нибудь вроде следующей притчи. «Возлюбил Господь Россию, а Америку возненавидел. И однажды потребовал он от избранного народа своего принести в жертву самое дорогое для них и угодное себе. Когда поняли в доме Иакова, о чем идет речь, стали рвать на себе волосы и вспоминать о жертвоприношении первенца. Ибо народ сей обрел надежное пристанище в этой возлюбленной Богом стране.

Но делать нечего, стал собираться в путь дом Иакова, назначив подготовленных левитов для всесожжения. И повели левиты Святую Русь к Зияющим Высотам, как некогда Авраам вел Исаака на гору по слову Божьему. Только новая жертва превосходила прежнюю доверчивостью своей, никто даже не задал вопроса: "А где же агнец для всесожжения?"

"Воистину Божья страна, — думали левиты, — и не найти нам уж второй такой." Но ведь известно, как ревнив Господь, в великой печали совершили подготовленные левиты заклятие и всесожжение, равных которым еще не было в истории.

И дым отечества был сладок и приятен Господу...»

Укрытая от взаимодействия с действительностью, русская идея обеспечивает неискоренимость тех, кто передоверил свое бытие ее сохраняющей и воспроизводящей силе. Интеллигенция, вечно скорбящая и оплакивающая свой удел, оказалась самой живучей «прослойкой» — все попытки ее истребления были в итоге безуспешны. Ни государственная бюрократия самодержавия, ни комиссары в пыльных шлемах, ни могучий аппарат НКВД не смогли довести дело до конца. Всякий раз после фронтального проживания и, казалось бы, полного искоренения происходила регенерация. Стоило выглянуть лучику солнца, и поросль интеллигенции появлялась вновь, успешно мимикрируя, приспособляясь к суровым условиям российской или советской действительности.

Прежде всего возобновлялся исходный спор (ибо интеллигенция легко размножается спорами, она овладела этой эволюционной стратегией). Спор, разумеется, всегда происходил «о том же», несмотря на весьма разнообразное, зависящее от обстоятельств терминологическое оформление. Далеко не сразу, например, можно распознать общий корень в дискуссии «физиков» и «лириков» и споре славянофилов и западников. Эти ростки отделены друг от друга промежутком в сотню лет, между ними нет даже общей почвы, но есть общая подпочвенность, подземные корневые переплетения. И регенерация совершается: из вспыхнувшего, а затем разгоревшегося спора формируются полярные позиции сторон, позиции образуют «плотью» — несколькими «властителями дум», их проводниками, эпигонами и последователями от общероссийского до микротусовочного уровня — и вот уже перед нами воссозданное тело интеллигенции со всеми органами (журналами, клубами, трибунами и т. д.). Одновременно воспроизводятся и привычные черты дорогого облика — резонерство, непонятость, неоцененность, симптомы коллективных неврозов зависти и обиды.

Теперь следует более внимательно присмотреться к духовной формуле, обеспечивающей столь эффективную регенерацию, — мы уже убедились, что эта формула («русская идея») устроена посложнее Кашеева яйца. В рецептуре прекрасно сочетается горькое и сладкое, тревога о России и забота о себе — в готовом эликсире бессмертия их уже не отличить друг от друга.

Увекочивание ключевых фигур описывается экономикой «заветной лиры». Существует главный банк — Пантеон российской словесности, выполняющий функции ларца Кашея. Этот коллектор содержит основные вклады, *наше всё*, — самовозрастающий капитал, с которого выплачиваются проценты каждому вкладчику. Процент есть некоторая доля бытия-в-посмертии, автоматическое запоминание и хранение имени вкладчика. Виды основных вкладов известны и широко разрекламированы — «Пушкин — наше всё», «Серебряный век», «Герои Достоевского и их мучительные искания» и, разумеется, «Русская идея» как таковая. Зарегистрированная инвестиция своего текста в любой из филиалов Пантеона тут же повышает статус вкладчика, становится основанием для пиетета окружающих. Все, что попадает в ларец, уже не подлежит изъятию.

Рассмотрим работу банка на примере филиала «Пушкин — наше все». Пушкин, его тексты и биография представляют собой первоначальный капитал, хранимый с особой тщательностью, далее следуют такие единицы хранения, как «Поэты пушкинского круга», «Друзья Пушкина» (вспомним недавно переизданный двухтомник),

«Анекдоты о Пушкине», «Легенды и мифы о Пушкине» (есть такая книга), «Враги поэта» (попасть в их число означает удачную инвестицию в бессмертие), наконец, «Пушкинистика», включая пирамиды комментариев, инсценировки, экранизации и т. д.

Расширяющаяся книзу пирамида охватывает огромный круг, или культурный слой, признанных — все они исполнены чувства собственного достоинства. «Наши все», т. е. авторствующая интеллигенция, суть те, кто удачно вложил в *наше всё* — в один из филиалов сверхстойчивого банка-ларца. Следует заметить, что внутренняя валюта мышления зарегистрированного вкладчика не играет существенной роли: главное — вложить в нужный банк. Поэтому и пушкинист-апологет Б. В. Томашевский, и пересмешник А. Д. Синавский (Абрам Терц) на равных внесены в реестр хранения, в предмет интеллигентской беседы. И славянофилы поминают западников не реже, чем собственных авторитетов.

Существует и конкуренция филиалов (допустим, Серебряного века и Советского андеграунда), переманивание вкладчиков более высоким процентом, но подробное рассмотрение *истории* не входит в наши задачи. Главное в другом — все, что *уже хранимо* в ларце, рано или поздно прорастает при очередной регенерации.

Пантеон российской словесности радикально отличается от архетипов европейской культуры. Именно поэтому наш первичный свод текстов и инструкций (духовная формула) дает при своей распечатке интеллигенцию, а не интеллектуалов, не профессионалов умственного труда или свободных художников, населяющих духовное пространство Запада. Структуры, воспроизводящие европейскую духовность, повторяют, в сущности, принцип комплектации средневековых ремесленных цехов, они автономны, самодостаточны, разделены на группы признанных мастеров, подмастерьев и учеников. Таковы университеты, академии, «невидимые колледжи», обеспечивающие хранение вкладов (и их востребование) в рамках избранной компетенции.

Исходная матрица интеллигенции<sup>2</sup> содержит совсем другие параметры, предусматривающие «тождественность припева» для своего культурного слоя. В результате русская культура практически тождественна со *словесностью*, она не воспроизводит и не сохраняет фигур, подобных Генри Кэвэндишу, домашнему физику-экспериментатору, подобных увлеченным *натуралистам*, знатокам римского права или расшифровщикам древних надписей. Нет здесь ничего похожего на культуру земледелия или физическую культуру в смысле немецких теоретиков гимнастики. Культурность (она же интеллигентность) по-русски — это гипертрофированный литературоцентризм, бесконечное паразитирование на сакральных текстах и сакральных именах, упакованных в удобные оппозиции: Пушкин — Лермонтов, Белинский — Хомяков, братья Карамазовы, Есенин — Маяковский, Ахматова — Цветаева, Мастер — Воланд и так далее; неисчерпаемые возможности для резонерства, скандала и надрыва, для уже знакомого нам горлового пения. Время от времени к отечественному патерику подверстаются европейские имена — Гегель и Шеллинг у разночинцев, Маркс, Фурье, Прудон у нигилистов, Хемингуэй и Феллини у графоманов-шестидесятников, но они не входят в число устойчивых филиалов Пантеона российской словесности.

Литературоцентризм обеспечивает не только верный процент на основной вклад, он входит и в структуру ежедневной востребованности и даже является эротическим аттрактором, неким вторичным половым признаком, гарантирующим физическое воспроизводство и пронос генов. Всмотримся в эту картину.

Вот *носитель духовности* предъявляет свое сокровище, говоря чеканным слогом о трагической участи себя самого и внимающих ему в рамках господствующей на данный момент (модной) тематики. Например, речь может идти о страданиях народа, и тогда подходящей декорацией будет аудитория университета, конспиративная квартира или Воробьевы горы с их рошицами. Можно вещать о торжествующем мещанстве, побивающем камнями пророков, — это подобает делать в мезонине. Ну а о страданиях художника — в коммунальной кухне, под водочку или портвейн.

И всякий раз, когда интеллигент рассказывает о том, как ему плохо, выбрав нужный куплет (чтобы не выбиваться из хора), за ним смотрит пара восторженных глаз какой-нибудь милой барышни, которая и любит его именно за страдания, за творческие искания, за духовность. Потом барышня робко спросит: «Не сообразовали ли вы ру-

<sup>2</sup> Можно для усиления говорить о русской интеллигенции, но можно этого и не делать, поскольку иной и не бывает.



ководить моим чтением?» — если это тургеневская девушка, или воскликнет: «Я с тобой, Мастер!» — если дело происходит столетием позже. Так ежедневно возобновляемый выбор русской красавицы служит второй санкцией бытия-в-признанности, подстраховывающей и одновременно подтверждающей правильность основного вклада.

Трепыхания мятущейся души интеллигента в качестве эротического стимула могут быть сопоставлены с плавными взмахами роскошного павлиньего хвоста — и то и другое очаровывает потенциальную спутницу и влечет ее в даль светлую или на край пропасти; последнее даже предпочтительнее в смысле мощности стимула. Столетие отделяет тургеневскую девушку от рыжей красавицы из Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки», но как мало изменился предмет их любви.

Лирический герой Веничка, непросыхающий пьяница и трубадур бутылки, нежно любим своей рыжеволосой, ибо он обладатель духовности, он русский писатель, притом непризнанный и страдающий. Более того, он настоящий мастер аскезы, ведь ему мало общей муки неуслышанности и неценности, и Веничка интенсифицирует порцию страдания ежедневной мукой похмелья. Одним словом, Веничка есть цвет русской интеллигенции, просто ходячая русская идея — и как же его не любить... Здесь усматривается прямая преемственность с первыми представителями племени бессмертных, в том, как русская идея предъясняется к проживанию (к распечатке):

Позабыв про портфель и про шапку  
И приняв огуречный рассол,  
Анатолий Прокофьевич Шапов  
Из борделя на лекцию шел.

*Е. Евтушенко. «Казанский университет»*

Студенческая аудитория, которая в совокупности своей есть женщина, осуществляет выбор любимца по тем же критериям, и стойкое сохранение предпочтений сопрягается с неизменностью припева, обеспечивая единообразие трансляции.

Для контраста можно обратиться к эротическому аттрактору, который представлен, например, Голливудом. Там герой, выбираемый женщиной, немногословен, привержен оптимизму, сентиментален, но прежде всего он безусловный профессионал своего дела, будь он фермером, нефтяником или киллером. Он близок к характеристике «человека прямой чувственности» у Ницше, он из тех, кто открыто и не мудрствуя лукаво говорит жизни «да!».

Русская словесность, в том числе и ее экранизации, дает почти противоположный образ героя, возникающий из распечатки Первотекста. Многоречивый или, во всяком случае, *многодумающий* (в чем преуспело советское кино, так это в передаче зримого образа интеллектуальной озабоченности), он не просто пессимист, но человек, который смертельно боится быть даже заподозренным в оптимизме по отношению к преднаходимому положению дел. Тяжким обвинением для интеллигента звучат слова: «Тебе хорошо, у тебя все в порядке» — он тут же предъявит доказательства обратного, а иначе рискует быть вычеркнутым из списка вкладчиков с лишением всех привилегий.

Профессионализм не является достоинством интеллигентного человека (в отличие от *таланта*) — кое-как заниматься делом, за которое тебе платят деньги, выгодно во многих отношениях. Во-первых, этим подчеркивается, что случайно доставшаяся тебе работа ниже твоего великого предназначения. Во-вторых, профессиональные качества специалиста не входят в универсальный культурный код и соответственно не играют никакой роли в блеске эрудиции: в отличие от голливудских красоток, ключующих на наживку основательности и профессионализма, русские красавицы ловятся только на блесну. У настоящего интеллигента всегда есть более важные дела, чем работа, ему, как известно, «надобно мысль разрешить», чему он и предается со всей страстью, как истинный мученик дивана<sup>3</sup>.

Авторы «Вех» высказывают в адрес интеллигенции (равно как и России в целом) немало горьких слов. Если отбросить сетования о собственной несчастной участи, то, пожалуй, главным окажется обвинение в «скрытой претензии на власть», замаскиро-

<sup>3</sup> Б. В. Марков, профессор философского факультета Санкт-Петербургского университета, оценивая положение дел на своей кафедре, как-то сказал: «Вот, набрал я молодых ассистентов — умные, талантливые ребята. Но поручить им какое-нибудь земное дело нельзя — они предпочитают лежать на диване и гениально мыслить. Поэтому мне приходится составлять за них отчеты, протоколы и прочую бюрократию. А я тоже хочу лежать на диване и гениально мыслить».

ванной отстаиванием народных интересов. Интеллигенция сравнивается с казачеством, говорится о комплексе самозванства, который присущ всем разночинцам и т. д.

Подобные выводы мне кажутся неубедительными и, если угодно, чересчур оптимистическими. Любая здоровая, сознающая свою силу элита предъявляет претензию на власть, это нормальное историческое и политическое явление. Что же касается интеллигенции, то ее коллективная воля только пересекает политическое измерение, устремляясь дальше на Олимп, к собственному виртуальному государству небожителей, укрытому от течения времени. Кесарева власть и в самом деле интересуется собратьев Кашея Бессмертного, но скорее в качестве вечного противника. Русский мыслитель произрастает под гнетом действительного или вымышленного угнетателя («темные силы нас злобно гнетут»), но стать победителем в борьбе роковой он хочет лишь для виду. Интеллигенция не стремится обрести политическую власть — не только из опасения ответственности и непривычки к чему-либо конструктивному, но и потому, что власть, которой она уже обладает, — более высокого качества. Властители дум аудиторий и сердец рыжих красавиц, т. е. обладатели воистину сладчайшего, надежно депонировавшие свое *здесь и сейчас* в коллектор гарантированного иноприсутствия, никогда не променяют эту привилегированную территорию на хлопотливое поприще государственного управления.

Поэтому неизменный трагизм отношений между интеллигенцией и властью обусловлен не только страхом власть имущих перед «совестью России». Целесообразный инстинкт очищения рядов является важнейшим проявлением заботы о себе. Способность из-под юрисдикции Кашеевой смерти, интеллигенция отторгает безжалостно, подобно ящерице, теряющей свой хвост. В то время как сторонники полярных позиций благополучно сосуществуют внутри мыслящего слоя, государственные чиновники (т. е. конструктивная бюрократия в смысле М. Вебера и К. Мангейма) незамедлительно исключаются из среды интеллигенции как «чуждые элементы», утратившие право быть гонимыми и непонятыми<sup>4</sup>.

Держателям главного сокровища нельзя размениваться на мелочи и ни в коем случае нельзя допустить проникновения в ларец, в виртуальную герметичную Россию, опыта реальных преобразований. Как зеницу ока, интеллигенция бережет свое первородство духовного пастыря, причем так, чтобы всегда и всем было ясно, что ей не позволили воспользоваться этим правом. Поэтому хор мыслителей не перестанет скорбеть о народе, вверяющем свою судьбу кому попало, но если бы вдруг «народ» одумался да обратился к своим радетелям и плакальщикам со словами «Придите к нам и правьте нами», те после некоторых колебаний посоветовали бы еще раз сходить к варягам. Но предварительно *заставили бы себя долго упрашивать*: уж этот фирмам интеллигенция не отдаст никому. Прибором, контролирующим самочувствие русской идеи, могут служить своеобразные весы. На одну чашу весов брошено осуществленное первородство духовного пастыря, а на другую — скорбь о похищенном первородстве. И можно с уверенностью утверждать, что интеллигенция бессмертна, пока перевешивает вторая чаша.

Одним из открытий Фридриха Ницше стало исследование грандиозной психологической и экзистенциальной мутации, которую претерпело западное человечество. Произошел переход от «прямой чувственности» к более сложному образованию, которое философ обозначил термином *ressentiment*. Речь идет о трех принципиально новых модусах чувственности, сделавших человека, по мнению Ницше, «интересным животным». Это *вина, обида и зависть*. Каждое из них чревато дальнейшими осложнениями, потенциальной угрозой для безмятежности и душевного здоровья. Фрейд детально разобрался с первой составляющей, наиболее характерной для Запада; по сути дела, все психические сбои, которые призван корректировать психоанализ, это *невроты вины*. Вероятно, поэтому психоанализ оказался не слишком интересен для русских мыслителей (в отличие от марксизма, например) — уж больно не актуален был сам источник беспокойства. Ибо само бытие интеллигенции в теле России — это двухвековой навяз-

<sup>4</sup> Правительство молодых реформаторов, сподвижников Ельцина, было рекрутировано преимущественно из интеллигенции. Тем более любопытно отношение к нему со стороны «основной массы вкладчиков»: участники кратковременного десанта во власть были быстро идентифицированы как «не наши». «Из них только Егор Гайдар проявил себя интеллигентным человеком», — признался мне профессор N. На вопрос «почему?» последовал очень характерный ответ: «Ну как же, он не стал цепляться за кресло».

чивый невроз зависти и обиды<sup>5</sup>, а навязчивый невроз ведет себя, как «отдельное существо», справедливо отмечает Фрейд. Это существо не стареет, поскольку не живет в событийном времени, где можно прожить себя к иному. Сорное время «существа» вращается вокруг нескольких застрявших заноз первичной обиды и изначальной зависти.

Итак, главное, что интеллигент имеет сказать о России и для России, сводится к вариациям исходного заклинания: мне плохо. Будет ли это состояние выражаться, как заимствованное (боль за угнетаемый народ) или как непосредственно переживаемое (брошенность и недооцененность), зависит от господствующей моды. Зато явственно просматривается решающее отличие монополистов мыслящей России от экзистенциальных авангардов, отправляемых человечеством для разведки новых модусов бытия. Все они, от французских либертинов до американских хиппи, придерживались принципа «Мне хорошо — и поэтому я здесь». Для интеллигенции такого места, где ей было бы хорошо, не существует («Назови мне такую обитель», — риторически восклицает поэт, прекрасно зная, что никто из «своих» такого места не сыщет)<sup>6</sup>. Три сестры тоскуют и рвутся в Москву, их праправнучки тоскуют все той же тоской и рвутся из Москвы в Калифорнию или в Шамбалу. Эта возобновляемая тяга и вытягивает в интеллигенцию одно образованное поколение за другим.

Сравним теперь две формулы, придав им более развернутый вид. Первая представляет собой подразумеваемое обращение авангарда к «остальному человечеству»:

1. Мне здесь хорошо. Посмотри на меня и присоединяйся, если захочешь.

Вторая формула — это заклинание, с которым интеллигенция обращается к народу и к самой себе.

2. Тебе плохо, следуй за мной, ибо мне тоже плохо. Перемножим нашу скорбь и, как один, умрем в борьбе за это.

При всем своем лукавстве и беспомощности самоотчета вторая формула имеет определенные преимущества. Дело в том, что авангард самоупраждает по мере того, как опробованный им опыт пополняет копилку человеческих возможностей быть иначе. Говоря словами Гегеля, бесхитрое бытие для себя оказывается бытием-для-иного. Интеллигенция же, отправляющая культ жертвенности и смерти, не упускающая случая сказать жизни «нет!», остается сама себе хитрой, поскольку знает, что рукописи не горят и что на обломках самовластья напишут наши имена. Неудивительно, что обломки самовластья появляются по несколько раз в столетие.

Итак, ни авангардом, ни разведчиком, ни проводником интеллигенция не является; она воспроизводит только самое себя, навязчиво повторяя состояние отложенной смерти. Воспользоваться опытом интеллигенции можно лишь изнутри, став одним из обманутых вкладчиков банка «Наше всё».

Здесь возникает закономерный вопрос: в чем же, собственно, состоит обман вкладчиков, если мы признали механизм регенерации исключительно эффективным? Ответ лежит в той же плоскости, что и рассуждение Декарта, высказанное им в «Частных мыслях». Разбирая трактат Ламберта Шенкеля об искусстве мнемотехники, Декарт пишет: «Истинное искусство запоминания прямо противоположно ис-

<sup>5</sup> По степени выраженности данного невроза можно безошибочно определить принадлежность к общей подпочвенности. Тут и бесребреник Николай Федоров, провозглашавший общее дело воскрешения отцов. Вселенский размах задачи не мешает ему, однако, высказаться и по проблеме Константинополя — понятно, что сей град должен быть российским, только тогда станет возможным устранение розни между всеми братьями.

Но тут и поэт Иосиф Бродский — он, конечно, отстаивает право быть свободным художником, но по тому, как он это делает, нетрудно догадаться о принадлежности и поразиться всхожести семян. Явственно воспроизводится родовая черта интеллигента — упоение обидой, вспомни категорический отказ приехать в Россию и столь же демонстративное нежелание писать на русском языке, выраженное в последние годы. И похороны в Венеции по завещанию... Как тут не обратиться к прекрасному «автопортрету интеллигента», набросанному в двух строчках Арсения Тарковского:

Похожий на Раскольникова с виду,  
Как скрипку, я держу свою обиду...

<sup>6</sup> Нельзя не отметить точную характеристику, данную Николаем Бердяевым: «И кто же они, эти отвергнутые, непонятые, разочарованные люди? Агрономы, учителя, сельские врачи... и вот стоят они на самых святых местах и проклинают каждый свое постылое место». Остается лишь добавить, что возможность проклинать свое постылое место они никому и никогда не уступят (не случайно враг № 1 для интеллигенции — *самодовольный* мещанин).

кусству этого мошенника, которое не то чтобы является недейственным, а занимает место лучшего искусства»<sup>7</sup>. Мнемотехника Шенкеля занимает чужое место, поскольку подменяет смысловое запоминание и продумывание эффективным, но бездумным импринтингом. «Русская идея» в самом широком смысле этого слова, заполняющая место для мышления у интеллигенции, выполняет аналогичную роль — она препятствует консолидации иного интеллектуального и духовного опыта. Тем самым палитра интеллектуальной жизни «признанных мыслителей» остается исключительно узкой, по сути дела, мономаниакальной.

Поначалу мы проникаемся уважением и склоняемся перед серьезностью задачи русского мыслителя, которому прежде всего надобно мысль разрешить. Но когда проходит сотня лет, а мы видим его все в той же позе, разрешающим все ту же мысль, уважение постепенно сменяется ужасом. И это нормальный ужас, который свойственно испытывать смертному по отношению к Кашею и другим хтоническим персонажам.

Конечно, всегда находились художники и философы, сумевшие вырваться из-под гнета господствующей тональности горлового пения. Тут можно вспомнить Михаила Бахтина или обэриутов, мысливших и творивших на территории, не подведомственной юрисдикции дурного бессмертия, — они смогли войти в открытость бытия-для-иного и бытия-заново. Но сколько возможных десантов интеллектуального авангарда было заблокировано — остается лишь гадать.

Чрезвычайно характерно в этом отношении неприятие чистых интеллектуалов, прочно вписанных в атмосферу иного духовного опыта, таких, как Василий Леонтьев, Александр Койре или Александр Кожев. Можно сформулировать правило отторжения, применяемое ко всем, кто не умеет или не желает продуцировать состояние «ах, как мне плохо». Получится что-то вроде перефразированной библейской угрозы: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но ты не холоден и не горяч (а просто конструктивен), и потому я изблюю тебя из уст своих...» Угроза неизменно приводится в исполнение интеллигенцией по отношению к тем, кто не желает быть вкладчиком банка «Наше всё», кто имеет наглость продуктивно мыслить, совершенно не имея в виду судеб России.

Таким образом, все альтернативные интеллектуальные формации пресекаются на корню, произрастают лишь искривленные карликовые березы — правда, чрезвычайно морозостойкие и засухоустойчивые. В целом можно согласиться с мнением Освальда Шпенглера, что Россия, войдя в псевдоморфоз, принялась реализовывать чужую участь, отложив неизвечно куда свою собственную.

Но, пожалуй, происходящее можно выразить и по-другому. Кашеево семя запало в кокон русской государственности, как льдинка в сердце Кая. Метаморфоз маленького семечка в обретенной плоти (в теле России) имел далекоидущие последствия. Многообразие возможных исходов было депонировано в «русскую идею», в результате чего возникла миражная империя, управляемая законами дурного бессмертия. Эта империя стала очередной аватарой вселившегося духа, призрака-захватчика, который безжалостно истощал захваченную плоть, ведя ее от наваждения к наваждению, от нигилизма к светлому будущему. Безжалостность не вызывает удивления: ведь интересы паразита не совпадают с потребностями организма хозяина.

Возникающее вскоре желание бросить это истрепанное и ставшее малопривлекательным для обитания тело, чтобы вселиться в какое-нибудь иное, можно рассматривать как проявление целесообразного инстинкта Чужого. Мы уже видели характерные симптомы, специфическую и нарастающую тягу к перемене мест вплоть до современных наследниц и наследников трех сестер, включая и сегодняшнюю «утечку умов». К счастью, иные тела (цивилизации) уже заполнены интеллектуальными формациями, обладающими иммунитетом к вирусу дурного бессмертия. Интеллектуалы, профессионалы да и художники Запада образуют среду, не слишком подходящую для размножения стенающей, склонной к самоосквернению интеллигенции.

Остается без ответа главный вопрос: будет ли возвращена заваленная обломками самовласть плоть законному владельцу? Сгодится ли еще на что-нибудь, кроме всеожжения, изможденное тело России? Мы ведь еще даже не знаем по имени того, кто имеет шанс добраться до Кашеева ларца, знаем только по кличке: Иван-дурак.

<sup>7</sup> Декарт Р. Сочинения. Т. 1. М., 1989, с. 577.

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

---

## И Ю Н Ъ

**1.6.1959**

Умер английский писатель Сакс Ромер, человек, о котором почти никто и ничего не знал. Не знали не только подлинного года его рождения (даже в самых компетентных энциклопедиях рядом с цифрами ставили нерешительные знаки вопроса), но даже, хотя было известно его настоящее имя Артур Сарсфилд, не знали, как точно звучит его фамилия: Уэйд или Уорд. Впрочем, дело вовсе не в этом. Умер, может быть, последний писатель, создавший героя, вписавшегося в череду «вечных образов». Зловещий доктор Фу Манчу, персонаж, переходивший из книги в книгу, — не просто банальный злодей. Он воплощает в себе восточное, что навсегда враждебно западному. Ромер, являвшийся членом оккультного ордена и явно писатель мистический, сочинял своего рода мистерию. И, возможно, кто-нибудь, прочитав все несколько десятков его романов, поймет нечто зашифрованное в них автором. И вряд ли это лишь предостережение, скорее — программа действий.

**2.6.1962**

Демонстрация жителей Новочеркасска, протестовавших против снижения заработной платы и подорожания продуктов, расстреляна. Были и раненые, и убитые. Под этими выстрелами не просто пал «архетип 9 января», разумеется, тут присутствующий. За выстрелами и криками не услышали, что стала осыпаться империя, сильная, именно пока она способна держать провинции. Все пошло насадку. И единство нации, скрепленное пролитой на фронтах кровью, и надежда на справедливость, каковую можно было услышать за строками постановлений, искореняющих последствия культа личности. Империи не падают в одночасье. Требуется время, и чем сильнее империя, тем больше времени нужно ждать, чтобы она упала. От девятьсот пятого года до семнадцатого прошло двенадцать лет, от шестьдесят второго до распада СССР — в два раза больше. Но что плюс или минус полтора десятка лет для истории?

**3.6.1946**

В Париже торжественно продемонстрированы первые купальники «бикини», придуманные бывшим инженером по двигателям Луисом Ридом. Купальники получили свое название в честь атолла Бикини, где впервые в мирное время испытывали атомную бомбу. Смысл названия купальника, состоявшего из двух небольших лоскутков, прикрывающих извечные женские прелести, кажется очевидным. Появление дамы в таком купальнике должно производить «сильнейший взрыв». Любопытно не это, любопытно даже не то, что эффектно было спрятано под купальником. Любопытна связь между прельстительностью и разрушением. Причем связь и вербальная, и засловесная, недаром же появились «секс-бомбы» и в двадцать, и в сорок, и в сто мегатонн. И эта связь не в старом солдатском «наши жены — ружья заряжены», столь блестяще обыгранном великим Кубриком в «Цельнометаллическом жилете», где новобранцы каждую ночь проводят в обнимку со своей винтовкой М16 и каждая ночь для них — брачная. Нет, связь эта губительная. Объект для любования, а не для прикосновения, что-то вроде: «Не трогать, свежеевыкрашен», — душа не береглась, и память — «в пятнах икр, и щек, и рук, и губ, и глаз», если память и душу заменить на что-нибудь более телесное. Ведь так и остается от человека, в которого попал снаряд или который наступил на мину, — чуть слизи, чуть крови и еще меньше мозгов, разбросанных вокруг.

**4.6.1956**

В этот день американским правительством опубликован секретный доклад Н. С. Хрущева, прочитанный со всеми возможными предосторожностями ночью с

24-го на 25 февраля того же года на XX съезде КПСС. Но точный текст таинственного доклада, спустя несколько месяцев уплывший за океан и там напечатанный, уже не пугал Хрущева. Куда сильнее его испугало то, что содержание прочитанного доклада буквально на следующий день стало известно и западным политикам, и западным средствам массовой информации. Еще долго на разного рода собраниях, съездах, а главное, на встречах с творческой интеллигенцией Никита Сергеевич, прежде чем начать говорить, сердито спрашивал: «Надеюсь, в зале шпионов нет?», намекая на оперативность, с какой некие старатели переправили его слова за кордон. Будь его воля, он, верно, не только бы подарил Крым Украине, но и, подобно Сталину, внес бы собственный вклад в языкознание. Скажем, дополнил бы в словаре синонимов статью «шпионаж» словом «гласность», хотя бы это слово пришлось переносить сюда из словаря иностранных слов, где оно тогда покоилось.

### 5.6.1909

В Петербурге на Знаменской площади (позднее площадь Восстания) открыт памятник Александру III работы Паоло Трубецкого, по всей вероятности, лучший памятник в мире, увековечивший исторического деятеля. Сам памятник многократно описан и в художественной литературе, и в мемуарах; трехстишие, посвященное ему, вошло в те немногочисленные антологии русских эпиграмм, которые у нас выходили. Но впечатление от каждой встречи с ним, даже зрительное воспоминание о нем, все крепче и крепче. Однако самое любопытное, что это — единственный в России памятник-пародия, факт, отмеченный многими энциклопедиями.

### 6.6.1907

Появилось первое специализированное домашнее чистящее средство — персоль. Никто не знал, что именно так и должен начинаться новый, XX век. Место действия — Германия, Дюссельдорф.

### 7.6.1988

Захворавший попугай в зоопарке Южной Бразилии снова стал с аппетитом есть, после того как дантист заменил ему одну из челюстей на пластиковую. Нижняя часть клюва до этого была расщеплена, и каждое движение причиняло боль. Ближе к концу века наука была способна творить чудеса. Людям и животным стало возможным заменять больной орган протезом.

### 8.6.1949

В Лондоне опубликована одна из самых важных книг XX века — роман Джорджа Оруэлла «1984». Единственное уточнение: одна из самых важных книг XX века и не самая лучшая книга Оруэлла.

### 9.6.1933

В своей студии в Лонг Акр в Лондоне шотландец Джон Лоджи Байард продемонстрировал телевидение высокого разрешения, отличавшееся большой четкостью изображения. Это было революцией в области телевидения. Близилась эра высоких технологий.

### 10.6.1909

Лайнер «Славония», потерпевший бедствие возле Азорских островов, впервые применил сигнал «SOS». Сигнал был услышан, и «Славония» спасена. Тогда это было в новинку. Но вот как это звучит на языке справочника по международному морскому праву (несмотря на то что международное право теперь — пустые слова): «Каждое государство вменяет в обязанность капитану любого судна, плавающего под его флагом, в той мере, в какой капитан может это сделать, не подвергая серьезной опасности судно, экипаж или пассажиров... следовать со всей возможной скоростью на помощь терпящим бедствие, если ему сообщено, что они нуждаются в помощи». И фраза, оправдывающая все: «За спасение погибающих в море людей никакого вознаграждения не полагается, оно производится безвозмездно независимо от согласия пострадавшего».

### 11.6.1972

В Нью-Йорке состоялась премьера поразившего всех в свое время порнофильма «Глубокая глотка». Фигура исполнительницы если не главной роли (чересчур сказано), то главной функции в этом фильме — Линды Лавлейс — достойна серьезного интереса. Она смогла обыграть амбивалентную сущность всякой жертвы общественного темперамента — развращенность, причудливо сочетаемую с невинностью. Получив если не лавры, то дивиденды от участия в фильме, через какое-то время она пишет книгу, где рассказывает трогательная история о чистой душей девушки, которую принуждают злые и жестокие люди совершать малопримечные, а верней, находящиеся за гранью общественной морали поступки. Ее умелое владение языком — и в прямом, и в переносном смысле — позволило ей быть убедительной и на киноэкране, и на книжных страницах.

**12.6.1944**

Начался двухдневный обстрел Лондона немецкими ракетами «Фау-1», «оружием возмездия», в которое столь верил Гитлер. Как утверждают некоторые источники, Лондон не был уничтожен лишь потому, что Гитлер признавал особую модель мироздания. Курс ракет прокладывали с учетом некой поправки, потому они и редко попадали в цель.

**13.6.1912**

В Москве открылся Музей изящных искусств, ныне носящий имя Пушкина. Без этого, поначалу бедного — состоявшего из гипсовых копий, — музейного собрания не появилось бы двух третей русских художников, работавших в разных стилях и придерживавшихся различных взглядов на искусство и жизнь.

**14.6.1941**

Официальное сообщение ТАСС опровергало слухи о якобы скором нападении Германии на СССР. Привычка утверждать с точностью до «наоборот» и прилюдно лгать, не утерянная и ныне, приучила часть публики ничему не верить, а другую часть махать на все рукой. В мышлении же тех, кто привержен такой политике лжи с кратким сроком хранения, можно усмотреть глубоко архаические пласты: примитивную магию, боязнь сглаза и надежду заговорить неотвратимое.

**15.6.1988**

К лидеру Организации освобождения Палестины Ясиру Арафату обратился с просьбой ультраортодоксальный рабби Моше Хирш. Он просил Арафата помочь закрыть секс-шоп в Иерусалиме и положить конец продаже в святом городе надувных китайских секс-кукол и порнофильмов. Изверившийся антисионист, рабби Моше Хирш вряд ли читал роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», растащенный по школьным курсам и школьным хрестоматиям, иначе бы поразился словам, цитируемым где ни попадя: «Я — часть той силы, что вечно желает зла, но делает добро», а коли и начал читать, до этих слов не дошел — они стоят в самом начале романа.

**16.6.1904**

Этот один-единственный день описывается в романе Джеймса Джойса «Улисс» и не имеет с действительностью ровным счетом ничего общего.

**17.6.1970**

Эдвин Лэнд запатентовал свой фотоаппарат «Полароид». С этого момента публика пытается жить настоящим (вернее, бесконечно продолженным настоящим — имя ему смерть).

**18.6.1978**

На свет появился Гарфилд, самый толстый и самый любимый кот в мире. Его придумал Джим Дэвис. И с тех пор комиксы о Гарфилде побивают любые рекорды популярности. Их печатали 2000 газет, выходящие в 37 странах на 12 языках. Дедушка Джима, Джеймс А. Гарфилд Дэвис, в чью честь назвали кота, должен был бы испытывать непомерное счастье, если бы знал, что многие создания искусства не только бессмертны, они еще и живее живых.

**19.6.1953**

В 8 часов вечера в американской тюрьме «Синг-Синг» на электрическом стуле кончили свои дни Этель и Джулиус Розенберги, обвиненные в шпионаже в пользу СССР. Американцы с гордостью утверждают, что это была первая супружеская пара, казненная в США за шпионаж.

**20.6.1963**

Заключен советско-американский договор о прямой телефонной связи между Кремлем и Белым домом. Теперь в случае любого международного конфликта стоит главе правительства в Кремле взять телефонную трубку, и все сразу встанет на свои места. Он услышит короткие гудки — это секретарша американского президента звонит домой, говоря, что немного задержится: есть срочная работа.

**21.6.1988**

Полуторагодовалый мальчик из Бангладеш до смерти закусал напавшую на него змею. Случай можно было бы посчитать курьезом, достойным Книги рекордов Гиннеса при условии, если бы не произошло это в последней четверти XX века.

**22.6.1941**

Начало Великой Отечественной войны.

**23.6.1987**

В США Верховный суд разрешил использовать показания, добытые под гипнозом. Допрашивалась некая миссис Викки Лорен Рокк, убившая мужа за то, что он не отпустил ее из дома за гамбургером. Под гипнозом обвиняемая утверждала: выстрел произошел случайно, она и не касалась пальцем спускового крючка, ружье выстрелило само. На судью ее слова не произвели особого впечатления. Он сказал, что на

гипноз в таких случаях полагаться нельзя. Тем не менее Верховный суд подсудимую оправдал. Это свидетельствует о глубокой загнивотизированности американцев разного рода психоаналитиками и психиатрами.

**24.6.1901**

Открылась первая парижская выставка Пикассо. Так начиналось новое искусство века.

**25.6.1926**

В полдень куранты Петропавловского собора в первый раз исполнили «Интернационал». Собственно, так и следует: иные времена, иные песни. Странность рождает то обстоятельство, что собор являлся усыпальницей российских императоров, начиная с Петра I. Однако для города характерно постоянное наложение различных временных и культурных координат.

**26.6.1953**

На заседании Президиума ЦК КПСС арестован Л. Берия. По одной из легенд, характерных для нашего века, даже Хрущев, готовясь заранее к этому акту, вооружился пистолетом. Также по легенде, опасаясь последствий, вытащил пистолет и маршал Г. К. Жуков, что для него было непростительно. Профессиональный военный, он-то должен был помнить, что пистолет является личным оружием. Это либо средство психологического воздействия в затруднительном положении, либо средство не попасть в руки врагу. Боевого значения личное оружие офицера не имеет по своему статусу. Если учесть, что у Л. Берии была также личная охрана, нетрудно представить, какое смятение испытывали присутствующие.

**27.6.1905**

Начался мятеж на броненосце «Потемкин». Как проходил он в действительности, сейчас вряд ли восстановит и самый скрупулезный историк. В веках остался мятеж на броненосце «Потемкин», придуманный С. Эйзенштейном, — с несуществовавшим брезентом, которым накрыли расстреливаемых, и с покачивающимся, зацепившимся за такелаж пенсне выброшенного за борт корабельного врача (кажется, тут ироничнейший режиссер визуализировал анекдот, печатавшийся в старых сборниках: некий корабельный врач от всех болезней лечил матросов морской водой. Когда доктор случайно выпал за борт, матрос отвечает другому: «Доктор пошел к себе в аптеку»).

**28.6.1914**

В Сараеве убит эрцгерцог Франц Фердинанд, что послужило предлогом для первой мировой войны.

**29.6.1958**

В Москве открыт памятник В. В. Маяковскому. Возле него выступали разные люди, и ставшие литераторами, и литераторами не ставшие. Считается, что под этим памятником родилось новое литературное поколение. Вряд ли верно судить так напрямую. Здесь выступали и молодой А. Вознесенский, и совсем молоденький Л. Губанов. Так сколько же родившихся поколений? Или некоторые погибли, едва родившись?

**30.6.1934**

В «Ночь длинных ножей» были убиты не только штурмовики (точное количество жертв неизвестно), но и старый товарищ Гитлера по партии Эрнст Рём. Начался новый период в развитии германского общества, начался новый период духовной жизни Гитлера.





# Литературная критика

**«Это светлое имя — ПУШКИН»**

**К 200-летию поэта**

*Дорогие друзья!*

*С днем рождения Пушкина! И хотя ему исполнилось 200 лет, для нас «он вечно тот же, вечно новый». Постигая заветные и м «сокровища родного слова», мы каждый раз заново открываем для себя мир его добрых чувств и высоких мыслей, мир его мудрой и прекрасной поэзии. Есть во многом необъяснимое, до сих пор притягательное обаяние и в его творениях, и в его личности, и в его судьбе. Мы любим Пушкина — каждый по-своему. Его день рождения — и торжество нашей культуры, и праздник каждого из нас.*

*Когда в 1880 году в Москве был открыт памятник Пушкину, это было огромное событие в духовной жизни России. А. Н. Островский в застольном слове на обеде Московского общества любителей российской словесности пронзительно заметил: «Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоценены. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. ...Пушкиным восхищались и умнели, восхищаются и умнеют». Завершая свою речь, драматург так обратился к слушателям: «...я предлагаю тост за русскую литературу, которая пошла и идет по пути, указанному Пушкиным. Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Мы выпьем очень весело этот тост: нынче на нашей улице праздник».*

*С днем рождения Пушкина! С праздником!*

*Н. И. МИХАЙЛОВА, заместитель директора  
Государственного музея А. С. Пушкина, академик РАО*

## По страницам Онегинской энциклопедии

**ЯЗЫКОВ** Николай Михайлович (1803—1846/7), поэт. С Пушкиным его познакомил А. Н. Вульф (соученик по Дерптскому университету, сын владелицы Тригорского П. А. Осиповой) летом 1826 г., когда Языков, в то время студент философского факультета Дерптского университета (1822—1829), гостил у Осиповой в Тригорском, по соседству с Михайловским, где был в ссылке Пушкин. Еще до личного знакомства они обменялись стихотворными посланиями: 20 сентября 1824 г. Пушкин написал послание Языкову («Издревле сладостный союз...»); Языков на него откликнулся посланием Пушкину («Не вовсе чужа бога света...»). До личного знакомства с Языковым Пушкин включил упоминание о нем в четвертую главу «Онегина» (писавшуюся в 1824—1825 гг.). Упоминание это связано с характеристикой стихов Ленского, которые тот писал «в альбоме Ольги молодой»:

И полны истины живой  
 Текут элегии рекой.  
 Так ты, Языков вдохновенный,  
 В порывах сердца своего,  
 Поешь, Бог ведает, кого,  
 И свод элегий драгоценный  
 Представит некогда тебе  
 Всю повесть о твоей судьбе\*.

В этом упоминании настораживает дважды повторенное название жанра стихотворений Языкова — «элегии». Языков — совсем не «элегический» поэт, чьи сочинения (особенно в раннюю, «дерптскую» пору) можно было бы соотнести со стихами Ленского. Н. Л. Бродский, комментируя эту строфу, счел нужным указать, что уже «первое издание стихотворений Языкова 1833 г.» нельзя «считать „сводом элегий“, тождественным по настроению с элегиями Ленского», а Ю. М. Лотман попытался объяснить видимое несоответствие тем, что «упоминание элегий Языкова вносит усложняющий оттенок в диалог с Кюхельбекером в строфах XXXII—XXXIII». Современный исследователь элегического жанра Л. Г. Фризман уточняет, что собственно элегические настроения Языкова проявились в произведениях 1830—40-х гг., когда поэт был тяжело болен, тосковал по родине, а в юношеский период «Языков (иногда без видимых оснований) называл элегиями стихи самой разнообразной поэтической структуры: и политические инвективы, и творческие декларации, и лирические миниатюры, и пейзажную лирику» (Русская элегия XVIII — начала XX века. Л., 1991, с. 625).

Нам представляется, что дело обстоит несколько иначе. До 1825 г. Пушкин мог прочитать в журналах только два произведения Языкова, обозначенных как «элегии»: «Элегия» («Скажи, воротись ли ты...») и «Еще элегия» («Как скучно мне: с утра до ночи...») — обе были напечатаны в 1824 г. в журнале «Новости литературы». Упоминание «свод элегий драгоценных», Пушкин явно имеет в виду не их, а что-то другое.

Сюжет с «элегиями драгоценными» несколько проясняется из переписки Пушкина с А. Н. Вульфом. В письме от марта — апреля 1825 г. Пушкин, живущий в Михайловском, сообщает, что получил из Дерпта какую-то «чувствительную Элегию» Языкова. В письме от конца августа снова речь идет о ней: «Кланяюсь Языкову. Я написал на днях подражание Элегии его *Подите прочь*». В письме от 10 октября Пушкин приводит «начало» этого «подражания»:

Как широко,  
 Как глубоко!  
 Нет, Бога ради,  
 Позволь мне сзати — etc.

Наконец, в письме от 7 мая 1826 г. содержится просьба привезти Языкова в гости, своей лексикой демонстрирующая, что интересующая нас 31-я строфа четвертой главы уже написана: «Не правда ли, что вы привезете к нам и вдохновенного?» (ср.: «Так ты, Языков вдохновенный...»).

Таким образом, «элегии», связанные в сознании Пушкина с именем Языкова, — это цикл эротических («бурсацких») элегий, не предназначавшихся для печати. Эротическая лирика Языкова, не публиковавшаяся до XX века, пользовалась в пушкинские времена большой известностью: «списки его пьес неоднократно встречаются в различных рукописных сборниках эротической лирики» (Азадовский М. К. Приме-

\* Все произведения А. С. Пушкина здесь и далее цитируются по Полному академическому собранию сочинений. Издание АН СССР, М.—Л., 1937.

чания. В кн.: Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. М.—Л., 1934, сс. 727—729). Цикл, который обыгрывает Пушкин, так и называется — «Элегии». Он состоит из семи текстов (два из которых доселе не опубликованы ввиду их полного неприличия), среди которых есть и текст, ставший объектом приведенного выше пушкинского «подражания» (в некоторых списках он именуется «Хлоя»):

Поди ты прочь!  
Теперь не ночь,  
А также кстати  
И нет кровати!  
Ах, радость, Хлоя,  
Позволь...— и т. д.

Эти семь «похабных» элегий имеют сквозной сюжет. Основой в них, как во всех произведениях такого рода, является подробное описание «плотских утех» некоего «студента» и его «Лилеты». Потом оказывается, что «Лилета» накануне «К попу ходила / И прогостила / Там до утра». Это открытие вызывает у студента вольнолюбивые мысли:

И литургия  
Мила ли мне,  
Когда во сне  
Я, как Россия,  
Едва живой,  
Страдал и бился,  
И, сам не свой,  
В мечтах бранился  
С моим царем?  
О Боже, Боже!  
С твоим попом  
На грешном ложе  
В субботний день,  
Вчера грешила  
Младая Лила!..

Пушкинское «подражание» до нас не дошло (кроме четырех вышеприведенных стихов из письма к Вульфу); скорее всего оно и не было написано. В кругу поэтических интересов Пушкина такого рода «элегии» воспринимались как шутка и ни в коем случае не претендовали ни на что большее.

Сопоставление языковских эротических «Элегий» со стихами Ленского, которые он вписывает в альбом своей невесте, — продолжение той же шутки. В фигуре Ленского-поэта отразилось, помимо прочего, насмешливое недовольство Пушкина критиками, разбранившими его раннюю «шаловливую» поэму «Руслан и Людмила» (см.: Кошелев В. А. Первая книга Пушкина. Томск, 1997, сс. 178—192). Молодого «творца Руслана» некоторые деятели из круга «старших карамзинистов» (А. Ф. Воейков, И. И. Дмитриев, М. С. Кайсаров и др.) обвинили в излишней «чувственности» повествования и связанной с этим «нескромности» поэмы. Пушкин в ответ на эти обвинения попробовал вывести в романе *искусственного поэта*, созданного по тем «рецептам», которые были предписаны критикой ему самому. Сопоставление элегий Ленского с «бурсацкими» элегиями Языкова, понятное только «посвященным» знатокам, было из этого же ряда: вы требуете «благопристойности» от молодого человека? — получите же ее! Кроме того, последующее ироническое упоминание статей Кюхельбекера («критика строгого»), выступившего против «новейшей» элегической стихии в литературе, выглядело особенно убийственным в соседстве с теми «чувствительными» элегиями, которые были известны почитателям молодого Языкова.

Другое упоминание Языкова-поэта в «Онегине» встречается в строфах, не вошедших в окончательную редакцию романа. В финальных строфах «Путешествия Онегина» (по первоначальному плану — главы восьмой) Пушкин делает большое лирическое отступление и повествует о собственном приезде в Михайловское:

Везде, везде в душе моей  
Благословлю моих друзей!  
Нет, нет! нигде не позабуду  
Их милых, ласковых речей —  
Вдали, один, среди людей  
Вообразать я вечно буду  
Вас, тени бережных ив,  
Вас, мир и сон Тригорских нив.

И берег Сороти отлогий  
И полосатые холмы  
И в роще скрытые дороги  
И дом, где пировали мы —  
Приют, сияньем Муз одетый  
Младым Языков<ым> воспетый,  
Когда из капища наук

Являлся он в наш тесный круг  
И нимфу Сороти прославил,  
И огласил поля кругом  
Очаровательным стихом...

Эти строки, написанные осенью (18 сентября) 1830 г. в Болдине, посвящены пребыванию Языкова в Тригорском: Языков гостил там с середины июня до середины июля 1826 г.; знакомство с Пушкиным произвело на него глубокое впечатление, отразившееся, в частности, в послании «А. С. Пушкину» («О ты, чья дружба мне дороже...») и в большом стихотворении «Тригорское», написанном в августе — октябре 1826 г. Пушкин высоко оценил «Тригорское». Строфы из «Путешествия Онегина», в сущности, представляют собою аллюзию языковского стихотворения. «Полосатые холмы», например, прямо отправляют к многоцветному описанию «тригорских нив».

Сии ликующие нивы,  
Где серп мелькал трудолюбивый  
По золотистым полосам;  
Скирды желтелись, там и там...

Языков описывает и дружескую пирушку в доме Пушкина («Приют свободно-го поэта / Непобежденного судьбой!»), и «нимфу Сороти», обнявшую поэта во время купания в деревенской речке.

Какая сильная волна!  
Какая свежесть и прохлада!  
Как сладострастна, как нежна  
Меня обнявшая Няяда!..

Пушкин получил от Языкова текст этого стихотворения 9 ноября 1826 г., когда вернулся в Михайловское из Москвы, где в его жизни произошел крутой перелом. В тот же день он писал П. А. Вяземскому: «Здесь нашел я стихи Языкова. Ты изумишься, как он развернулся, и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому должен бы завидовать. Аминь, аминь глаголю вам. Он всех нас, стариков, за пояс заткнет».

*В. А. КОШЕЛЕВ*

## УЛАН

Улан умел ее пленить,  
Улан любим ее душою...

Уланы (слово татарского происхождения) — разновидность регулярной легкой кавалерии — впервые появились в Азии. Известно, что несколько полков улан существовало в армии Тамерлана. От татар, поселившихся в Литве и в Польше, первыми этот род войск заимствовали поляки, от которых он распространился и в других европейских армиях; потому обмундирование уланов сохраняло элементы польского костюма. В России первый уланский полк фактически появился в царствование Екатерины II, но тогда носил название Елисаветградского пикинерного. Первый же полк под названием уланского был сформирован в царствование Александра I: в 1803 г. Одесский гусарский полк был переименован в Уланский Его императорского высочества великого князя цесаревича Константина Павловича, а в 1809 г. включен в состав гвардии под названием лейб-Уланского. В пушкинское время в русской армии существовало пять уланских полков, отличившихся в войнах с наполеоновской Францией: это уже упомянутый нами лейб-гвардии Уланский, а также Вольнский, Литовский, Польский и Татарский уланские.

В отличие от гусар уланы были более сдержанны в поведении, а обмундирование их было менее эффектным. Знаменитая Надежда Андреевна Дурова, чья служба в армии началась в 1806 г. в Польском уланском полку, затем сражавшаяся в рядах Литовских улан при Бородине, все же отдавала явное предпочтение гусарам. Ее грусть при переводе из Мариупольского гусарского полка в уланы была так велика, что один из ее сослуживцев участливо осведомился: «Ну что, улан, видно, не хочется расстаться с золотыми шнурами?» (Записки Александра (Дуровой). Добавление к Девиге-кавалерист. М., 1839, с. 178.) Вообще это перемещение из одного вида легкой кавалерии в другой «кавалерист-девица» восприняла как ощутимую потерю, что отразилось в ее размышлениях: «Чем более мы углубляемся в мысли о невозвратности какого блага, тем оно дороже нам кажется. Лучше всего стараться не думать об нем! Несмотря на эту философию, я до самой Домбровицы думала и грустила о том, для чего я не по-прежнему гусар!» (Там же, с. 180.)

Уланские полки отличались между собой внешним видом: мастью лошадей, а также так называемым мундирным приборным сукном — цветом верха шапок, воротников, отворотов лацканов и выпушек. В основном в мундире преобладало сочетание синего, малинового и белого цветов. Мундир состоял из темно-синей куртки с лацканами в виде отворотов на груди и стоячего воротника приборного сукна, а также чакчиров — узких панталон темно-синего сукна с двойным лампасом. Эполеты у нижних чинов были белыми, нитяными, в то время как у офицеров металлический

приклад (эполеты, пуговицы) был серебряный. Существовало и другое важное отличие между полками — цвета флюгера (флажка) на пиках. Так, например, в упомянутом нами Польском уланском полку в 1-м батальоне флюгер был весь малиновый, а во 2-м батальоне верхняя половина флюгера была малиновая, а нижняя белая; в Литовском же уланском полку в 1-м батальоне флюгер был сплошь белый, а во 2-м верхняя половина малиновая, а нижняя белая. Головным убором улан был особого образца кивер с четырехугольным кожаным дном («развалом»), так называемая «конфедератка», по поводу которой знакомый Пушкина Ф. Булгарин, служивший в лейб-Уланах, сообщал: «...Уланскую шапку мы носили тогда по форме, набекрень, к правой стороне, и почти вся голова была обнажена» (Булгарин Ф. В. Воспоминания. СПб., 1847, ч. 3, с. 60). Им же подробно описаны быт и военные свершения этого привилегированного полка, особо любимого цесаревичем Константином Павловичем. Высочайшим указом шефа лейб-Уланы в отличие от других полков имели красный цвет приборного сукна вместо малинового и желтый металлический прибор.

Вооружение улан составляли пика с флюгером, сабля и карабин. «Надобно однако же признаться, — писала Н. А. Дурова, — что я устаю смертельно, размахивая тяжелою пикой — особливо при этом вовсе ни на что непригодном маневре вертеть ею над головой; и я уже несколько раз ударила себя по голове...» (Кавалерист-девица. Происшествие в России. СПб., 1836, ч. 1, с. 78.)

За исключением мужа Ольги Лариной уланы почти не упоминаются на страницах пушкинских произведений. Пушкин не скрывал явного пристрастия к гусарам. А вот гусар М. Ю. Лермонтов избрал именно улана главным героем знаменитой поэмы «Тамбовская казначейша» (1835), заметив по поводу этого сочинения: «Пишу Онегина размером...»

*Л. Л. ИВЧЕНКО*

**ТЕЛЕЖКА** — «1) малая телега о четырех колесах, на каковой возят тяжести люди, а не лошади; 2) тачка с ящиком. На тележках возят песок, глину, известь из барок» (Словарь Академии Российской, т. 6, стб. 90).

Тележка, как и телега, была прежде всего крестьянской повозкой. Ходовую ее часть составляли дроги, или продольные жерди, укрепленные на осях колес. Основным преимуществом тележки была возможность изменять ее конструкцию. Если, например, надо было перевезти бревна, оси разъединяли, сами бревна привязывали к задней оси, дроги удлиняли вровень с бревнами; телега, таким образом разъединенная, называлась роспусками. Когда возили мешки с зерном, по бокам дрог ставили высокие борта. А если же на тележках ехали люди, то на дроги ставили кузов, или ящик, над которым иногда укрепляли на столбиках навес. Незвестный автор книги для детей, содержащей сведения о самых разных предметах и явлениях, о простых повозках для поездов писал: «Экипажи, коими всякому можно пользоваться суть: или с навесом небольшие тележки, фуры, дроги или роспуски...» (Не большой подарок для наставления и забавы моим детям. СПб., 1822, ч. 2, с. 167.)

Тележку упомянул Пушкин в сорок третьем примечании к роману «Евгений Онегин», пересказывая анекдот о К\*: «...будучи однажды послан от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу». Вероятно, Пушкин знал похожую невероятную историю о князе Д. Е. Цицианове, которую записала его двоюродная внучка и знакомая Пушкина А. О. Смирнова-Россет. «Я был фаворитом Потемкина, он мне говорит: «Цицианов, я хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофий с калачом, ты один горазд на все руки, подъезжай же с горячим калачом». «Готов, ваше сиятельство». Вот я устроил ящик с конфоркой, калач уложил и помчался, шпага только ударила по столбам все время: тра, тра, тра и к завтраку представил собственноручно калач» (Смирнова-Россет А. О. Воспоминания. Дневник. М., 1989, с. 478). Не исключено, что в придуманном князем Д. Е. Цициановым эпизоде упоминалась тележка — «ящик с конфоркой».

В пушкинском примечании К\*, посланный генерал-фельдмаршалом Г. А. Потемкиным с «государственным» поручением к императрице Екатерине II, мчится — не в карете и ни в каком другом мало-мальски комфортабельном экипаже, — а на тележке. И это не случайно, так как примитивная конструкция именно этой повозки лучше всего была приспособлена к российскому бездорожью и выдерживала «...колеи / И рвы отеческой земли», и, следовательно, позволяла не терять времени на бесконечные починки в дороге и двигаться быстрее.

Не только в XVIII, но и в XIX в. тележка оставалась одним из самых скорых видов транспорта для курьеров, фельдгегерей, военных — словом, всех тех, кто выполнял монаршую волю и поручения государственной важности. Маркиза де Кюстина (побывавшего в России почти полвека спустя после екатерининского царствования) удивили и тележка, по его словам, «самое неудобное из всех существующих средств передвижения», и судьба «человека-автомата», который обязан в ней ездить: «Представьте себе небольшую повозку с двумя обитыми кожей скамьями, без рессор и без спинок, — всякий другой экипаж отказался бы служить на проселочных дорогах... На передней ска-

мье сидит почталыон или кучер, сменяющийся на каждой станции, на второй — курьер, который ездит, пока не умрет» (Кюстин де А. Россия в 1839 году. В кн.: Россия глазами иностранцев. М., 1989, с. 501). Другой путешественник, Теофиль Готье, увидел Россию на рубеже 1850—60-х гг., но так же, как и маркиз де Кюстин, был изумлен тем, что на улицах Петербурга рядом с модными рессорными экипажами ехали тележки, как он написал, — образцы «дичайшей грубости». Глядя на движущегося по казенной надобности, Теофиль Готье писал: «Быстро проезжает телега, не обращая внимания на встряски, — на ее досках без рессор страдает офицер. Куда он едет? За пять-шесть сотен верст, а может быть, и дальше, на окраины империи, на Кавказ или в сторону Тибета. Не все ли равно! Но будьте уверены в одном: эта тележка (другого названия ей невозможно придумать) все равно будет мчаться во весь опор. Только бы два передних колеса крутились — этого достаточно» (Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988, с. 54).

*Е. А. ПОНОМАРЕВА*

**ТВЕРСКАЯ** — улица в Москве, часть древнего (с XIV в.) пути на Тверь; с XVIII в. получила значение главной улицы Москвы, по которой совершался торжественный въезд императоров при коронациях. При подъезде к городу, на Петербургском шоссе находился Петровский «подъездной» дворец или замок, построенный в 1775—1783 гг. по проекту М. Ф. Казакова («Вот окружен своей дубравой / Петровский замок. Мрачно он...»). Часть дубравы была вырублена французами, устраивавшими бивуаки в парке в 1812 г.; мрачное впечатление Петровский замок производил потому, что после 1812 г. он долгое время не ремонтировался, и только в 1827 г. начались восстановительные работы, продолжавшиеся около 10 лет. В парке было и несколько трактиров, среди них славился *Gastronome Russe*, содержавшийся поваром-французом, который даже иногда давал балы, а в саду «небольшие воксалы» (т. е. увеселительные собрания с танцами). Дачи в Петровском парке появились в основном в 1820—30-х гг. На одной из них, принадлежавшей А. И. Лобковой, матери друга Пушкина С. А. Соболевского, собрались 19 мая 1827 г. друзья Пушкина, чтобы проводить его в Петербург.

Прощай, свидетель падшей славы,  
Петровский замок. Ну! не стой,  
Пошел! Уже столпы заставы  
Белеют; вот уж по Тверской  
Возок несется чрез ухабы.  
Мелькают мимо бутки, бабы,  
Мальчишки, лавки, фонари,  
Дворцы, сады, монастыри,  
Бухарцы, сани, огороды,  
Купцы, лачужки, мужики,  
Бульвары, башни, казаки,  
Аптеки, магазины моды,  
Балконы, львы на воротах  
И стаи галок на крестах.

Шоссе подводило к заставе Камер-коллежского вала («Уже столпы заставы / Белеют...»), на которой в 1827—1834 гг. в память победы в Отечественной войне были выстроены Триумфальные ворота (снесены в 1936 г. и воссозданы на Кутузовском проспекте в 1968 г.).

За заставой, ближе к городу, находилась Тверская ямская слобода с приходской церковью св. Василия Кесарийского, построенная в 1688 г. и перестроенная в 1816—1830 гг. (стояла на месте современного дома № 33 по Тверской-Ямской улице, разрушена в 1935 г.). Кроме нее, на Тверской улице находились еще две церкви — Благовещенская, постройки 1732 г. (на углу одноименного переулка, снесена в 1936 г.), и св. Дмитрия Солунского, 1791 г., с древней, первой половины XVII в., шатровой колокольней (на углу проезда Тверского бульвара, снесена в 1934 г.), а также Страстной монастырь на одноименной площади (с 1931 г. — Пушкинская), основанный в 1654 г. на месте встречи чудотворной «Страстной» иконы. Монастырь был снесен в 1937 г.

На Тверской улице стоял дворец главы московской администрации — генерал-губернатора (№ 13), бывший в конце XVIII в. домом графа З. Г. Чернышева (на балах в доме генерал-губернатора бывал Пушкин); напротив генерал-губернаторского дворца — здание Тверской полицейской части; в квартале между Никитским и Газетным переулками в 1791—1830 гг. находился Университетский благородный пансион, занимавший перестроенный дом князя Н. Ю. Трубецкого, потом Межевой канцелярии, пожалованный Екатериной II Московскому Императорскому Университету; Английский клуб (№ 21), здание которого, вероятно, было выстроено Л. К. Разумовским в начале XIX в. и приобретено клубом в 1831 г. (до этого времени клуб помещался на Большой Дмитровке); Глазная больница (№ 25), дом для которой был приобретен в 1830 г.; подворье Савинского Сторожевого монастыря (ныне здание его во дворе дома № 6).

В начале XIX в. на Тверской улице находились дворцы графов Гудовичей, графини А. И. Орловой, княгини В. Ф. Салтыковой, графа И. И. Моркова, П. И. Мятлева, П. П. Бекетова, П. Н. Демидова, княжны Е. С. Трубецкой, князя А. А. Прозоровского и др.

Тверская улица была одной из главных торговых улиц Москвы. По словам путешественника И. Г. Гурьянова 1831 г.: «С самого вступления вашего в сию улицу вы видите почти непрерывную цепь вывесок и надписей: тут погреб, там кондитерская, здесь магазин. Лучшие мастеровые стараются иметь ежель не на известном Кузнецком мосту, то уж здесь свои жилища». На Тверской находились известные в городе кондитерские Эльцнера, Педотти и Томяница; «Английский магазин вин», булочные Ницмана и Веселя. На Тверской была расположена аптека Шульца, которая «по расположению своему, чистоте и... по доброте медикаментов заслуживает внимание наблюдателя» (в доме кн. Прозоровского, разрушен, находился на месте современного дома № 15).

На Тверской и рядом с ней помещались шесть из семи московских гостиниц. В гостинице купца М. Д. Часовникова «Европа» (на месте дома № 6) Пушкин остановился после приезда в Москву в сентябре — октябре 1826 г., а в гостинице Коппа он жил в 1830 г. А в 1826—1827 гг. Пушкин часто бывал в салоне княгини З. А. Волконской, находившемся в доме ее мачехи, княгини А. Г. Белосельской-Белозерской (№ 14, значительно перестроен).

С. К. РОМАНЮК

**ЩИ** — «похлебка, мясная или постная, из рубленой и квашеной капусты; иногда капусту заменяет щавель, свекольник и пр. ...ЩИ с подбелкою, с забелкою, со сметаной, с мучицею на молоке; в пост с конопляным соком. Крапивные щи, по первовесенью. Ленивые щи, из свежей, нерубленой капусты, искрошенной ножом. Мороженые щи берут в дорогу, рубят их и греют» (В. И. Даль).

ЩИ — традиционное блюдо русской кухни. Различные рецепты приготовления щей, извлеченные из старинных кулинарных книг, словарей поваренных и приспешничьих, энциклопедий сельской и городской хозяйки, представлены в книге «В старину едали деды» (Новгород, 1990, с. 26).

В 1815 г. в «Послании к Юдину», рисуя идеал счастливой жизни, Пушкин писал:

Но вот уж полдень. В светлой зале  
Весельем круглый стол накрывает;  
Хлеб-соль на чистом покрывале,  
Дымятся щи, вино в бокале,  
И щука в скатерти лежит.

Приведенные стихи перекликаются с описанием накрытого к обеду стола в послании Державина «Евгению. Жизнь Званская» (1807 г.):

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,  
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,  
Что смоль-янтарь икра, и с голубым пером  
Там щука пестрая — прекрасны!

В пушкинское время щи воспринимались как простонародная еда. Своего рода гимн этой здоровой крестьянской пище — в анонимном стихотворении 1802 г. «Крестьянский обед»:

Всего на свете боле  
С капустой щи люблю;  
Ем соус поневоле,  
А супов не терплю.

Описав идиллическую картину крестьянской трапезы (крестьянин с хозяйшкой — «любезным дружочком» и ребенком вкушает простоквашу, пирог, редьку с хреном, ест сухари с квасом и, конечно же, щи), автор стихотворения заключает его так:

Вот так живут крестьяне!  
Без супа — без забот;  
Здоровей, чем дворяне,  
Ест щи он без хлопот.

О щи! вас не престану  
Всегда я прославлять,  
И нынче есть их стану,—  
Мне жизнь так окончатъ.

(Аония, или Собрание стихотворений.

Сочинение г-ж ХХХ. М., 1802, кн. I, сс. 137—139.)

Не случайно о щах говорится во многих народных пословицах: «ЩИ да каша — мать (жизнь) наша. Кабы голодному щец — всем бы молодец. ...ЩИ всему голова. ...Для щей люди женятся, от добрых жен постригаются» (В. И. Даль). Приводит Даль и пословицу «Щей горшок да сам большой». Именно ее включил Пушкин в строфу «Отрывков из путешествия Онегина»:

Мой идеал теперь — хозяйка,  
 Мои желания — покой,  
 Да щей горшок, да сам большой.

Последний стих Пушкин выделил курсивом как чужую речь. Приведенная Пушкиным народная поговорка, смысл которой — сыт и ни от кого не зависим, встречалась в русской поэзии и ранее. В комментарии к «Евгению Онегину» Ю. М. Лотман указал на пятую сатиру А. Кантемира «На человеческое злонравие вообще. Сатир и Перьерг».

Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома...  
 (Антиох Кантемир. Собрание стихотворений. Л., 1956, с. 137.)

В. П. Степанов в связи с комментарием пушкинского текста обратил внимание на стихотворение И. М. Долгорукова «Соседу. Призывание в деревню», где есть такие стихи:

Когда за стол обедать сядем,  
 Он там накроется простой;  
 Его в игрушки не нарядим:  
 Хоть щей горшок, да сам большой.

(И. М. Долгоруков. Бытие моего сердца. 3-е изд. М., 1818, т. II, с. 115.)

Исследователь отметил и обыгрывание этой же поговорки И. М. Долгоруковым в комедии «Дурылом, или Выбор в старшины»:

Поди и веселись — там пир готов чужой:  
 Здесь каши лишь горшок — но мой,— и я большой!

(Там же, т. IV, с. 25.)

(См.: В. П. Степанов. Из комментария к «Евгению Онегину». В сб.: Временник пушкинской комиссии. 1981, Л., 1985, с. 164.)

Ю. В. Стенник сопоставил пушкинский текст со стихами из стихотворения Державина «Похвала сельской жизни»:

Горшок горячих добрых щей,  
 Копченый окорок под дымом.  
 Обсаженный семьей своей,  
 Средь коей сам я господином.

(См. Ю. В. Стенник. Пушкин и русская литература XVIII века. СПб., 1995, с. 219.)

В контексте «Отрывков из путешествия Онегина» приведенная Пушкиным поговорка приобретала особую значимость: поэт писал о важных изменениях, которые произошли в его жизни и в его творчестве. Деву гор — идеал поэта-романтика — сменила хозяйка, новый идеал, связанный с народной мудростью, народными ценностями: это дом, семья, покой и независимость. Не исключено, что некоторые современники могли увидеть в пушкинском поэтическом тексте, достаточно демонстративно включающем простонародную поговорку, определенный эпатаж. В связи с этим положением небезынтересно обратить внимание на статью «Некоторые черты дурного вкуса (Письмо к Издателю Музеума из города ...)», напечатанную в 1815 г. в журнале «Российский Музеум». В статье было сказано следующее: «На сих днях случилось мне встретить образец... дурного вкуса... Я видел две печатки с эмблемами и девизами весьма странными. На одной представлен горшок с ложкою перед сидящим человеком, вокруг вырезана надпись: щей горшок, да сам большой; а на другой телега, выряженная тройкою, с извозчиком и с надписью: в гостях хорошо, а дома лучше. И так две великие истины, первая та, что независимость обеспечивает жизнь человека, а вторая, что домашняя жизнь предпочтительнее разсеянной или светской, выражены самым карикатурным образом» (Российский Музеум. 1815, № 5, с. 197).

Автор статьи, не отрицая великих истин, выраженных в народных поговорках, отвергал саму форму их выражения — и словесную, и изобразительную. Пушкин же в романе в стихах счел нужным высказать народную истину именно в форме народной поговорки, глубокий смысл которой был оценен и допушкинской русской поэзией. Впоследствии в черновиках поэмы «Медный всадник» (1833) поэт включил эту поговорку в размышления своего героя Евгения — потомка обедневшего дворянского рода:

... Я устрою  
 Себе смиренный уголок  
 И в нем Парашу успокою.  
 Кровать, два стула, щей горшок  
 Да сам большой... Чего мне боле?

Заметим, что много лет спустя Л. Н. Толстой в своем философском завещании — «Путь жизни», первоначальная работа над которым была завершена в 1910 г., напи-



сал: «„Щей горшок, да сам большой”, — хорошая пословица, надо держаться ее» (Лев Толстой. Путь жизни. М., 1993, с. 114).

*Н. И. МИХАЙЛОВА*

**ЛЕПАЖ** (Lepage) Жан (1746—1834) — «славный ружейный мастер» (примечание Пушкина (37) к роману «Евгений Онегин»).

Приехав на место дуэли, Онегин

... слуге велит  
Лепажа стволы роковые  
Нести за ним.

Жан Лепаж происходил из старинной нормандской династии оружейников, представители которой с середины XVIII в. обосновались в Париже. Придворный поставщик Людовика XVI, герцога Орлеанского (Филиппа Эгалите), а затем и Наполеона, он в 1819 г. был удостоен престижной награды французской Промышленной выставки. В принадлежавшей ему мастерской на улице Ришелье, д. 13, выполнялись заказы, полученные из многих стран Европы, в том числе из России, где «стволы Лепажа», отличавшиеся точным боем и изящным исполнением, пользовались репутацией надежного оружия. Так, в повести А. А. Бестужева-Марлинского «Испытание» (1830) для поединка гусарских офицеров подполковника князя Гремина и майора Валериана Стрелинского секунданты выбрали две пары пистолетов: «одну Кухенрейтера, другую Лепажа» (Марлинский А. Русские повести и рассказы. В 12-ти частях. Ч. 1. СПб., 1838, с. 106).

В 1822 г. Жан Лепаж уступил управление мастерской сыну — Жану-Андре-Просперу-Анри Лепажу (1792—1854), блистательно продолжившему дело отца. В эпоху Июльской монархии Анри Лепаж стал придворным оружейником короля, выполнял заказы герцогов Орлеанского и Немурского. Продукция мастерской Лепажа удостоивалась почетных серебряных медалей на всех Промышленных выставках, устраивавшихся во Франции в период с 1823-го по 1839 г.

Согласно существовавшим правилам, к дуэли Пушкина с Дантесом были приготовлены две пары пистолетов. Секунданты Дантеса предложили оружие, изготовленное в Дрездене, в мастерской Карла Ульбриха. Пушкин заказал пистолеты в «магazine военных вещей» А. А. Куракина на Невском проспекте. Известно, что они были французского производства.

*А. Я. НЕВСКИЙ*

**ЛИНАР** Густав де — герой романа В.-Ю. Крюденер\* «Валери, или Письма Густава де Линара Эрнесту де Г...» (1803). Молодой швед, которому его соотечественник граф де М. заменяет умершего отца. Граф берет его с собой в Венецию, куда отправляется с дипломатической миссией. Человек зрелый (ему под сорок), граф женат на шестнадцатилетней шведке Валери и хотел бы, чтобы она стала сестрой Густава, к которому относится как к сыну. Наделенный с детства пылким воображением, тоскующий по идеалу, чувствительный и восторженный, Густав во время путешествия в Италию влюбляется в Валери, близкую ему по душевному складу. О своих переживаниях он рассказывает оставшемуся на родине другу Эрнесту, который умоляет его вернуться домой, пока не поздно. Однако Густав уже не в силах расстаться с Валери. Влюбленный в замужнюю женщину, жену фактически своего приемного отца, Густав, воспитанный в духе любви к Богу и добродетели, испытывает мучительные угрызения совести и тщательно скрывает от графа и Валери свое чувство (чтобы объяснить свою печаль, он утверждает, что влюблен в некую особу в Швеции). Его молчание связано также с тем, что Валери совершенно не поддается его любви и он постоянно видит доказательство ее привязанности к мужу. Вконец измученный, Густав под предлогом слабого здоровья уезжает в одно из горных местечек на севере Италии. Перед его отъездом Валери наконец начинает догадываться о причине его страданий, но чувствует только жалость к нему и тревожится о его дальнейшей судьбе. Эрнест в страхе за жизнь своего друга в письме к графу рассказывает о его тайне, приложив письма Густава как доказательство его борьбы и невинности Валери. Граф, преисполненный сочувствия, приезжает к уже безнадежно больному Густаву. Валери также узнает о его любви от своего мужа, но издали следит за развитием событий. Перед смертью Густав пишет первое и последнее письмо Валери, признавшись, что любил ее «безмерно», и благословляя ее и графа.

Прообразом Густава послужил русский дипломат А. А. Стахив, секретарь рус-

\* Баронесса Варвара-Юлиана Крюденер (1764—1824), русская подданная немецкого происхождения, супруга российского дипломата. Помимо романа «Валери», написанного на французском языке, ее перу принадлежит ряд религиозно-мистических сочинений. Подробнее см. посвященную ей статью в Онегинской энциклопедии.

ской миссии в Венеции в бытность барона Крюденера посланником России в этой республике (1785 г.). Сохранилась копия его письма к барону с признанием в любви к его жене. А. А. Стахийев продолжал дипломатическую карьеру, став впоследствии поверенным в делах России в Стокгольме.

В «Евгении Онегине» «любовник Юлии Вольмар, Малек-Адель и де Линар, / И Вертер, мученик мятежный» преследуют воображение Татьяны как образцы идеальных влюбленных, беззаветно преданных предмету своей любви, — иллюзия, разрушенная отповедью Онегина, который, как выясняется, любит Татьяну «любовью брата», то есть так, как Густав тщетно стремился любить Валери. Но впоследствии Онегин отчасти уподобляется герою «Валери», оказавшись во власти невозможной любви к той, которая хранит верность другому. Подобно Густаву Онегин от печали теряет жизненные силы, «сохнет — и едва ль / Уж не чахоткою страдает», отчего врачи «хором шлют его к *водам*» — так и у Густава от переживаний начался кашель, открылась чахотка, и он по совету врачей собирался на воды в Пизу.

Сама Татьяна, страдающая от безответной любви, «страсти безотрадной», наделена сходством с Густавом. Так же, как и он, «влюбленный в любовь» (по характеристике одного современника, французского литератора Ж. Б. Сюара), она издавна лелеяла в мечтах идеальный образ: «Давно сердечное томленье / Теснило ей младую грудь; / Душа ждала... когора-нибудь...» В предсмертном письме Густав пишет Валери: «Ты была жизнью моей души: уже давно она томилась по тебе, и я всего лишь узнал тебя, увидев. Я узнал тот образ, что носил в сердце, видел во снах, в явлениях природы, в моем юном, пылком воображении» (письмо XLV). Ср. письмо Татьяны: «Ты в сновиденьях мне являлся, / Незримый, ты мне был уж мил... Ты чуть вошел, я вмиг узнала... И в мыслях молвила, вот он!» Густав еще в отрочестве любил гулять один в лесу с книгой Оссиана и на вопрос матери, не чувствует ли он себя одиноким, ответил: «Я был с неким идеальным, пленительным существом; я никогда не встречал его, но так ясно вижу. Сердце мое трепещет, щеки пылают. Я зову ее: она робкая и юная, как я, но лучше меня» («Фрагменты дневника матери Густава»). Подобно ему «Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит, / Она в ней ищет и находит / Свой тайный жар, свои мечты...» Сближает Татьяну с Густавом и то, что ее любовь остается тайной для окружающих, она «увядает, / Бледнеет, гаснет и *молчит*» (курсив мой. — Е. Г.). В Набоков отметил близость строк из письма Татьяны «Но вы, к моей несчастной доле / Хоть жалю жалости храня, / Вы не оставите меня» и одной из начальных строк письма Густава к Валери, «Вы не откажете мне в жалости, вы прочтете мое письмо без гнева» (письмо XLV. См.: Eugen Onegin. A Novel in vers by A. Pushkin. Translated from the Russian, with a Commentary, by V. Nabokov. Vol. 2. London, 1975, p. 389).

Юношеская идеальная любовь, «дух пылкий и довольно странный», «восторженная речь» делают весьма похожим на Густава, образ которого создан под влиянием немецкого романтизма, и Владимира Ленского, тем более что его невинная возлюбленная с голубыми глазами и льняными локонами напоминает Валери. Ленский был похоронен в уединенном месте, где «Две сосны корнями срослись; / Под ними струйки извились / Ручья соседственной долины», Густав в качестве места своего последнего упокоения выбирает «холм, покрытый высокими соснами, посреди которых бьет источник» («Дневник Густава»). Образ «утреннего цветка» из монолога Ленского («не потерплю!... Чтобы двухутренний цветок / Увял еще полураскрытый» — глава шестая, XVIII), возможно, восходит к роману Ю. Крюденер, героиня которого, потеряв своего младенца, восклицает: «О, мой юный Адольф!.. Ты упал с моей груди, словно двухутренний цветок (un fleur de deux matins), и скользнул во гроб!» (Письмо XXXV.)

Очевидно, что образ Густава всякий раз проглядывает в поэме Пушкина, когда речь идет об идеальной, «безмерной», сопряженной со страданиями любви. Однако эта любовь только Ленского приводит к смерти, два других героя, как ни велико их разочарование, преодолевают книжно-чувствительный стереотип гибели от несчастной страсти.

П. А. Вяземский, который в свое время был «в восторге от Густава», в предисловии к переводу романа Б. Констан «Адольф» (1831) отметил: «Каковы отношения мужчин и женщин в обществе, таковы они должны быть и в картине его (романиста. — Е. Г.). Пора *Малек-Аделей* и *Густавов* миновалась» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984, с. 126).

Е. П. ГРЕЧАНАЯ

## ТЕТРАДЬ РАСХОДА

Онегин шкафы отворил:  
В одном нашел тетрадь расхода...

Ведомости прихода и расхода денежных сумм по господскому имению, сшитые по месяцам и по годам в особые «тетради», или «книги», назывались «тетрадами расхода» или «приходо-расходными книгами». Составлялись и велись управляющим

имения или же самим помещиком. Дядя Онегина, как известно, «... имея много дел, в иные книги не глядел...», то есть управлял имением самостоятельно, не давая грабить себя управляющему. Так же поступала и мать Татьяны «старушка» Ларина, которая «...солила на зиму грибы, вела расходы...». Кажется, и своему герою — новоявленному помещику Онегину — автор предлагал последовать их примеру:

В глуши что делать в эту пору?  
 .....  
 Читай: вот Прадт, вот W. Scott.  
 Не хочешь? — проверяй расход,  
 Сердись, иль пей, и вечер длинный  
 Кой-как пройдет, а завтра то ж,  
 И славно зиму проведешь.

Расходные книги имений, сохраняющиеся в фондах фамильных архивов до настоящего времени, служат бесценными историческими источниками, отражающими во всех подробностях экономическую и хозяйственную жизнь дворянского поместья. Прямо или косвенно они могут содержать в себе важные сведения: факты биографии владельцев и их гостей, сведения о строительстве в усадьбе, о деятельности архитекторов, художников, музыкантов и артистов и многое другое. Так, расходные книги Остафьевского имения князей Вяземских исключительно богаты сведениями о культурной жизни Москвы пушкинской эпохи. А в ведомостях за 1824 год можно даже обнаружить запись о том, что «Пушкину в Одессу» из Остафьева отправлено 1380 рублей — часть гонорара за издание «Бахчисарайского фонтана», отданного П. А. Вяземским за 3000 рублей московским книгопродавцам.

Л. А. ПЕРФИЛЬЕВА

**BENEDETTA** — «Benedetta sia la madre» («Да будет благословенна твоя мать»), баркарола венецианская, на мотив которой летом 1825 г. в Тригорском Анна Керн исполняла романс Козлова (см.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1937, т. 1, с. 175). Окрашенная чувством к исполнительнице, мелодия эта, вероятно, надолго запомнилась Пушкину.

Стихотворение Козлова «Венецианская ночь (Фантазия)» посвящено памяти Байрона, высоко ценимого Пушкиным. И. Эйгес пишет: «7 апреля того же 1825 года Пушкин заказывал панихиду «по рабе божием боярине Георгии» в годовщину смерти Байрона; такую же панихиду заказывала Анна Петровна» (Эйгес И. Музыка в жизни и творчестве Пушкина. М., 1937, с. 88). Исследователь считает, что это стихотворение пробуждало в Пушкине не просто тоску по отсутствующей Керн, «но и жажду того, чтобы А. Керн тосковала по нем, как Тереза Гвинччولي по умершем Байроне [о печали Т. Гвинччولي, последней любви Байрона, по умершему поэту говорится в стихотворении Козлова]. Пушкин не мог не сознавать аналогии между положением Байрона, его возлюбленной и ее старого мужа и положением своим, А. Керн и ее тоже старого мужа; обе вышли замуж в ранней юности. (Как оказывается еще, знакомство одного и другого поэта с пленившими их красавицами произошло в одном и том же 1819 г.)» (Эйгес И. Музыка... Сс. 89—90).

Соглашаясь с возможностью такого предположения, мы хотели бы добавить, что тот факт, что Benedetta появляется в «Евгении Онегине», влечет за собой еще одну параллель: тоска Онегина по замужней Татьяне — тоска Пушкина по А. Керн.

Как ходил он на поэта,  
 Когда в углу сидел один,  
 И перед ним пылал камин,  
 И он мурлыкал: Benedetta...

Эта аналогия подтверждается распространенным мнением о том, что Анна Керн является одним из прототипов пушкинской Татьяны (и та, и другая провели детство в деревне, у обеих мужья генералы и проч.).

И последнее, о чем пишет Эйгес в связи с этим романсом: «...в декабре того же 1825 года или в начале 1826 года Глинка написал вариации для фортепиано на тему этого романса, ставшие его первой напечатанной вещью» (Эйгес И. Музыка... С. 90). Видимо, мелодия эта заинтересовала талантливого композитора, в частности потому, что в то время она была достаточно популярна и исполнялась не только в Тригорском. О. А. Пржевацкий, описывая петербургскую жизнь 1822 г., вспоминает, что «эту баркаролу тогда барышни пели почти постоянно» («Русская старина». 1874, ноябрь, с. 462).

Е. Я. ВОЛЬСКАЯ

Кирилл КОБРИН

## Полтава. Клад. Сон

А в дальнем углу тускло сияла грудa золотых монет и штабеля слитков. Это были сокровища Флинта...

*Р. Л. Стивенсон. Остров сокровищ*

Родина чудесных сказок сон.

*А. Ремизов. Огонь вещей*

### I

**В** «Полтаве», этом неровном творении Пушкина, обряженном то в шитую косоворотку, то в зеленый мундир с аксельбантами, есть одна странная (и страшная) сцена. В ночь накануне казни к измученному пыткой Кочубею внезапно врывается мазепов подручный Орлик со словами:

Мы знаем,  
Что ты несчетно был богат;  
Мы знаем: не единый клад  
Тобой в Диканьке укрываем.  
Свершиться казнь твоя должна;  
Твое имение сполна  
В казну поступит войсковую —  
Таков закон. Я указую  
Тебе последний долг: открой,  
Гдеклады, скрытые тобой?

Кочубей отвечает, что у него было три клада: первый — его честь («клад этот пытка отняла»), второй — честь дочери («Мазепа этот клад украл»), третий — месть («ее готовлюсь Богу несть»). Орлик настаивает на своем и угрожает:

Ну, в пытку. Гей, палач!

В примечаниях к «Полтаве» сам автор меланхолично отмечает: «Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах, им утаенных».

Этот кладоискательский мажор представляется мне странным. Прежде всего место, где якобы зарыли клад. Диканька. Шароварный рай на фронтире русской словесности. «Про Диканьку же, думаю, вы слышались вдоволь». Совершенно верно. «И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого». Не сыщем. Подробное описание Диканьки можно встретить в знаменитых «Вечерах», изданных в 1831 г. в Петербурге пасичником Рудым Паньком. Пушкин за три года до напечатания «Вечеров» обмолвился об этом месте сухо и лаконично: «Деревня Кочубея». Однако даже не он ввел малороссийское поселение в литературный оборот. В повести Егора Васильевича Аладьина «Кочубей», напечатанной в «Невском альманахе на 1828 год», читаем: «... светло было на голубом небе, тихо в чистом душистом воздухе; поля, одетые созревающим хлебом, златистыми коврами расстиались перед ними; там, черною половою, тянулась большая Батуриная дорога, в разных местах пересекаемая узкими проселками...» Где же располагалось это чудо второсортной пейзажистики? «В селе Диканьке угощал гостеприимный Василий Леонтьевич друга и свата своего...» Сюжетные пути трех сочинений сошлись в Диканьку — туда, где зарыт таинственный клад.

Впрочем, содержание кочубеева клада вовсе не было таинственным для Аладына. Довольно плоское воображение издателя «Невского альманаха» остановилось на предмете вполне прозаическом: «В сей раз Кочубей под ударами палача объявил, что в селе Диканьке зарыты в землю четыре тысячи червонных и две тысячи талеров — плод долголетнего труда и бережливости, какая находка для корыстолюбивого Мазепы!» Но каков и Пушкин! Автора «Полтавы» воображаемые деньги Кочубея не заинтересовали. Он вырыл эти четыре тысячи червонных и две тысячи талеров и, не считая, поместил в дальний закуток своих примечаний к поэме. Зато закопал нечто другое. Что же?

Украинцы восемнадцатого века были для Пушкина кем-то вроде индейцев для американских романтиков от Френо до Купера. В этом смысле история Мазепы, переметнувшегося от русских к шведам, мало отличалась от истории какого-нибудь вождя гуронов или ирокезов, в ходе Семилетней войны перешедшего от англичан к французам. «Кавказский пленник», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан», «Полтава» — «колониальные поэмы»; «колониальные» в той же степени, что и прозаическое «Путешествие в Арзрум». Во всех них Пушкин предстает, так сказать, в пробковом шлеме и со стэком, на холме, в окружении туземных вестовых, сипаев, всадников спаги и вспомогательных зулусских отрядов:

И перед ним уже в туманах  
Сверкали русские штыки  
И окликались на курганах  
Сторожевые казаки.

Проговорился же Пушкин только один раз, и не где-нибудь, а в рецензии на «Вечера на хуторе близ Диканьки», назвав украинцев «племенем поющим и пляшущим», словно речь шла о негритянском уличном оркестре из Нового Орлеана.

Если верить Вольтеру, польский шляхтич Мазепа прискакал на Украину привязанным неким ревнивым паном к спине дикой украинской лошади. В русскую литературу Мазепа доковылял примерно через сто шестьдесят лет в обозе вольтеровой «Истории Карла XII» и знаменитой поэмы Байрона, названной его именем. Задумчивый Рылеев деконструировал французского и английского Мазепу в пламенного борца за малороссийскую независимость, но превратил его и его семейство (точнее, не сам Рылеев, а Александр Бестужев в предисловии к «Войнаровскому» Рылеева) в «любезных дикарей». Впрочем, и в «Войнаровском», и в едва начатом «Мазепе» местный колорит вполне условен; будто что-то смутно предвидя для своих товарищей по тайному обществу, Рылеев первоклассно описал сибирские морозы, а его Украина так и осталась пустым литературным пространством. Об аладыновской Малороссии и говорить нечего, казаки из его «Кочубея» неотличимы от краснокожих из шатобриановой повести «Атала»\*. Первым, кто начал раскрашивать черно-белую картинку под названием «Украина», был Пушкин. Но он понимал, что в романтической поэме «с экзотикой» все-таки нет места описательному каталогу слов и вещей в духе аббата Делиля. И он решил спрятать про запас, захватить, зарыть в землю на хуторе близ Диканьки бандуры и кобзы, кунтуши и смушки, чубы и шаровары, ведьм, утопленник, запорожцев, живописности Днепра при отсутствии ветра, Галю! Галю! ты спишь или не хочешь ко мне выйти... Зарыл в надежде, что найдется, нет, не поэт, прозаик, который вытряхнет все это добро из сундука, полюбуется, переберет, а потом возьмет да и вышьет найденными сокровищами сюжетную канву какой-нибудь повести, а то и романа. В пушкинском сундуке заховалась вся Украина, «малороссийскость», хищный глаз и толстые губы простодушного дикаря, который (как и полагается дикарю) стал Другим. «Другим» русской культуры. Правда, ненадолго. Уже через несколько лет, после того, как диканьковский сундук был найден и вырыт Гоголем\*\*, «Другим» русской культуры вместо украинского хлопца с оселедцем стал простой русский мужик.

\* Любопытно, что структура «Мазепы» Байрона весьма похожа на структуру «Атала» Шатобриана. Во французской повести «дикарь», индеец Шактас, повествует некую историю «белому», француз Рене; в английской поэме (написанной одиннадцать лет спустя) «дикарь» Мазепа рассказывает свою историю «белому», шведу Карлу XII. В этом контексте «Войнаровский» (написанный еще через пять лет) и вовсе уморителен: ссыльный племянник Мазепы Андрей Войнаровский под треск сибирского мороза излагает малороссийские события 1706—1709 гг. новость как забредшему за Урал немцу Гергарду-Фридриху Миллеру.

\*\* Кажется, на местонахождение клада Гоголю указал его земляк Орест Сомов. В статье «О романтической поэзии» он писал: «Но сколько мест и предметов, рассеянных по лицу земли русской, остается еще для современных певцов и будущих поколений! Цветущие сады плодородной Украины, живописные берега Днепра, Псла и других рек Малороссии... ждут своих поэтов и требуют дани от талантов отечественных». Дождались.

И последнее. Отчего же пушкинский Мазепа стремился выпытать местонахождение клада? Ответ прост. Оттого, что сам он был сказитель, сочинитель; оттого, что Мария

...всегда певала  
Те песни, кои он слагал.

В пушкинских примечаниях к этим строкам читаем: «Предание приписывает Мазепе несколько песен, донныне сохранившихся в памяти народной». Примерно так же слагали песни туземцы Фенимора Купера; только в отличие от ирокеза малороссы стал-таки профессиональным литератором. Мазепа инкарнировал в Гоголя.

## II

В классическом (слишком классическом!) эссе Борхеса «Сон Колриджа» описывается следующий известный случай: «Лирический фрагмент «Кубла Хан» (пятьдесят с чем-то рифмованных неравносложных строк восхитительного звучания) приснился английскому поэту Сэмюэлу Тейлору Колриджу в один из летних дней 1797 года. Колридж пишет, что он тогда жил уединенно в сельском доме в окрестностях Эксмюра; по причине нездоровья ему пришлось принять наркотическое средство; через несколько минут сон одолел его во время чтения того места из Пэрдеса, где речь идет о сооружении дворца Кубла Хана, императора, славу которого на Западе создал Марко Поло. Во сне Колриджа случайно прочитанный текст стал разрастаться и умножаться: спящему человеку грезились вереницы зрительных образов и даже попросту слов, их описывающих; через несколько часов он проснулся с убеждением, что сочинил — или воспринял — поэму примерно в триста строк. Он помнил их с поразительной четкостью и сумел записать этот фрагмент, который остался в его сочинениях. Нежданный визит прервал работу, а потом он уже не мог припомнить остальное». Почти столь же загадочная история произошла и с русским поэтом. М. Юзефович, знакомец Пушкина, свидетельствует: «Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах». Сам поэт признавался: «"Полтаву" написал я в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы все». Лишь об одном дружно умолчали и мемуарист, и автор: кто был тем «Пэрдесом»? Чья книга навеяла на Пушкина волнуемое сновидение под названием «Полтава»? Вольтер с его рельефным описанием бегства Карла XII с поля полтавской битвы? Байрон? Рылеев, заикнувшийся было в «Войнаровском» о преступной любви крестного и крестницы? Или, быть может, Аладьян? Разве не отозвался зачин его «Кочубея» — «Шумно пировали знаменитые гости за роскошным столом Василия Леонтьевича Кочубея» — в золотой первой фразе «Полтавы»: «Богат и славен Кочубей»?

Поэтому, когда я натякаюсь на восторги по поводу сновидческого Китая Колриджа:

Среди садов ручьи плели узор,  
Благоухали пряные цветы,  
И окаймлял холмов ровесник, бор,  
Луга, что ярким солнцем залиты,—  
(Пер. В. Розова)

я вспоминаю не менее волшебную сновидческую Малороссию его младшего русско-го современника:

Тиха украинская ночь.  
Прозрачно небо. Звезды блещут.  
Своей дремоты превозмочь  
Не хочет воздух...

Вы слышите этот тяжелый выдох спящего человека: «Не хочет воздух...»?



Павел БАСИНСКИЙ

## В ы м ы с е л и П р о м ы с е л

**В**от: едва не попал впросак. Чуть-чуть бы — и угодил в глупейшее, нелепейшее положение. И тогда уже никому ничего не объяснить и не оправдаться. Любой скажет: не в свои сани не садись!

В прошлом году мне позвонили из журнала «Вопросы литературы» и предложили принять участие в анкете. Вопрос был единственный: «Почему вы стали писать мемуары?» Я понял, что речь идет о моей повести «Московский пленник», опубликованной в журнале «Октябрь» (1997, № 9). Поскольку в том же и в следующих номерах в рубрике «Нечаянные страницы», которую я имел честь открыть, были напечатаны и другие вещи мемуарного толка, поскольку в других журналах тоже появлялось много подобного, то я и подумал, что «Вопросы литературы» решили выяснить: почему *в том числе и достаточно молодые литераторы* сегодня обратились к мемуарному жанру? В самом-то деле ведь это любопытно.

Открываю первый номер «Вопросов литературы» за этот год и вижу анкету. Все участники расположены в алфавитном порядке. Первый идет Григорий Бакланов. Потом — ваш покорный слуга. Затем строго по алфавиту: Эмма Герштейн, Нам Коржавин, Семен Липкин.

Меня пробирает нехорошая дрожь. Я не мальчик, но мне *пока еще* 37 лет. И хотя я знаю, что в это время «Пушкин подгадал себе дуэль», «ушли и Байрон, и Рембо, и Маяковский лег виском на дуло», а Грибоедов с Лермонтовым не дотянули и до этого чудесного возраста, — мне становится дурно, как институтке, ангажированной на балу артиллерийским полковником.

Бакланов, Герштейн, Коржавин, Липкин — все это люди, за плечами которых целая эпоха. Они как бы обязаны оставить свои мемуары, закрепив в памяти поколений десятки неизвестных лиц, дав новое освещение именам известным. Мне и в голову не могло прийти, что к ним обратятся с таким «оригинальным» вопросом. «Почему стал писать?» «Потому что стал».

Почему стал писать мемуары Михаил Ардов, человек хотя не старый, но все-таки в возрасте уже почтенном? Потому что помнит Ахматову и ее позднее окружение, потому что хорошо знает по крайней мере две среды: художественной интеллигенции и православно-церковную. В этом случае ценность мемуаров предопределена, как бы мы к воспоминателю ни относились.

Хорош бы я был, если бы на вопрос, поставленный, как оказалось, буквально, отвечал бы тоже буквально, что называется, на голубом глазу...

«Я стал писать мемуары, потому что...» Потому что я нахал, каких еще свет не видывал.

Слава Богу, ничего не зная заранее о будущем контексте, я ответил примерно в том смысле, что «Московский пленник» вовсе не мемуары, а все-таки художественная повесть, хотя и на достоверном материале; что мемуары — жанр слишком высокий и ответственный, чтобы к нему обращаться с моим малым опытом и т. д. и т. п. Одним словом, избежал позора.

Любопытно, что в той же анкете Сергей Гандлевский, который напечатал в «Знамени» мемуарную повесть «Трепанация черепа», тоже отказался от чести мемуариста, заявив, что его повесть — художественная проза. Мы с Гандлевским не сговаривались. Я его мнения о собственной вещи не знал. И все-таки совпадение это мне кажется неслучайным.

Писать мемуары раньше определенного возраста нетактично и, следовательно, безвкусно. Мемуаров не оставили ни Пушкин, ни Чехов. И потому, если человек, не дожив и до пятидесяти лет, пишет мемуарную вещь, он либо напрочь лишен вкуса, либо сознательно решился на нечто. Вот об этом нечто я и хочу сказать.

Есть хорошая пословица: человек полагает, а Бог располагает. В жизни она, увы, служит оправданием чрезмерного фатализма. Но в художественном плане я не

знаю лучшего ключа к тайнам словесного творчества. Это — поистине «золотой ключик»...

Писатель может полагать сколько угодно, что его вымысел интересен кому-либо, кроме него самого. Но вымысел только в том случае становится Вымыслом, когда он сливается с Промыслом. «Над вымыслом слезами обольюсь...» — это вовсе не значит, что Пушкин, читая себя, прыгал на стуле и вопил: «Как это я ловко выдумал!» Это значит, что в какой-то момент его герои (может быть, еще не претворенные в письмо) отделились от своего создателя и стали повиноваться Промыслу. Человек полагал, а Бог располагал... В результате их сотрудничества и получилось то, над чем действительно можно облиться слезами. Замечу, это штука весьма коварная! Обливаться слезами можно и над собственной чудовищной графоманией, над которой другие справедливо посмеются. И опять поговорка будет верна: ты полагал и плакал, а вот Бог располагал.

Современный писатель очень мало годен для Вымысла. Над современными вымыслами по большей части обливаются слезами либо графоманы, либо домохозяйки. Опытный читатель конца XX века сух и насторожен. Он требует достоверности. Не случайно вымысел как таковой давно отошел в область заведомо «липовой» литературы: фэнтези, триллеры, детективы и проч. Тут обман идет по-честному: уже на обложке нарисовано то, от чего в реальной жизни побежишь сломя голову. Вообразите: на вашей лестничной площадке лежит изумительной красоты юная дева с кинжалом меж мраморных обнаженных грудей. Что, небось не залюбуетесь?

Поэтому многие современные писатели инстинктивно ищут третий путь: между прозой и мемуарами. То, что уже состоялось в жизни, — уже отмечено Промыслом. Конечно, можно взять это в качестве исходного материала, обработать его, превратить реальных людей в прототипы и т. п., как это и делалось отчасти в классические времена. Но я повторяю: современный читатель сух и насторожен. Он тотчас заметит все швы и торчащие нитки. Зачем ты назвал Иванова Сидоровым и сделал его брюнетом, когда тот блондин? Зачем?

Вопрос «зачем?» сегодня звучит куда убийственней, чем во времена Блока. Тогда еще никому (кроме одиночек вроде Толстого) не приходило в голову: зачем выходят журналы и зачем издаются книги? Действовала инерция Просвещения: жаждали прогресса, свободы печати и проч. Сегодня инерция погасла.

Лично я не могу ответить на вопрос: зачем придумывается 99,9% современной «серьезной» литературы? Зачем и без того призрачный журнальный мир наводняется этими бледными призраками — вымышленными, высосанными из пальца персонажами, за которыми нет ничего реального, кроме болезненных комплексов или несчастных создателей? Если я, плюясь и ругаясь, еще стану читать какое-нибудь очередное исследование о фрейдистских подтекстах в прозе Гоголя (все-таки Гоголь!), то разбираться в зашифрованных комплексах нынешнего Вани Иванова, полагающего себя Русским Писателем или Элитарным Писателем, мне решительно недосуг! Я-то точно знаю, что все его проблемы, которыми он безжалостно нагружает своих героев, — это случаи, как правило, элементарно клинические. Ну и расскажи людям о своих болячках просто и без затей! Нет, надо выдумать персонаж и заставить его изнасиловать девочку, а потом повеситься... Писателю от этого легче становится... Психика от груза освобождается... Ну и ладно. Ну и освободитесь. Я-то здесь при чем!

Расцвет прозы мемуарного (или псевдомемуарного) толка, мне кажется, связан с инстинктивным стремлением здравомыслящих, еще не окончательно свихнувшихся на собственной гениальности литераторов обойти коварный вопрос «зачем?». Мемуарная подкладка хоть кому-то да будет интересна. Хотя на что-то да сгодится. А главное, собственные комплексы тут не спрячешь. Более того: есть возможность, откровенно выставляя напоказ свои душевные болячки, их иронически осмысливать и обыгрывать, не перелажая груз на плечи читателя. Это даже вопрос милосердия...

Я знаю, что Гандлевский как персонаж своей повести многим показался неприятным, заносчивым человеком. Да что ж он такой дурак, что не мог себя получить выдумать? Или было бы лучше, чтобы вместо себя он вывел какого-нибудь Футлевского и начал казнить его беспощадным пером? За собственные грехи?

Мемуарная проза есть прежде всего нежелание тягаться с Промыслом. Бог расположил (лица, события, ситуации), а их только *воспроизвожу*.

Понятно, что это всего лишь лукавство и попытка обмануть Промысел. Понятно, что истинно великая литература рождается на полюсах: или в сфере чистой Достоверности, или же чистого Вымысла.

Но это уже вопрос художественной дерзости... Бей в барабан и не бойся, целуй маркитантку смелей! Окажешься либо гением, либо графоманом. Потому что человек только полагает. А вот Бог...



**Гийом АПОЛЛИНЕР. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ. СПб., «Симпозиум», 1999. Тир. 6500 экз.**

Большому тому прозы (да и стихов) Аполлинера следовало бы появиться давно. Но — одно «но»: Аполлинер в принципе всеобъемлющ, он попробовал себя едва ли не во всех возможных жанрах и едва ли не во всех возможных жанрах добился успеха. Как бы ни хотелось составителю представить «своего» Аполлинера, попытка эта заведомо обречена на неуспех. Тут нужны не благие намерения, а целый авторский коллектив. То же следует сказать и о переводах — приятно сесть и перевести целый сборник рассказов любимого автора, перевести от сих до сих, но не лучше было бы с кем-нибудь поделиться? Однако и здесь не все так просто. В книге участвовали не два и не три переводчика, их гораздо больше, но что общего можно отыскать у сюрреалиста Аполлинера и романтика Б. Окуджавы? Впрочем, довольно того, что в книге перепечатан старый перевод, сделанный Б. Лившицем. В нем столько поэтической мощи, что он попросту взрывает книгу изнутри.

**Умберто ЭКО. ОТСУТСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА. Введение в семиологию. [Б. м.], ТОО ТК «Петрополис», 1998. Тир. 5000 экз.**

Ныне слова «отсутствующая структура», проставленные на титульном листе сочинения знаменитого автора детективов, приобретают совершенно иной смысл, чем тот, что в них вкладывал автор. Структура и впрямь отсутствует, ибо читатели ждут от Умберто Эко не структуралистских штудий (время которых, по всей видимости, прошло) и не публицистических эссе (которые, увидев свет на русском языке, если кого-то и удивили, то своей необыкновенной ординарностью). От автора ждут очередной детектив с «присутствующей структурой», закрученным туго сюжетом, ложными ходами и неожиданными отгадками. Дело не в том, что Умберто Эко — плохой ученый. Дело в том, что он сделал свой выбор и навсегда стал для публики беллетристом: превосходным, как в «Имени розы», посредственным, как в «Маятнике Фуко». Новый роман, перевода которого ждут уже не интеллектуалы, которые читали о страшных событиях в средневековом монастыре и ухмылялись, перевернув страницу и лицом к лицу встретившись с пародийным Борхесом, а просто читатели, о Борхесе покада не слышавшие, — этот роман все и решит. Может статься, что, по собственной воле отвергнув статус ученого, автор ничего не приобрел взамен; ведь удача в глазах публики малого стоит (удача зависит от игры высших сил, а не от благоговейного шепотка толпы).

**В. С. ЕЛИСТРАТОВ. СЛОВАРЬ КРЫЛАТЫХ СЛОВ (РУССКИЙ КИНЕМАТОГРАФ). М., «Русские словари», 1999. Тир. 2000 экз.**

Тут много любопытного. Например, то, что на языке филологов слово «цитата» значит вовсе не то, что на языке кинематографистов (а ведь речь, по сути, о цитатах филологических). Любопытно и то, сколь насыщен словесно русский кинематограф (ибо на словесные цитаты разошлись десятки, если не сотни фильмов). Любопытно (есть о чем подумать); а могут ли рождаться словесные цитаты из немых фильмов? Скажем, из титров? Во всяком случае, цитата из фильма «Праздник святого Йоргена» сразу приходит на ум. Хотя здесь следует разбираться с киноведам: титры писали И. Ильф и Е. Петров, но затем фильм был озвучен.

**Татьяна РОЗАНОВА. «БУДЬТЕ СВЕТЛЫ ДУХОМ». М., «Blue Apple», 1999. Тир. 2000 экз.**

Воспоминания старшей (из выживших) родных дочерей Василия Васильевича Розанова стоит прочитать и тем, кто не интересуется ни личностью, ни взглядами этого литератора, они придутся по душе и тому, кто просто любопытен к людям (великим, не великим, писателям, учителям — какая разница!).

**Октавио ПАС. дереВОвнутри.** [Б. м.], Литературный салон «Классики XXI века», [б. г.]. Тираж не указан.

Не убежден, что Пас — поэт либо критик (по крайней мере если читать его в переводе). Скорее это некое имя, даже не закрепленное для читателей личностью, а возникающее то там, то тут в культуре. Но следует отметить — без таких бестелесных имен культура не существует.

**Эрих ГОЛЛЕРБАХ. ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ.** СПб., «ИНАПРЕСС», 1998. Тир. 2200 экз.

Чтобы понять логику мысли Голлербаха, вероятно, следует вдуматься в его рассуждения о Гете и Пушкине, книги которых страстно любил: «Я восхищаюсь его стихами, но сам по себе он был мне не приятен: эдакий вертлявый, занозистый человек... «Душа общества», он смешил прекрасных дам, лебезил перед аристократами, вспыхивал как спичка и тотчас угасал. [...] Совсем другое — Гете: я просиживал с ним часы, упоенно слушал его неторопливую звучную речь. От него исходило некое величаво-благосклонное сияние. Он не был так загадочно прост, как Пушкин». Тон такой, будто сочинитель не рассуждает, а вспоминает (он и проговаривается, что как бы жил в пушкинскую эпоху, а уж с Гете встречался определенно). Кажется, сравнение не в пользу русского гения: «Пресловутая универсальность Пушкина? Да, для России 1820—1830-х годов он был универсален, образован, начитан. Но в масштабе европейской культуры начала XIX века он кажется мелковатым рядом с такой "горной вершиной", как Гете». И все-таки: «Может быть, "часть" Гете значительнее, чем несколько других классиков, взятых вместе и целиком, это — другой вопрос. Но Пушкина принимаешь "без отбора", не считаешь с его мелкими оплошностями и неудачами. У него почти все равноценно ("почти" здесь такое маленькое, что можно закрыть на него глаза)». Главный же вывод не умаляет ни великого русского, ни великого немца — «надо ими жить». И так же надо прожить прозу Голлербаха: в ней отсутствует сюжет или — иначе — множество мелких сюжетов, она не есть мемуары, но и не эссе. Сам Голлербах предлагает несколько определений для подобного жанра и, кажется, не отдает предпочтения ни одному из них.

**Марианна АРНУ, Жан-Франсуа КОРЕМАН. 100 КНИГ В ОДНОЙ.** Челябинск, «УРАЛ LTD», [б. г.]. Тираж не указан.

Забавная книга не только по своей идее (в принципе это лишь занимательно составленный справочник для студентов и школьников, которые читать решительно не хотят, а потому воспринимают мир в пересказах — с экрана ли телевизора или со страниц специального пособия). Книга забавна своим названием, намекающим на особое построение. Это — интеллектуальная матрешка: книга способна вмещать другие книги, прятать их в себя или ко времени выпускать, даже — порождать. Среди подобных изданий она выделяется именно принципиальностью. Существуют разные предметы-обманки, существуют книжные переплеты, скрывающие не книги, а рюмочки и бутылку. А эта обманка «наоборот» — книга, скрывающая книги. Превосходная шутка.

**Алексей СТЕЦЮЧЕНКО, Александр ОСТАШКО. САМОУЧИТЕЛЬ ПОЛУЖИВОГО ОДЕССКОГО ЯЗЫКА.** М., ООО «Редакция журнала «Новое время», — журнал «Одесса», 1999. Тир. 1000 экз.

Слушайте сюда. Вероятно, самое любопытное, что в Одессе есть практически всё — одесситы, Привоз, одесская литература — и нет одного-единственного. Нет самого одесского языка. Это выдумка. Огромная фикция. Так называемый одесский язык не приспособлен для общения. Собственно, этого от него никто и не требует. Одесский язык — товар, нечто из разряда сувениров. То, что захватывают на память о посещении города бездельники и отдыхающие. Только сумасшедшему может прийти в голову, будто матрешки, которыми торгуют на Арбате, хоть сколько-нибудь характеризуют Москву. Но что еще способен купить здесь бедный турист? Одесса — не исключение из Москвы. Более того, ходовой товар становится предметом экспорта. Экспортируются московские матрешки, экспортируется и одесский язык. Экспортируется вместе с его производителями: одесские писатели издавна облюбовали столицу (северную или южную — не важно) — не важно, где и вырабатывают свой колониальный товар. В самой же Одессе делают лишь контрабанду. Кажется, на Малой Арнаутской улице. А почему нет?

Б. ФИЛЕВСКИЙ

# ГАЗЕТА ТРУД

*Лидер российской прессы*

**Ежедневный выпуск «Труда»** (включая «Труд-7») — это объективная и самая свежая информация из первых рук, комментарии известных политиков и экономистов, острые дискуссии, расследования, все самое интересное в мире науки, искусства, спорта.

**«Труд»** остается верен своей репутации газеты, отстаивающей права и свободы человека.

**«Труд-7»** — еженедельная семейная газета на 24 страницах. Доверительный собеседник, который предлагает сенсационные новости, рассказывает о нашумевших скандалах, потчует свежими анекдотами, посвящает в тайны интимной жизни, дарит телепрограмму, посвящает в гороскоп, для досуга — кроссворд, тесты, шахматные задачи, а о моде — прямо из Парижа.

*Что выписать?*

## **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

**Индексы для подписчиков Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей:**

- 32428** — ежедневный «Труд» (включая выпуск «Труд-7»)
- 34265** — только пятничный выпуск «Труд-7»

**Для остальных регионов:**

- 50130** — ежедневный «Труд» (включая «Труд-7»)
- 32068** — только пятничный выпуск «Труд-7».

*Разве это  
ТРУДНЫЙ  
вопрос?*

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года  
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга третья.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Григорий КАНОВИЧ. **Шелест срубленных деревьев.** Невымысленная повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Последняя газета.** Роман.

Владимир КАЧАН. **Цветной блюз.** Повесть.

Владимир КРАКОВСКИЙ. **Стрельба холостыми из самопала и револьвера.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

**Стихи.**

Анатолий НАЙМАН. **Роман.**

**Стихи.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Повесть.**

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

**Школьники.** Повесть.

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Понедельник роз.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Западный экспресс.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.